

Е. В. ТАРЛЕ

ПАДЕНИЕ
АБСОЛЮТИЗМА
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
И РОССИИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РОССИИ

В помощь студенту-историку

Е.В. ТАРЛЕ

**ПАДЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ**

Москва
2011

УДК 323+94(4)"15/18"

ББК 66.3(0)+63.3(0)5

Т 20

Печатается по изданию: Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России — 2-е изд., доп. / Е.В. Тарле — Пг.: Мысль, 1924 — 186 с.

Тарле Е.В.

Т 20

Падение абсолютизма в Западной Европе и России /Е.В. Тарле; под ред. и со вступ. ст. Ю.И.Семенова; Гос. публ. ист. б-ка России. — М., 2011. — 273 с. — (В помощь студенту-историку). — Прил.: Яковлев Л. [Кранцфельд Я.Л.] Т-щ Сталин и т-щ Тарле.

ISBN 978-5-85209-259-5

Первое издание этой работы вышло во время первой русской революции под названием „Падение абсолютизма в Западной Европе Исторические очерки“ (СПб, 1906). Кончалась она предсказанием неминуемой гибели российского самодержавия. После победы в России в 1917 г. в начале Февральской революции, свергнувшей самодержавие, а затем Великой Октябрьской рабоче-крестьянской революции и революции 1918 г. в Германии в книгу была включена новая (четвертая) глава — „Революционные перевороты 1917—1918 гг.“, и она вышла как второе, дополненное издание под названием „Падение абсолютизма в Западной Европе и России“ (Пг., 1924). Если первое издание этого труда было включено в IV том Сочинений Е.В. Тарле в двенадцати томах, то второе его издание никогда до сего времени не переиздавалось. Данная работа Е.В. Тарле необычайно интересна тем, что он выступает в ней в крайне редкой для него роли — историка-теоретика. Своей целью он ставит не столько создать теорию абсолютизма, сколько раскрыть на примере его краха отношения свободы и необходимости, предопределенности и неопределенности в историческом процессе. Книга переиздана под редакцией и со вступительной статьей профессора Ю.И. Семенова, дополнена статьей внучатого племянника Е.В. Тарле Лео Яковлева „Т-щ Сталин и т-щ Тарле“.

УДК 323+94(4)"15/18"

ББК 66.3(0)+63.3(0)5

ISBN 978-5-85209-259-5

© Государственная публичная
историческая библиотека России, 2011

© Кранцфельд Я.Л., наследник, 2011

© Кранцфельд Я.Л., статья „Т-щ Сталин и
т-щ Тарле“, 2011

© Семенов Ю.И. Вступительная статья,
редакция, 2011

Евгений Викторович Тарле и проблема абсолютизма

I. Е.В.Тарле и материалистическое понимание истории

Великий отечественный историк Евгений Викторович Тарле (1874—1955) настолько известен, что нет особой необходимости говорить ни о его жизненном пути, ни о его научном творчестве. Имеет смысл остановиться лишь на некоторых моментах его научной биографии.

Автор одной из книг, посвященных жизни Е.В.Тарле, подразделяя историков на историков-исследователей, историков-мыслителей и историков-художников, тут же подчеркивал, что речь идет не об абсолютном различии, а о преобладании в работах тех или иных историков одной из трех тенденций. „Из этих трех моментов, — писал он, — в наименьшей степени Тарле был историком-мыслителем или, точнее сказать, историком-теоретиком. Теория исторического процесса и исторического знания по существу не слишком интересовала зрелого Тарле, хотя он высоко ценил Токвиля и в свое время читал Вебера и Кроче“¹.

Действительно, в отличие, например, от своего старшего современника Н.И.Кареева (1850—1931), Е.В.Тарле не стремился создать свою собственную теорию исторического процесса. Но это вовсе не потому, что он вообще не интересовался или мало интересовался теорией истории. Дело в том, что он практически вскоре после начала своей научной деятельности признал правильной и принял к руководству одну из уже существующих теорий исторического процесса. И авторитетом для него в этом вопросе были отнюдь не А.Токвиль, М.Вебер и Б.Кроче, а К.Маркс.

Когда Е.В. Тарле вступил на научное поприще, его внимание почти сразу же привлекло то направление в исторической науке, которое принято называть историко-экономи-

¹ Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 107.

ческим, или просто экономическим („экономизмом“) ¹. Все историки, примыкавшие к нему, исходили из положения о том, что основным фактором в истории является экономика. В этом смысле все они были сторонниками экономического детерминизма. Это течение в исторической науке было обязано своим возникновением влиянию марксистского материалистического понимания истории, или исторического материализма, созданного К.Марксом и Ф.Энгельсом. Но в подавляющем большинстве историки, представлявшие это направление, не были марксистами и не считали себя таковыми. Более того, некоторые из них всячески отмежевывались от марксизма. И это было вовсе не уловкой, имеющей целью спасти себя от критики со стороны поборников господствующей идеологии, которая не могла не быть буржуазной.

Экономический детерминизм существует во многих разновидностях. Марксистское материалистическое понимание истории является одним из его вариантов, причем самым совершенным. Это единственная целостная и до конца последовательная концепция экономического детерминизма, в которой все концы сведены с концами. Все остальные варианты экономического детерминизма всегда являются в той или иной степени непоследовательными. Их создатели и сторонники всегда рано или поздно приходили к выводам, находящимся в разительном противоречии с их же исходными положениями.

В 1903 г. Е.В.Тарле в статье „Чем объясняется современный интерес к экономической истории“ писал: „Никто не будет спорить, что в настоящее время ни одной стороной исторического процесса так не интересуются, как именно историей социально-хозяйственной. Притом интерес этот как в весьма широких (особенно в Германии) слоях читающего общества, так и среди ученого мира. Можно сказать, что последние 30—35 лет создали почти не существовавшую прежде отрасль исторической науки — хозяйственную историю; можно сказать также, что, кроме социально-экономической

¹ Подробнее о нем см. Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория. основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М., 2003. С. 357—367.

истории, никакая другая особенно не интересует в последнее время большинство неспециалистов¹.

Из всех вариантов экономического детерминизма наибольшее его внимание привлекло марксистское материалистическое понимание истории. „Как философская система, — писал он в этой же статье, — исторический материализм далеко не всегда может быть (при состоянии нынешних исторических знаний) проведен со всей последовательностью и доказательностью, но как метод он дал и продолжает давать весьма плодотворные результаты... ученые же, даже не разделяющие материалистического воззрения, приучились отчасти под влиянием этого течения с особым вниманием относиться к пренебрегавшейся ими до тех пор хозяйственной истории“².

„Для пишущего эти строки, — читаем мы в его работе, написанной два года спустя, — совершенно несомненно, что из всех пока выставленных человеческим умом историко-философских теорий названная теория более всего реальна и доказательна и меньше, нежели другие, побуждает адептов заниматься словесными построениями и фантастическими измышлениями. Этой теории (в ее главном, в ее основных принципах) предстоит, вероятно, оказать исторической науке еще больше услуг, нежели те, которые ею оказаны, ибо, конечно, экономическая историография последних трех десятилетий в самой серьезной степени стимулирована была распространением материалистической точки зрения“³. Далее автор высказывает свое убеждение в „могучей силе и великом будущем этого социологического взгляда“⁴.

А во вводной части курса по всеобщей истории, опубликованной под названием „Всеобщая история: (Очерк развития философии истории)“ (СПб., 1908; послед. изд.: Из

¹ Тарле Е. Чем объясняется современный интерес к экономической истории // Вестн и б-ка самообразования 1903 № 17 Стб 739 См также Тарле Е. В. Сочинения в 12 томах Т. I М., 1957 С. 299

² Тарле Е. Указ работа Стб 741, Соч Т. I С. 300—301

³ Тарле Е. Очерки по истории Германии в XIX веке. Т. 1. Происхождение современной Германии СПб., 1905 // Мир божий 1905 № 3 Отд II С. 108. См. также. Соч. Т. X. М., 1961 С. 268.

⁴ Там же.

литературного наследия академика Е.В.Тарле. М., 1981) выдающийся историк довольно решительно защищал материалистическое понимание истории от различного рода обвинений¹.

Однако все это отнюдь не значит, что Е.В.Тарле был в те годы марксистом. Марксизм, как известно, состоит из трех частей: (1) марксистской философии — диалектического и исторического материализма, (2) марксистской политической экономии капитализма и (3) теории научного социализма. Марксистом в точном смысле слова является только тот, кто принимает все три части марксизма. Что же касается Е.В.Тарле, то в указанные годы он был сторонником лишь материалистического понимания истории, которое является компонентом первой из названных выше трех частей марксизма — марксистской философии. Трудно сказать об отношении Е.В.Тарле к марксистской философии в целом, но из его работ того времени явствует, что к теории научного социализма он относился довольно скептически².

Как видно из приведенных выше высказываний, Е.В.Тарле, соглашаясь с основными идеями материалистического понимания истории, считал его еще недостаточно разработанным, в чем, кстати, с ним нельзя не согласиться. Исходя из этого, он пытался его по-своему доработать, что нередко выражалось в дополнении материалистического понимания истории идеями, заимствованными из других философско-исторических учений. Кстати сказать, такое встречалось и в работах его современников, считавших себя ортодоксальными марксистами. Так, например, Г.В.Плеханов (1856—1918) соединял материалистическое понимание истории с географическим детерминизмом, а А.А.Богданов (Малиновский) (1873—1928) — с демографическим детерминизмом³.

¹ См. Тарле Е.В. Всеобщая история. (Очерк развития философии истории) СПб, 1908 С 90—102

² См. Тарле Е. Характеристика общественных движений в Европе XIX века //Вестн Европы 1901 № 2—3, Он же К вопросу о границах исторического предвидения //Рус. богатство. 1902. № 5

³ См подробнее об этом Семенов Ю.И. Философия истории. Общая

В процессе своей научной деятельности Е.В.Тарле все в большей и большей степени исходил из материалистического понимания истории. Блестящим образцом применения этого метода является его книга „Европа в эпоху империализма. 1871—1919 гг.“ (М.; Л.1927; Изд. 2-е, доп. 1928). В этой связи интересно письмо Е.В.Тарле к известному историку Г.С.Фридлянду (1897—1937) по поводу опубликованной последним рецензии на первое издание указанного труда. Возражая против выдвинутых в его адрес обвинений в антантофильстве, Е.В.Тарле пишет: „Я думаю, что этот слух абсолютно неверен. Я десять раз провожу и подчеркиваю мысль, что Антанта и императорская Германия были „морально“ два сапога пара. Для меня, как для марксиста, вообще все эти „фобства“ и „фильства“ по ту сторону истории и науки“¹.

Полностью в духе материалистического понимания истории написана и переиздаваемая работа Е.В.Тарле. В основу ее легли публичные лекции, которые он читал в 1905 г. в самый разгар первой русской революции. В последующем они публиковались в журнале „Мир божий“, а затем вышли в виде книги под названием „Падение абсолютизма в Западной Европе. Исторические очерки“ (СПб., 1906). Кончается книга предсказанием неминуемой гибели российского абсолютизма. После победы в России в 1917 г. вначале Февральской революции, свергнувшей самодержавие, а затем Великой Октябрьской рабоче-крестьянской революции и революции 1918 г. в Германии в книгу была включена новая (четвертая) глава — „Революционные перевороты 1917—1918 гг.“, и она вышла как второе, дополненное издание под названием „Падение абсолютизма в Западной Европе и России“ (Пг., 1924). Если первое издание этого труда было включено в IV том Сочинений Е.В.Тарле в двенадцати томах, то второе его издание никогда до сего времени не переиздавалось.

теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней С 339—340

¹ Тарле Е.В. Письмо Г.С.Фридлянду. Не позднее августа 1928 г. //Из литературного наследия Е.В.Тарле. М., 1981 С. 225.

Важно отметить, что в этой работе Е.В.Тарле выступает прежде всего в качестве историка-теоретика, или, пользуясь его терминологией, социолога, а не историка-повествователя. „Как показывает само название настоящего очерка, — пишет автор, — мы тут интересуемся абсолютизмом как определенным социологическим феноменом, и не ограничиваемся рассмотрением его судеб в какой-либо определенной стране“ (с. 49)¹. И, как считает он, этот анализ важен для решения общих проблем исторического процесса. „И переходя к формулировке нашей задачи, — подчеркивает Е.В. Тарле, — мы скажем, что такой частный случай в истории социальных перемен, как падение абсолютизма, именно и интересен с методологической стороны, ибо при его изучении сравнительно более отчетливо выступают и те условия, которые создают исторически *неизбежное*, и те, которые замедляют наступление этого исторического неизбежного. Анализируя перемещение социальной силы в эпохи острых кризисов, историк часто в состоянии отметить в этих явлениях то „постоянное“, что для социолога единственно ценно среди пестрого и непрерывно усложняющегося хода исторической жизни человечества. Нам нужно уяснить, что может дать анализ падения абсолютизма для понимания природы социальной эволюции вообще“ (с.49).

Е.В.Тарле прекрасно справился с поставленной задачей. С позиций исторического материализма на примере падения абсолютизма он блестяще показал соотношения объективной предопределенности и неопределенности, необходимости и случайности и соответственно альтернативности в истории. Однако с проблемами природы западноевропейского абсолютизма и русского самодержавия обстоит дело гораздо сложнее. Эти явления заслуживают обстоятельного рассмотрения.

¹ Здесь и в последующем изложении ссылки на страницы рассматриваемой работы Е.В.Тарле даются не в подстрочных примечаниях, а в тексте.

II. Западноевропейский абсолютизм в работе Е.В. Тарле: две его разные авторские трактовки

К западноевропейскому абсолютизму Е.В.Тарле изначально подходит так, как подходили и сейчас подходят к нему все историки. Абсолютизм для него — вид государственного строя, „форма правления“ (с.160), „неразрывно связанная со всем „остальным социально-юридическим строем“ (с.131). Но чем дальше он углубляется в исследование абсолютизма, тем чаще сталкивается с фактами, которые он не в состоянии объяснить, исходя из такого рода установки.

Ему, например, бросилось в глаза, что абсолютизм всегда и всюду выискивал и карал врагов. „Если не было революционеров, — писал Е.В.Тарле, — преследовались умеренные реформисты; не было реформистов — преследовались вообще всякие лица, даже идеализирующие данный строй, но осмеливающиеся делать это хоть немного не показанному, хоть немного по-своему; не было и таких, — преследовались круглые шляпы, курение папирос на улице, участие в масонских ложах и т.д. и т.д. Такова историческая логика абсолютизма, который был в движении не только потому, что ему было важно двигаться к известной цели, а и потому, что он не мог не двигаться“ (с.111).

Но, убедительно показав, что абсолютизм всегда преследовал любых еретиков и диссидентов, историк оказался не в состоянии раскрыть и объяснить причину этого явления. Как считает он, эти преследования не вызывались „реши-тельно никакими потребностями ни его (абсолютизма — Ю.С.) самого, ни тех классов, которые являлись его под-держками“ (с.108). Его изумляет „даже не жестокость, а именно полная бессмысленность этих преследований“, кото-рые разоряли „иногда не только гонимых, но и правове-рных“, наносили „тяжкий удар торговле, промышленности, всему государству в его целом“ (с.108). Единственное объ-яснение, которое он предлагает: абсолютизм все проделывал от нечего делать, из-за желания „занять свои досуги“ (с.111).

В результате столкновения с этими и другими фактами у Е.В.Тарле наряду с сознательно принимаемой и призна-

ваемой им трактовкой абсолютизма как формы правления начало (во многом бессознательно) пробивать дорогу совершенно иное его понимание. Оно более или менее отчетливо прорывается в ряде мест работы.

Так, на одной из страниц Е.В.Тарле характеризует абсолютизм уже не просто как форму правления, а как социально-политический строй (с.176). Но еще более важны другие места, где он пишет о существовании при абсолютизме особого слоя людей, кормившегося за его счет, слоя, который не совпадал полностью ни с одним эксплуататорским классом общества, не исключая дворянства (с.142—143). Этот особый пласт людей, который был связан с абсолютизмом „многовековыми материальными узами“ (с.143), Е.В.Тарле определяет как класс (с.143, 145).

„При дворе и от двора, — писал автор, — питались высшие аристократические роды, всеми богатствами церкви пользовались высшие духовные лица, абсолютизмом держалась рать высших административных лиц военного и гражданского ведомства, откупщики государственных налогов, наконец, мириады авантюристов обоего пола, получавших пенсии или еще мечтавших получить таковые. Все это вместе составляло как бы отдельный класс, пополнявшийся представителями большей частью из двух высших сословий, но имевший, кроме общесословных, свои собственные интересы. Этот класс твердо знал, что уж ему-то гибель от всякой серьезной попытки изменить порядок вещей. Это были привилегированные из привилегированных, абсолютизм для них был не только жандармом-охранителем привилегий, как для общей массы дворянства и духовенства, но и непосредственным источником дохода, подателем средств к существованию“ (с.142—143).

Но если абсолютизм предполагал существование особого эксплуататорского класса, то он тем самым представлял собой не просто и не только форму правления или даже социально-политического строя, а определенную систему социально-экономических отношений, особый антагонистический общественно-экономический уклад. На вопрос о том, что это был за общественно-экономический уклад, Е.В.Тарле

никакого ответа не давал. Отчасти потому, что этот вопрос перед ним в сколько-нибудь четкой форме не вставал. Но самое интересное, что, не отвечая на этот вопрос, он в то же время намечал путь к решению этой задачи. Я имею в виду его утверждение о том, что „самый долговечный абсолютизм, какой только знает история, абсолютизм восточный“ (с.52). Но, как он тут же замечает, об этом абсолютизме, о его происхождении и развитии в настоящее время „возможно лишь строить догадки“ (с.52). С тех пор положение существенно изменилось. К настоящему времени создана теория этого „восточного абсолютизма“, которая дает ключ к разгадке природы и западноевропейского абсолютизма.

III. Древнеполитарный способ производства и древнеполитарное общество

Я не буду здесь излагать историю вопроса о социально-экономическом строе стран Востока вообще, обществ Древнего Востока в частности. Она подробно рассмотрена в моей книге „Политарный („азиатский“) способ производства: Сущность и место в истории человечества и России“ (М., 2008). Отмечу лишь, что подавляющее большинство исследователей считало особенностью социально-экономического строя этих социоисторических организмов отсутствие частной собственности на землю. Так полагали и К.Маркс и Ф.Энгельс, хотя это находилось в вопиющем противоречии с их же взглядами на восточные общества как на классовые, антагонистические. В действительности же и общества Востока, как все вообще классовые общества, базировались на частной собственности, но особого, непривычного для западных ученых вида.

С чисто юридической точки зрения частная собственность — такое отношение индивида (собственника) к вещам (собственности), которое в идеале предполагает его безраздельное, никем и ничем не ограниченное господство над ними, такое право собственника на вещи, на которое никто, включая государство, не может посягать. Как принято говорить, частная собственность священна и неприкосновенна.

Все остальное не имеет значения. Частная же собственность как экономическое отношение есть нечто совсем иное.

Частная собственность как экономическое отношение есть такая собственность одной части членов общества на вещи, прежде всего на средства производства, которая позволяет ей безвозмездно присваивать труд другой (и обязательно большей) части его членов. Эти две части общества, из которых одна эксплуатирует другую, представляют собой не что иное, как общественные классы.

В основе деления на общественные классы лежит различие отношения этих групп людей к средствам производства. Но оно совершенно не обязательно выражается в том, что один класс полностью владеет средствами производства, а другой полностью лишен их. Это справедливо в отношении рабовладельческого и капиталистического способов производства, но, например, никак не феодального. Оба класса, порождаемые феодальным способом производства, владеют средствами производства. Но их отношение к этим средствам производства различно. Один класс — верховный собственник средств производства, прежде всего земли, другой класс — подчиненный собственник этих же средств производства, главное среди которых — земля.

Таким образом, частная собственность может быть полной, когда члены господствующего класса безраздельно владеют средствами производства, а члены другого класса целиком отчуждены от них. Такова рабовладельческая и капиталистическая частная собственность. Однако собственность на средства производства может быть расщеплена на верховную частную собственность членов господствующего класса и подчиненную, обособленную собственность членов эксплуатируемого класса. Верховной, а не полной является феодальная частная собственность. Верховная частная собственность — всегда собственность не только на средства производства, но и на личности непосредственных производителей, а эти производители — подчиненные собственники не только средств производства, но и своей личности.

Частная собственность может различаться и по тому, как конкретно члены господствующего класса владеют сред-

ствами производства (а иногда и работниками). Частными собственниками могут быть члены этого класса, взятые по отдельности. Это — *персональная частная собственность*. Частная собственность может быть *групповой*. Такова, например, акционерная собственность при капитализме.

Группой, владеющей средствами производства (работниками) и использующей их для безвозмездного присвоения продукта, созданного трудом производителей, может быть класс эксплуататоров в целом. В таком случае средствами производства (и работниками) владеют все члены господствующего класса только вместе взятые, но ни один из них взятый в отдельности. Это — *общеклассовая частная собственность*. Общеклассовая частная собственность всегда приобретает форму *государственной*. Это с неизбежностью обуславливает совпадение класса эксплуататоров, если не со всем составом государственного аппарата, то во всяком случае с его ядром. Описанный способ производства К.Маркс именовал азиатским. Лучше всего назвать его *политарным* (от греч. полития, политея — государство), или просто *политаризмом*.

Так как *политаристы* владели средствами производства и производителями материальных благ только сообща, то все они вместе взятые образовывали особого рода корпорацию. Общеклассовая собственность всегда есть собственность корпоративная. В данном случае эта корпорация представляла собой особую, иерархически организованную систему распределения прибавочного продукта — *политосистему*. Весь прибавочный продукт, который обеспечивала политарная частная собственность, шел в особый фонд — политифонд, за счет которого и жили политаристы. Этот фонд был в распоряжении главы политосистемы и тем самым государственного аппарата, который в идеале выделял каждому политаристу определенную долю прибавочного продукта. Этого верховного распорядителя общеклассовой частной собственности и, соответственно, прибавочного

продукта можно назвать *политархом*¹. Соответственно с этим возглавляемая политархом ячейка общеклассовой частной собственности может быть названа *политархией*. Она же одновременно была и *социоисторическим организмом* (отдельным, конкретным обществом), и *государством*.

Любой политарный способ производства предполагал собственность политаристов не только на средства производства, прежде всего землю, но и на личность непосредственных производителей. И эта верховная собственность класса политаристов дополнялась полной собственностью главы этого класса — политарха на личность и имущество его подданных. Полная собственность политарха на личность всех его подданных выражалась в его праве лишать их жизни без какой-либо вины с их стороны. На самых ранних этапах политарх имел право на жизнь лишь рядовых подданных, затем оно распространялось на всех политаристов. Полное право политарха на имущество подданных выражалось в его праве по своему произволу безвозмездно отбирать его. Право политарха на жизнь и имущество подданных реализовывалось через посредство государственного аппарата. Для политарных обществ характерно существование практики постоянного систематического террора государства против всех своих подданных. Этот террор мог проявляться в разных формах, но он всегда существовал. Особенно жестким и массовым был террор в эпохи становления политаризма².

Суть политарного террора заключалась не в наказании виновных или подозреваемых во враждебных замыслах, а в создании и постоянном поддержании атмосферы всеобщего страха. Ни одному подданному политарха не было гарантировано исключение из числа возможных жертв. Каждый мог

¹ Подробно об этом см.: Семенов Ю.И. Политарный („азиатский“) способ производства. Сущность и место в истории человечества и России М., 2008 С. 56—66 и др.

² Подробнее об этом см. Семенов Ю.И. Становление и сущность политарного („азиатского“) способа производства // Семенов Ю.И. Политарный („азиатский“) способ производства. Сущность и место в истории человечества и России... С. 53—64, 71.

в любое время быть схваченным и уничтоженным без какого бы то ни было следствия и суда. Для этого вполне достаточно было приказа политарха или специально уполномоченных им лиц.

Как выяснилось в процессе исследования, в истории существовал не один, а несколько разных политарных способов производства. Основой особой общественно-экономической формации был только один из них — тот самый, что возник впервые в эпоху Древнего Востока и продолжал существовать в Азии вплоть до конца XIX в. Его можно назвать *древнеполитарным*.

Древнеполитарный способ производства существовал в трех основных вариантах. Один из них был самым распространенным, и когда говорят об „азиатском“ способе производства, то только его и имеют в виду. В этом смысле его можно считать классическим. Существуют, по крайней мере, еще два варианта древнеполитарного способа производства, которые описывают, но к азиатскому способу производства обычно не причисляют.

При классическом варианте древнеполитарного способа производства эксплуатируемый класс — крестьяне, живущие общинами. Крестьяне или платят налоги, которые одновременно представляют собой земельную ренту, или, что реже, наряду с ведением собственного хозяйства, обрабатывают землю, урожай с которой поступает государству. Этих крестьян также нередко в порядке трудовой повинности используют на разного рода работах (строительство и ремонт каналов, храмов, дворцов и т.п.).

Таким образом, при данном варианте политаризма, который можно назвать *политарно-общинным* или *политообщинным*, частная собственность на средства производства вообще, на землю прежде всего, раздвоена. Общеклассовая политарная частная собственность является при этом не полной, а верховной, и, разумеется, как всякая верховная частная собственность представляет собой собственность не только на землю, но и на личности непосредственных производителей. Крестьянские общины или отдельные крестьянские дворы при этом — подчиненные, обособленные собст-

венники земли, а входящие в них крестьяне — подчиненные собственники своей личности, а тем самым и своей рабочей силы.

Крестьянские дворы, таким образом, входят одновременно в состав двух разных хозяйственных организмов: крестьянской общины и политархии.¹ Как составные части крестьянской общины они представляют собой ячейки по производству необходимого продукта; они же в составе политархии и сама политархия в целом суть ячейки по производству прибавочного продукта, идущего классу политаристов. Как явствует из сказанного, древнеполитаризм в данном варианте — двухэтажный способ производства. Политарный общественно-экономический уклад включает в себя в качестве своего основания крестьянско-общинный уклад. Крестьянские общины являлись глубинной подосновой полито-общинных обществ. Древнеполитарные социоисторические организмы возникали, исчезали, сливались и раскалывались. Но общины при этом сохранялись.

Даже самые небольшие формирующиеся политархии (протополитархии) включали в себя несколько пракрестьянских общин. В таком случае верховному правителю — протополитарху — были непосредственно подчинены старосты общин. Что же касается политархий уже сложившегося классового общества, то они обычно имели не менее трех уровней управления. Политарху подчинялись правители подразделений политархии (дистриктов, округов) — субполитархи, которым в свою очередь были подчинены старосты общин. В крупных политархиях могла существовать четырехзвенная система управления: (1) политарх — (2) правители провинций (субполитархи первого ранга) — (3) правители округов (субполитархи второго ранга, или субсубполитархи) — (4) старосты крестьянских общин. Система, состоящая из политарха и субполитархов, — *политархосистема* была костяком, скелетом, несущей конструкцией политосистемы в целом.

¹ О понятиях хозяйственного организма и хозяйственной ячейки см. Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней... С. 437—441.

В идеале весь прибавочный продукт должен был поступать в распоряжение политарха, который, оставив себе определенную его часть, все остальное должен был распределить между членами политосистемы. В чисто социальном плане весь прибавочный продукт шел от непосредственных производителей на самый верх политосистемы, т.е. к политарху, минуя все промежуточные звенья, и уж от него растекался сверху вниз по ее каналам. В некоторых политархиях действительно предпринимались попытки сконцентрировать весь этот продукт в одном месте с последующей его раздачей членам господствующего класса.

Но чаще физическое перемещение прибавочного продукта не совпадало с социальным его движением. Правители территориальных подразделений политархии — субполитархи, собрав налоги, оставляли себе определенную, установленную политархом долю, а все остальное передавали вышестоящему правителю. Если этот правитель тоже был субполитархом, то он, получив налоги от всех нижестоящих субполитархов, опять-таки оставлял себе определенную политархом их часть, а остальное передавал выше. В конце концов, часть продукта, причем обычно значительная, оказывалась в руках политарха. В таком случае физическое движение прибавочного продукта шло по каналу политосистемы снизу вверх. Но в идеале это ни в малейшей степени не мешало прибавочному продукту в социальном отношении двигаться сверху вниз: ведь именно политарх назначал субполитархов и тем самым выделял им доли прибавочного продукта, определяя при этом размеры этих долей.

Правители всех рангов, получив в свое распоряжение установленную политархом долю прибавочного продукта, часть ее использовали для обеспечения своего существования, а другую — на содержание подчиненного им аппарата управления, состоявшего из различного рода должностных лиц. Причем, в идеальной политархии размеры долей продукта, получаемого этими лицами, определялись не субполитархом, а опять-таки политархом. По существу субполитарх распоряжался не всем выделенным ему продуктом, а лишь той его частью, которая шла на его содержание. Поли-

тарх за счет полученного им продукта содержал центральный аппарат управления. Чаще всего чиновники, которые не являлись субполитархами, получали причитающуюся им долю продукта в виде своеобразного жалования натурой. Жалование получали и люди, обслуживающие политарха и его семью.

Однако ряд должностных лиц мог получать от политарха не жалование натурой, а право на сбор части или даже всего налога с определенного числа крестьян, иногда даже с целой крестьянской общины. Такого рода вариант можно было бы назвать *алиментарным* (от лат. *alimentum* — содержание). Алиментарист не приобретал никаких особых прав ни на землю *алиментариума*, ни на личности крестьян-алиментариев, кроме тех, что он имел как член господствующего класса. Он получал лишь особое право на часть созданного в его алиментариуме продукта до тех пор, пока занимал должность. С лишением должности он это право терял.

Такова картина древнеполитарного общества, в котором политообщинный уклад был либо единственным, либо безраздельно господствующим. Это общество было монополитарным. Но даже когда древнеполитарное общество первоначально являлось таковым, в последующем оно претерпевало существенные изменения.

Возникновение древнеполитарного общества означало конец политарного классообразования, но не классообразования вообще. Практически во всех монополитарных обществах на определенных этапах их развития начинался процесс вторичного классообразования, имущественного расслоения в среде людей, не входивших в состав класса политаристов, прежде всего крестьянства. Не вдаваясь в детали этого процесса, отмечу, что важнейшую роль в нем играли заемно-долговые отношения, особенно займы под залог личности и земли, которые неизбежно порождали кабалу и рабство.¹ Шел процесс, с одной стороны, обезземеливания кре-

¹ Подробнее см.: Семенов Ю.И. Общая теория традиционной крестьянской экономики (крестьянско-общинного способа производства) // Власть земли. Традиционная экономика крестьянства России XIX века — начала XX века Т.1. М., 2002.

стьян, с другой, возникновения крупной персональной полной частной собственности на землю. С одной стороны, появлялись крупные земельные собственники, с другой стороны, — люди, лишившиеся возможности самостоятельно вести хозяйство. В обществе происходил интенсивный процесс формирования еще двух антагонистических способов производства: доминарного и магнарного.

Суть *доминарного* (от латин. *dominare* — господствовать) способа производства заключалась в том, что эксплуатируемый полностью работал в хозяйстве эксплуататора. Этот способ выступает в пяти вариантах, которые часто являются и его составными частями. В одном случае человек работает только за содержание (кров, пищу, одежду). Это — доминоприживальческий, или просто приживальческий, вариант доминарного способа эксплуатации (1). Нередко вступление женщины в такого рода зависимость оформляется как заключение брака. Это — брако-приживальчество (2). Человек может работать за определенную плату. Этот вариант можно назвать доминонаймитским, или просто наймитским (3). Человек может оказаться в чужом хозяйстве в качестве заложника или несостоятельного должника. Это — доминокабальный подспособ (4). И, наконец, еще одним является доминорабский подспособ эксплуатации (5). Рабство как вариант и составной элемент доминарного способа эксплуатации качественно отличается от рабства как самостоятельного способа производства. В литературе его обычно именуют домашним, или патриархальным, рабством.

При *магнатном*, или *магнарном* (от латин. *magna* — великий, ср. латин. *magnat* — владыка), способе производства основное средство производства — земля, находившаяся в полной собственности эксплуататора, передавалась в обособленное пользование работника, который более или менее самостоятельно вел на ней хозяйство. Случалось, что непосредственный производитель получал от эксплуататора не только землю, но и все средства труда. Работник обычно отдавал собственнику земли часть урожая, а нередко также и трудился в собственном хозяйстве эксплуататора.

Таким работником мог стать раб, посаженный на землю. Это магнорабский вариант магнарного способа производства (1). Им мог стать приживал. Это — магноприживальческий вариант магнарного способа производства (2). Им мог стать человек, оказавшийся в зависимости от владельца земли в результате задолженности. Это магнокабальный подспособ эксплуатации (3). И, наконец, им мог стать человек, взявший участок земли в аренду и оказавшийся в результате этого не только в экономической, но и в личной зависимости от владельца земли. Это — магноарендный подспособ эксплуатации (4). В литературе последнюю форму эксплуатации обычно называют издольщиной, а когда работник отдает половину урожая — испольщиной.

Очень часто доминарный и магнарный способы производства срастались друг с другом, образуя по существу один единый гибридный способ производства — *доминомагнарный*. Доминаристы при этом одновременно были и магнаристами.

В политарном обществе могли формироваться и формировались и доминарные, и магнарные, и доминомагнарные отношения. Возникали доминомагнарные хозяйственные ячейки, в которых работали лишившиеся средств производства люди. В основном они входили в их состав в роли магнокабальников и магноарендаторов. Магнарный способ производства чаще всего выступал в кабальном и арендном вариантах, что, разумеется, не исключало бытия и других его подтипов. Рядом с магнарно-зависимыми работниками (магнариями) могли трудиться и доминарно-зависимые (доминарии).

Тем самым в древнеполитарных обществах наряду с политарной верховной частной собственностью на землю и подчиненной обособленной собственностью на землю крестьян или крестьянских общин в том или ином объеме получала развитие персональная полная частная собственность на землю. Возникающий внутри древнеполитарного общества доминомагнарный уклад теснил крестьянско-общинный. Если раньше нижний этаж общества был в основном крестьян-

янско-общинным, то теперь он все в большей степени начал становиться доминамагнарным.

В обществе начинали существовать два вида и две системы отношений частной собственности, два этажа эксплуатации и два эксплуататорских класса. Когда непосредственные производители из крестьян превращались в доминариев и магнариев, то они переставали платить налоги государству. Созданный ими прибавочный продукт непосредственно шел только доминамагнаристам. Но хотя последние и были полными персональными частными собственниками, но их возникшая в результате экспроприации подчиненной крестьянской обособленной собственности полная частная собственность на землю с неизбежностью была тоже подчиненной. Так наряду с подчиненной обособленной собственностью на землю возникла подчиненная же персональная частная собственность на это основное средство сельскохозяйственного производства. Из двух форм частной собственности на землю политарная была верховной, доминамагнарная — подчиненной.

Верховная частная собственность политаристов распространялась не только на принадлежавшие доминамагнаристам средства производства, включая землю, но и на их личности. Верховным собственником и всей территории государства, и личности подданных государства как был, так и продолжал оставаться класс политаристов, а глава этого класса — политарх и был, и оставался полным собственником и имущества, и личностей подданных государства. Политарх в принципе в любое время мог лишить доминамагнарриста не только имущества, но и жизни. Таким образом, из двух эксплуататорских классов политаристы были классом господствующим, доминамагнаристы — классом подчиненным. В таком же подчиненном положении было и купечество.

Доминамагнаристы, как и крестьяне, должны были платить ренту-налог классу политаристов. Они должны были отдавать часть созданного доминариями и главным образом магнариями прибавочного продукта в политофонд. На этой почве между политаристами и доминамагнаристами возни-

кали конфликты. Доминомагнаристы пытались сократить и долю прибавочного продукта, идущего в политофонд, и тем увеличить свой доход, и вообще превратить свою подчиненную зависимую частную собственность на землю и прочее имущество в независимую, свободную собственность, т.е. избавиться от верховной собственности класса политаристов и полной собственности политарха на свою личность и свое имущество.

С развитием доминомагнарного уклада древнеполитарное общество превращалось из монополитарного в политарно-доминомагнарное, короче, политодоминомагнарное. Здесь перед нами не два варианта или подтипа древнеполитарного способа производства, а два подтипа древнеполитарного общества. Это общество, как и политообщинное, было двухэтажным. Но здесь перед нами иная форма социальной двухэтажности. Политообщинное общество было двухэтажным в силу двухэтажности классического варианта политарного способа производства. Двухэтажность политодоминомагнарного общества была обусловлена наличием в нем двух эксплуататорских общественно-экономических укладов, один из которых — политарный — был господствующим, а другой — доминомагнарный — подчиненным. На нижнем этаже такого общества сосуществовали крестьянско-общинный и доминомагнарный уклады, причем в ходе развития последний вытеснял и поглощал первый. В принципе доминомагнарный уклад мог полностью поглотить крестьянско-общинный. В таком случае должно было исчезнуть крестьянство и крестьянские общины.

Возникновение внутри политарного общества доминомагнарного уклада существенно сказалось на господствующем политарном укладе и положении политаристов. Каждый из политаристов в принципе был заинтересован в сохранении и укреплении политархии. Однако наряду с общими классовыми интересами у каждого из политаристов, взятого в отдельности, были и иные интересы, обусловленные не индивидуальными его особенностями, а структурой общества и его местом в ней. Важнейшей особенностью положения каждого политариста, исключая политарха, была неопреде-

ленность и неустойчивость его места в обществе. Он в любое время мог быть смещен политархом с должности и даже физически уничтожен по его приказу. От политарха зависел и объем получаемой им доли прибавочного продукта. В принципе каждый политарист жаждал ликвидации этой неопределенности.

Когда политаристы жили лишь за счет получаемой от политарха доли прибавочного продукта, то с потерей должности они лишались средств существования. Отсюда стремление обзавестись таким собственным персональным имуществом, которое могло бы обеспечить им возможность жить, не трудясь и не неся службы, — частным персональным богатством.

Пока общество было монополитарным, у политаристов было мало возможностей обрести частное богатство. Весь прибавочный продукт шел в политофонд. Если тот или иной политарист пытался вытянуть у крестьян помимо налогов что-либо лично для себя, последние могли пожаловаться политарху, который предпринимал меры с тем, чтобы покончить с такой практикой, включая смещение с должности или иные формы наказания.

Положение резко изменилось после появления доминомагнарного уклада и слоя доминомагнаристов. С этих пор в политофонд начал поступать не весь созданный в стране прибавочный продукт, а только часть его. Другая часть поступала доминомагнаристам, а также купцам и оказывалась вне распоряжения политарха. Доминомагнаристы и купцы в силу своего положения часто нуждались в различного рода услугах со стороны политаристов, в частности в протекции. За эти услуги нужно было платить. Политаристы могли, используя свое служебное положение, вымогать у доминомагнаристов и купцов те или иные ценности.

Возникнув, протекционизм, взяточничество, вымогательство, поборы и другие проявления коррупции получали широкое распространение. Суть коррупции заключается в том, что политаристы по отдельности или группами стали использовать верховную общеклассовую частную собственность на личность подданных не для служения своему клас-

су, в частности для пополнения политифонда, а для личного обогащения. Это было не что иное, как персонализация политаристами корпоративной общеклассовой частной собственности на личность подданных — *властная персонализация*.

Наряду с ней стала проявляться и другая форма персонализации общеклассовой собственности — присвоение той или иной части общеклассового имущества — *имущественная персонализация*. В наиболее наглядной форме она проявлялась в попытках политаристов, получивших алиментариумы, превратить их в свою полную персональную собственность. Это выражалось в произвольном увеличении поступлений с алиментариумов, в стремлении сделать эти держания пожизненными, а затем и наследственными.

Частное персональное богатство могло включать в себя средства производства, прежде всего землю, дающие возможность эксплуатировать людей, лишенных собственных средств производства. В подобном случае политарист становился одновременно и доминагнаристом. Таким образом, граница между двумя эксплуататорскими классами становилась относительной. Но не только политаристы становились доминагнаристами. С тем, чтобы избавиться от приниженного положения, доминагнаристы стремились занять место в госаппарате и тем войти в состав класса политаристов.

В добавление ко всему сказанному, в политомагнарном обществе нередко возникала практика сдачи сбора государственных налогов на откуп богатым людям. Откупщики также стремились закрепить за собой территории, с которых собирали налоги, т.е. опять-таки персонализировать часть общеклассовой частной собственности.

IV. Иные, кроме древнеполитарного, политарные способы производства

Как уже отмечалось, кроме древнеполитарного способа производства, в истории человечества существовало еще несколько политарных способов производства. В отличие от древнеполитарного, ни один из них не был основой особой общественно-экономической формации. Можно говорить только о базирующихся на них общественно-экономических параформациях (от греч. пара — возле, около). Общественно-экономические параформации, как и общественно-экономические формации, суть типы общества, выделенные по признаку социально-экономической структуры. Но в отличие от формаций, представляющих собой стадии всемирно-исторического развития, параформации суть стадии развития отдельных социоисторических организмов¹.

Один из таких политарных способов производства возник в Древнем Риме. В I в. до н.э. — I в. н.э. в римской державе началось постепенное обволакивание всех существующих социально-экономических связей политарными. На поверхности это выразилось в переходе Рима от республики к империи. Становление политаризма невозможно без постоянного, систематического террора. В этом заключена глубинная причина и проскрипций, начало которым положил Луций Корнелий Сулла, и политики массовых репрессий Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона. Завершение становления политаризма нашло свое внешнее выражение в смене режима принципата, при котором формально сохранялись республиканские институты, доминатом — откровенным единодержавием.

V. Западноевропейский абсолютополитаризм

Еще один политарный способ производства сформировался в странах Западной Европы в конце Средних веков и начале Нового времени. Развитие вглубь капитализма — вы-

¹ Подробнее об этом см.. Семенов Ю.И. Философия истории . С.256.

зревание и окончательное утверждение этого способа производства в его колыбели — в Западной Европе было процессом сложным и противоречивым. Формирование национальных рынков, которое началось еще в конце Средних веков, а затем превращение этих рынков в капиталистические, оказало огромное влияние на социально-экономическую структуру общества. Оно перестало быть феодальным, хотя пережитки этого способа производства продолжали сохраняться.

Общеизвестно, что в Западной Европе централизованные государства, обязанные своим появлением национальным рынкам, возникли в форме абсолютных монахий. Как уже отмечалось, абсолютизм обычно понимается историками как явление чисто политическое, как всего лишь новая форма государственной власти. Однако все обстоит гораздо сложнее. Становление абсолютизма было одновременно и становлением новой системы социально-экономических отношений, связей политарных. Эти политарные отношения, которые, возникая, обволакивали все остальные социально-экономические связи, можно назвать *абсолютнополитарными*. Становящийся абсолютнополитарный уклад втянул в себя в качестве подчиненных все остальные существующие в обществе уклады, включая крестьянско-общинный, купеческо-бюргерский, а затем и капиталистический. Возникшее абсолютнополитарное общество было двухэтажным.

Становление политаризма невозможно без систематического массового террора. И волна страшных репрессий действительно, начиная с XVI в., на более чем сотню лет захлестнула всю Западную Европу. Речь идет прежде всего о терроре инквизиции. Последняя, как известно, возникла еще в Средние века. Но ее костры ярче всего пылали не в темной ночи Средневековья, а на заре Нового времени, что всегда поражало историков вообще, историков культуры в особенности.

Историк Е.Б.Черняк в книге „Вековые конфликты“ (М., 1988) указывает, что, начиная с Нового времени, деятельность инквизиции приобрела иной характер, чем раньше. В Средние века инквизиторы стремились выявить и уничтожить действительных отступников от веры. В Новое время

задачей инквизиции стало создание врагов, обвинение ни в чем не повинных людей в ереси и истребление этих созданных ее же собственными усилиями еретиков. Именно с этим связано повсеместное применение пыток. Но обвинение в ереси невозможно было предъявить всегда и всем. В результате наряду с преследованиями еретиков началась охота за ведьмами и колдунами. „В течение всего XVI в. и первой половины XVII в. по всей Центральной и Западной Европе, — пишет французский исследователь Ж.Делюмо в книге „Ужасы на Западе“, — множатся процессы и казни колдунов; в период 1560—1630 гг. безумие преследования достигает своего апогея“¹. Обвинения в ведовстве были удобны тем, что от них не был застрахован никто. Обвинить можно было всех и каждого.

Преследование колдунов и ведьм не только не пресекалось государством, а всемерно им поощрялось. Церковь и инквизиция были по сути дела орудиями в его руках, хотя внешне они могли выступать в качестве вдохновителей. „Происходившие процессы и казни, — пишет Ж. Делюмо, — не были бы, конечно, возможны без их постоянного инициирования церковными и гражданскими властями“.² Инквизиция была важнейшим, хотя не единственным орудием террора в руках становящегося политарного государства. Право политаристов на жизнь и смерть подданных проявлялось в разных формах, из которых знаменитые „lettres de cachet“ (буквально — секретные письма, реально — королевские указы о заточении без суда в тюрьму или о ссылке каких-либо лиц) были, пожалуй, самыми невинными.

Характеризуя в целом эту эпоху, Ж.Делюмо писал: „В Европе начала Нового времени повсюду царил явный или скрытый страх“.³ И этот страх был прежде всего результатом описанного выше массового террора. Кстати сказать, неоднократно цитированный выше автор, не давая четкого ответа на вопрос о причинах „безумия“, охватившего Западную Европу, в то же время отмечает, что „различные формы демо-

¹ Делюмо Ж. Ужасы на Западе М, 1994 С 352

² Там же. С.354.

³ Там же С 3

нического наваждения помогали укреплению абсолютизма¹.

Все это дает ответ на вопрос, поставленный Е.В. Тарле о причине неустанных, внешне совершенно бессмысленных преследований при абсолютизме. Последний проделывал все это вовсе не от нечего делать, не из-за желания „занять свои досуги“, без них абсолютизма просто не было бы. Только постоянный массовый террор мог обеспечить утверждение и существование в Западной Европе новой формы политаризма — *абсолютистского политаризма (абсолютполитаризма)*. Характеризуя французский абсолютизм, выдающийся историк Ф.Минье (1796—1884) писал: „Корона распоряжалась совершенно свободно — личностью при помощи бланковых приказов об арестовывании (*lettres de cachet*), собственностью — — при помощи конфискаций, доходами — при помощи налогов“².

Но если о причинах массовых репрессий при абсолютизме Е.В.Тарле ничего сказать не мог, то класс политаристов он охарактеризовал блестяще. Абсолютполитарное общество, как и многие поздние древнеполитарные общества, было двухэтажным. В нем существовал не один эксплуататорский класс, а несколько. Существовала верховная собственность политаристов на все средства производства. Возникавшая тогда буржуазная собственность, будучи полной, была в то же время подчиненной. И политаристы никогда не ограничивались тем, что получали от королевского двора — из политофонда. Они усиленно занимались персонализацией верховной власти на личности людей, властной персонализацией. Е.В.Тарле ярко рисует картину грабежа членами класса политаристов представителей других слоев общества.

Размах коррупции к началу царствования Людовика XV принял такие масштабы, что была создана „палата правосудия“ (*chamber de justice*),— „особое судилище, которое должно было привлекать к ответственности всех чиновников, подозреваемых в вымогательстве и присвоении подат-

¹ Делюмо Ж. Ужасы на Западе М, 1994 С 355

² Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 г. М., 1920. С.38.

ных сборов, а также вообще всех, кого можно было обвинить в утайке казенных денег и причинении вреда казенному интересу“ (с.62). „Сначала, — продолжает Е.В.Тарле, — *chamber de justice* принялась за дело рьяно, с той привычкой к насилиям, с тем разгулом произвола и презрением ко всякой законности, которые были вполне естественным в бюрократях, прошедших школу службы при Людовике XIV“ (с.62).

Но кончилось это тем, что сами члены „палаты правосудия“ за взятки начали заминать дела. Но главное — стал разрушаться весь существующий общественный порядок. В результате правительство в эдикте, изданном в марте 1715 г., объявило об упразднении палаты правосудия. Е.В.Тарле приводит данное в этом документе объяснение: „Чем больше желали мы углубиться в *расследование причины и прогрессирующего хода (этого) зла*, тем более признавали мы, что порча столь распространилась, что почти все сословия ею заражены таким образом, что нельзя было употребить самую справедливую строгость для наказания столь большого числа виновных, не причиняя опасного перерыва в торговых отношениях и своего рода общего потрясения во всем государственном организме“ (с.63).

И хотя западноевропейский абсолютополитаризм был мягче, чем восточный древнеполитаризм, он тем не менее все в большей степени вступал в противоречие с потребностями развития общества. Чтобы капиталистическая частная собственность могла успешно развиваться, необходимо было превращение ее из подчиненной, какой она была при абсолютополитаризме, в свободную, независимую, что было невозможно без ликвидации верховной собственности класса политаристов и полной собственности абсолютного монарха на личность подданных. А это предполагало уничтожение абсолютополитаризма, что и произошло в результате буржуазных революций, которые были по своей сущности не столько антифеодальными, как это принято считать, сколько антиабсолютистскими. Как прежде всего антиабсолютистские трактует буржуазные революции Е.В.Тарле в рассмат-

риваемой работе. При абсолютизме, по его мнению, существовал не феодализм, а его пережитки (с.145).

VI. Российский державополитаризм

В то же самое время, когда в Западной Европе формировался абсолютизм, в России шло становление самодержавия. В советской исторической науке было принято считать, что историческое развитие Руси-России в общем и целом шло по тому же пути, что и эволюция стран Западной Европы в Средние века и Новое время: вначале феодализм, затем зарождение и, наконец, победа капиталистического общественно-экономического уклада. А если принять во внимание одновременность формирования абсолютизма в Западной Европе и самодержавия в России, то само собой напрашивался вывод о тождестве этих явлений. Естественной была и трактовка их как формы государственного устройства. Такая точка зрения более чем отчетливо проявилась в дискуссии по проблеме абсолютизма, которая развернулась в нашей исторической науке в 1973 г.¹ Подобного взгляда придерживался и Е.В.Тарле в рассматриваемой работе, что явствует из ее названия „Падение абсолютизма в Западной Европе и России“.

Доля истины в таком взгляде, несомненно, присутствует. Между западноевропейским абсолютизмом и российским самодержавием есть общее. И в том, и в другом случае перед нами политаризм, но только не один и тот же, а два разных политарных способа производства, возникших на разной основе и далеко не по одинаковым причинам.

Прежде всего, на Руси-России никогда не было феодализма, как не было его во всей Восточной и Центральной Европе. Этот вопрос был мною детально рассмотрен в работе „Проблема исторического пути Руси-России (Размышления над трудом В.И.Сергеевича „Древности русского права““), включенной в уже упоминавшуюся выше книгу „Политарный („азиатский“) способ производства: Сущность и

¹ См. Рахматуллин М.А. К дискуссии об абсолютизме в России //История СССР. 1973. № 4. С.65—88

место в истории человечества и России“. В основе общества Древней Руси, как и в основе всех обществ Центральной Европы, лежали два тесно связанных общественно-экономических уклада: доминомагнарный и нобиларный. Доминантные и магнарные отношения выше уже были охарактеризованы. На нобиларных необходимо задержаться.

Нобиларный (от латин. *nobilis* — знатный) способ производства, или *нобиларизм*, будучи близким к древнеполитарному способу производства, в то же время отличается от него целым рядом особенностей. Для него характерно существование довольно узкого слоя эксплуататорской элиты — *нобиларистов*. На Руси они носили название князей. Каждому из нобиларистов выделялась определенная доля общей корпоративной собственности, которой он мог по своей воле распоряжаться. Нобиларная частная собственность, в отличие от политарной, была корпоративно-долевой, корпоративно-персонализированной. В результате глава корпорации нобиларистов и тем самым глава государства — *нобиларх* был распорядителем не всей корпоративной собственности, а только той ее части, что была ему выделена. Это ограничивало его власть над рядовыми нобиларистами. По отношению к последним он выступал не столько как их повелитель, сколько как первый среди равных. Нобиларх, в отличие от политарха, не имел права на жизнь и смерть не только других членов господствующей элиты, но и рядовых своих подданных. Нобиларх и нобиларисты получали прибавочный продукт, создаваемый людьми, жившими на территориях, которыми они управляли, прежде всего крестьянами, объединенными в общины.

Если территории, находящиеся под властью тех или иных нобиларистов (включая и нобиларха), — *нобилариумы* — были велики, то они отдавали отдельные части своих владений в кормление и управление тем или иным лицам. Нобиларизм, таким образом, мог сочетаться и обычно сочетался с *алиментаризмом*, но особого рода, отличным от рассмотренного выше политарного алиментаризма. Обычным явлением было превращение рядовых нобиларистов в нобилархов, а тем самым и распад прежней нобилархии на не-

сколько новых, меньших по размеру. Если первоначально Русь была одним, относительно единым княжеством, то со временем она распалась на множество вполне самостоятельных княжеств.

Нобиларный способ эксплуатации был важным, но не единственным в эпоху от начала Руси до середины XV в. Существовали и другие. Если обратиться к работам, посвященным социально-экономическим отношениям того времени, то подавляющее большинство описываемых в них ненобиларных форм эксплуатации полностью подходят под данные выше определения доминарных и магнарных отношений. Мы находим здесь и приживалов, и кабальников, и наймитов, и рабов. Среди магнарных отношений преобладали магноарендные, нередко перераставшие в магнокабальные.

Представителей высшего слоя доминомагнаристов именовали на Руси боярами. За низшим слоем доминомагнаристов в последующем закрепилось название детей боярских. Все они были полными собственниками земли, которой могли свободно распоряжаться: продавать и покупать, дарить, передавать по наследству, отдавать в аренду. Их владения были вотчинами, сами они — вотчинниками и своеземцами. Доминомагнарист руками рабов, приживалов, наймитов вел обычно собственное, как правило, небольшое хозяйство. Большую часть земли он сдавал в аренду. Между магнаристом и арендатором заключалась порядная, в которой фиксировалась плата за наем. Нередко магнарист представлял магнарию-арендатору не только землю, но и скот, зерно и т.п. Крупные магнаристы имели на службе множество людей, часть которых могла составлять их собственную дружину.

Описываемые отношения эксплуатации столь существенно отличались от феодальных, что подавляющее большинство дореволюционных историков категорически выступали против признания существования в Древней Руси феодализма. Древняя Русь была не феодальным, а нобиломагнарным обществом.

В XIII в. Русь была покорена монголами. В конечном счете, Северная Русь, т.е. Северо-Западная и Северо-

Восточная вместе взятые, почти на 250 лет оказалась под властью Золотой Орды и ее преемников. Остальные части Руси вошли в состав Великого княжества Литовского и Польши. Оставляя в стороне историю тех частей Руси, что оказались в составе двух последних государств, ограничусь рассмотрением развития социального строя лишь Северной Руси.

О воздействии Золотой Орды на политический и социальный строй Северной Руси писали многие авторы. Они по-разному оценивали его силу и его результаты. Н.С.Трубецкой (1890—1938), например, подчеркивал, что Северная Русь стала одной из провинций монгольского государства и, как следствие, усвоила всю „технику монгольской государственности“, прежде всего монгольскую „систему управления“¹. Другие авторы сводили это воздействие к минимуму, что мешало им понять эволюцию общественного строя Руси.

В действительности воздействие Золотой Орды на социальный строй Северной Руси было огромным. Монгольская империя, а тем самым и отделившаяся от нее Золотая Орда, были древнеполитарными государствами. И в результате влияния Золотой Орды в Северной Руси начал формироваться особого рода политаризм, включавший в себя в качестве важнейшего компонента крепостничество. На это обстоятельство обратил внимание Г.В.Вернадский (1877—1973). „Прямо или косвенно, — писал он, — монгольское нашествие способствовало падению политических институтов киевского периода и росту абсолютизма и крепостничества“².

К.А.Виттфогель (1896—1988) в своей работе „Россия и Восток: Сравнение и противопоставление“, впервые опубликованной в 1963 г. в журнале „Славик ревью“, прямо связывал возникновение своеобразной разновидности „восточного деспотизма“, или „агродиктаторского (agromanage-rial) общества“ (так он называл политаризм) с монгольским завоева-

¹ См. Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана //Трубецкой Н.С. История Культура Язык М, 1995. С 225—226 и др

² Вернадский Г.В. История России Монголы и Русь. Тверь, М, 1997. С 5

нием¹. Американский историк Д.Островски настаивает на том, что, начиная с XIV в., в Московском княжестве шла „ассимиляция, модификация и адаптация“ монгольских политических, административных и военных институтов².

Предпосылки такой политаризации, которая включала в себя и становление крепостничества, стали намечаться еще в XIV в., начало же ее относится к XV в. В домонгольской Руси доминамагнаристы (крупные и мелкие бояре) могли быть на службе у князя, а могли и не быть. Более того, боярин мог бросить служить князю, в княжестве которого находилась его вотчина, и, полностью сохраняя ее, перейти на службу к любому другому князю. Во второй половине XIII в., в XIV в. и первой половине XV в. право отъезда продолжало сохраняться. Далее начались изменения. Не только постепенно был запрещен отъезд, но и служба князю из добровольной превратилась в обязательную.

И в более раннюю эпоху и князья, и крупные бояре могли давать части своих земельных владений тем или иным лицам с обязательством несения службы. Эти условные держания со временем получили название поместий, а их держатели стали называться помещиками, или дворянами. В отличие от вотчин поместьями можно было только пользоваться, но не распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству. С отказом от службы человек лишался поместья.

Первоначально условные держания были сравнительно редким явлением. С середины XV в., по мере превращения Великого князя Московского в государя всея Руси, раздача поместий получила самое широкое распространение. Когда Иван III, например, подчинил Новгород, он конфисковал вотчины большей части местных бояр. Отобранные земли частично остались в распоряжении великого князя, частично были розданы в качестве поместий людям из других облас-

¹ Wittfogel K A Russia and the East A Comparison and Contrast //The Development of the USSR Ed by D W Treadgold Seattle, 1964 P 323—339

² Островски Д. Монгольские корни русских государственных учреждений //Американская русистика Вехи историографии последних лет Период Киевской и Московской Руси. Антология. Самара, 2001. С.143 и след.

тей страны. Лишенные же своих владений бояре получили вотчины или поместья за пределами Новгородской земли.

Шаг за шагом была прекращена практика раздачи поместий частными лицами. Право это сохранилось только за князем. Все свободные служилые люди стали только государевыми. Постепенно стала стираться грань между вотчинами и поместьями. Она стала особенно относительной тогда, когда вотчинникам вменили в обязанность служить князю под угрозой лишения их владений.

И после утверждения монгольского господства на Руси продолжали сохраняться нобиларные отношения. После смерти князя его сыновья получали нобилархии и тем самым становились князьями. Однако и здесь наметились существенные перемены. Раньше исходная нобилархия распадалась на несколько новых и превращалась в систему по существу равноправных социальных единиц. Теперь на смену *разделу* пришел *выдел* из состава исходной нобилархии, правителем которой становился старший сын умершего князя, нескольких сравнительно небольших нобилархий, которые отдавались младшим сыновьям. Уже здесь явственно наметилось различие между великим князем и удельными князьями. Затем постепенно уделы младших сыновей из во многом все еще самостоятельных княжеств стали превращаться в автономные части великого княжества.

В более позднее время удельные княжества представляли собой уже не сплошные территориальные массивы, соседствующие с собственными владениями великого князя, а состояли из нескольких пространственно разделенных кусков, вкрапленных в территорию великого княжества.

Удельные князья имели своих служилых людей, свои собственные вооруженные силы. Все доходы с их княжества шли только им. В казну великого князя от них не поступало ничего. Но если внутри своих княжеств они по-прежнему пользовались всей полнотой власти, то по договорам с великим князем они шаг за шагом лишались права вступать в отношения с иными княжествами Северной Руси, тем более с иными государствами, т.е. права вести внешнюю политику. Отношения великого князя с удельными по-прежнему регу-

лировались договорами, но в них все в большей и большей степени подчеркивалось подчиненное положение удельных князей по отношению к великому князю. Но кардинальным решением вопроса были, конечно, ликвидация уже существовавших удельных княжеств и прекращение выделения новых. И это, в конце концов, произошло. Во время правления Ивана IV уничтожение нобиларных отношений было в основном завершено. Утвердились качественно иные связи — политарные. Во время последовавшего за правлением Ивана IV царствования Федора Ивановича было в основном завершено уничтожение и магнарных отношений.

Пока преобладающей формой были вотчины и вотчинники не были обязаны служить своему князю, власть не вмешивалась в отношения между владельцами земли, с одной стороны, его арендаторами-магнариями, с другой. Когда же ведущей формой стали поместья, а вотчинники в обязательном порядке стали служилыми людьми князя, положение резко изменилось. Для того чтобы и помещик, и вотчинник могли исправно отбывать службу, прежде всего военную, было совершенно недостаточно, чтобы они имели в своем пользовании или в своей собственности землю. На земле поместья или вотчины должно было сидеть достаточное количество работников.

Но арендаторы-магнарии могли снимать землю у одного землевладельца, могли у другого, имели право свободно переходить от одного хозяина к другому. Более или менее гарантированным было положение крупных вотчинников, которые могли создать для своих арендаторов более благоприятные условия и тем самым переманить их от других хозяев. Положение помещиков и мелких вотчинников было более рискованным. Они вполне могли остаться без нужного числа работников и тем самым оказаться неспособными нести службу. В таких условиях единственным для государства выходом было прикрепление непосредственных производителей к земле, т.е. введение крепостного права. И оно, в конце концов, было введено. Магнарии-арендаторы превратились в крепостных крестьян.

Так в России были ликвидированы и нобиларные, и магнарные отношения. Вместо них в стране утвердился политаризм. Но этот политарный способ производства был отличен от древнеполитарного. Как уже отмечалось выше, с политаризмом вполне мог сочетаться алиментаризм. Как уже говорилось, при древнеполитарном способе некоторым служащим государственного аппарата платили не жалованье из казны политарха, а предоставляли право получения части дохода с определенной совокупности крестьян. При древнеполитарном способе производства алиментаризм не был широко распространенным явлением.

Характерной особенностью той разновидности политаризма, которая утвердилась в России, было широкое развитие алиментарных отношений. Людям, которые несли ту или иную службу государству, главным образом военную, выделялись в качестве алиментариумов земли вместе с жившими на них земледельцами. В результате часть общеклассовой политарной корпоративной собственности на землю и личность производителей в какой-то степени стала приобретать персонализированный характер. Первоначально персонализация государственной, корпоративной собственности была минимальной. Алиментарист получал право лишь на определенную часть прибавочного продукта, который создавался земледельцами его алиментариума, и не больше. И это право могло быть у него легко отнято.

Помещики с самого начала были алиментаристами. В дальнейшем ими стали и вотчинники. Это окончательно произошло, когда глава государства превратился в политарха и получил право лишать и жизни, и собственности всех своих подданных. Этот процесс, начавшийся еще при Иване III Великом, достаточно четко проявившийся при Василии III, окончательно завершился в царствование Ивана IV, еще при жизни прозванного Грозным. Опричный террор был вовсе не результатом плохого характера или психического заболевания этого монарха. Утверждение политаризма в любом его варианте с неизбежностью предполагает массовые репрессии и террор и создание атмосферы всеобщего страха. Все политархи так или иначе осознавали свое

главное право, обладание которым отличало их не только от рядовых подданных, но и от всех других членов класса политаристов. Но из всех политархов один лишь Иван IV сумел его лаконично и в то же время совершенно точно выразить: „А жаловати есмя своих холопов вольны, а и казнити вольны же...“¹

Дальнейшее развитие российского политаризма состояло в нарастающей персонализации государственной, корпоративной собственности. Важнейшим шагом на этом пути было прикрепление работников к земле алиментариума, т.е. утверждение крепостного права. Алиментариумы постепенно становились пожизненными, а затем и наследственными владениями.

Когда верховная политарная собственность на землю была в значительной степени персонализирована, а бывшие магнории-арендаторы окончательно прикреплены к поместью, земля последнего разделилась на две части: одна из них была выделена под хозяйства работников, на другой помещик руками этих же работников вел собственное хозяйство. В результате работники стали подчиненными собственниками земли, т.е. крестьянами в точном смысле этого слова, что с необходимостью предполагало существование крестьянской общины.

Как следствие, поместья в России стали имениями, в ряде отношений сходными с западноевропейскими манорами (деление на доменальную и крестьянскую землю, сосуществование с крестьянской общиной и т.п.). Российский помещик имел определенную власть над крестьянами. Но государем, в отличие от владельца западноевропейского манора эпохи феодальной раздробленности, он никогда не был. Никогда не были российские имения ни сеньориями, ни феодами. Над российским помещиком всегда стояло самодержавное централизованное государство.

Если вплоть до середины XVIII в. еще сохранялась, по крайней мере формально, связь владения поместьем с несением службы государству, то после „Манифеста о даровании

¹ Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С.26

вольности и свободы всему российскому дворянству“ (1762) последнее перестало и официально быть обязательным. В конечном счете, поместья практически стали полной персональной частной собственностью помещиков, хотя определенные черты корпоративной собственности сохранялись вплоть до отмены крепостного права (1861). Помещики, дворяне превратились в особый класс, отличный от класса политаристов. Но последний класс рекрутировался главным образом из числа дворян. В результате, по крайней мере, часть дворян принадлежала одновременно и к классу политаристов. Наличие у этой части политаристов имений делало их менее зависимыми от политарха. Кроме людей, бывших только помещиками, были и такие, что были только политаристами, которые получали доходы лишь из политопонда.

Таким образом, во второй половине XV в. — XVI в. в России утвердился новый способ производства. Его можно назвать самодержавным политаризмом, или, короче, *державополитаризмом*. Этот общественно-экономический уклад был подразделен на две подсистемы. Первая из них — подсистема эксплуатации государственных крестьян. Она практически ничем не отличалась от политообщинного варианта древнеполитарного способа производства и вполне может быть названа *политообщинной*. Вторая — система поместий, в которых трудились крепостные крестьяне, — *политопоместная (политокрепостническая)*. Эти две подсистемы образовывали одну единую систему — *державополитарную*. В последующем политопоместная система постепенно трансформировалась в особый общественно-экономический уклад — *поместно-крепостнический*.

Вторая половина XV в. — XVI в. были временем смены старой нобиломагнарной общественно-экономической параформации новой, но тоже не формацией, а параформацией — державополитарной (державополитопоместной).

Смену общественно-экономических формаций принято называть социальной революцией. Вероятно, социальной революцией можно называть и смену формации параформацией, параформации — формацией и одной параформации другой параформацией. Социальные революции могут про-

исходить разным образом. Существуют три основные формы смены формаций и параформаций внутри социоисторического организма. Первая форма — *стихийная социально-экономическая трансформация*. Так происходил переход от предклассового общества к классовому. Вторая форма — *социально-политическая реформация*. Ее иногда называют „революцией сверху“. Третья форма — *социально-политическая революция*, включающая в себя в качестве необходимого момента захват власти — государственный переворот. Рассмотренная выше социальная революция в России происходила в форме социально-политической реформации. Реформаторами были Иван III Великий, Василий III и Иван IV Грозный.

Во второй половине XV в. — XVI в. на территории Северной Руси произошла не только и не просто смена социально-экономического строя. Возник совершенно новый ранее не существовавший социоисторический организм. Северная Русь, представлявшая собой конгломерат нобилярхий, объединилась вокруг Великого княжества Московского и превратилась в огромный подлинный социоисторический организм, получивший со временем название России. Кончилась история Руси — началась история России — нового социоисторического организма, который почти сразу освободился от чужеземного владычества и обрел полную политическую независимость.

Возникновение державополитаризма в России обеспечило целостность и единство страны и избавило ее от той участи, которая постигла все общества Центральной Европы, в которых в той или иной степени продолжали господствовать нобиломагнарные отношения. Все они рано или поздно лишились политической независимости. Болгария, Молдавия, Валахия и Сербия оказались в составе Османской империи, Хорватия, Словакия и Чехия — Австрийской. Венгрия была разделена между Турцией и Австрией. Последней с политической карты мира исчезла образовавшаяся в результате объединения Польши и Великого княжества Литовского Речь Посполитая.

Вследствие реформ Петра Великого Россия приобщилась к многим достижениям Западной Европы: получили распространение мануфактуры, стала вначале усваиваться, а затем и развиваться наука и философия и т.п. В течение XVIII в. Россия превратилась в одну из великих европейских держав. С конца этого столетия в стране в результате влияния Запада начал формироваться капитализм. Это сделало неизбежной новую социальную революцию. Она, как и социальная революция второй половины XV в. — XVI в., произошла в виде социально-политической реформации в 60-х годах XIX в. В результате в России возник капитализм, но особого типа.

Россия, как все другие отстававшие в своем развитии страны мира, оказалась в экономической зависимости от передовых капиталистических государств Запада. В результате в ней, как и в других такого рода странах, утвердился тупиковый вариант капитализма — периферийный капитализм (паракапитализм). В ней на смену державополитарной параформации пришла паракапиталистическая параформация. В странах периферийного капитализма (Россия, Иран, Турция, Китай, Мексика) в первые два десятилетия XX в. одна за другой прокатились социально-политические революции, направленные против паракапитализма, а тем самым и против зависимости от стран Запада, революции освободительные, антикапиталистические. Только одна из них одержала победу. Этот происшедший в России в 1917 г. грандиозный переворот принято называть Великой Октябрьской социалистической революцией.

В результате ее Россия вырвалась из цепей зависимости от Запада, что обеспечило ее быстрое развитие и превращение вначале во вторую индустриальную страну мира, а затем в одну из двух сверхдержав. В России, которая приняла название СССР, утвердился новый социально-экономический строй. Но это был не социализм, а новая форма политаризма — индустрополитаризм, или неополитаризм. Именно с этим связана волна массового террора, которая пришлась на конец 20-х — 30-е гг. К 80-м гг. неополитаризм исчерпал свои прогрессивные возможности. Нужна была социальная рево-

люция, но произошла контрреволюция, в результате которой в России был реставрирован периферийный капитализм и произошёл возврат к паракapиталистической парадормации¹.

О новом издании труда Е.В. Тарле

„Падение абсолютизма в Западной Европе и России“

Как уже было сказано во вступительной статье, данная работа вышла в 1924 г. как второе, дополненное издание опубликованной в 1906 г. книги Е.В.Тарле „Падение абсолютизма в Западной Европе. Исторические очерки“. Она отличалась от исходного труда наличием новой — четвертой — главы „Революционные перевороты 1917—1918 гг.“ Если первое издание было включено в IV том Сочинений Е.В. Тарле в двенадцати томах, то второе никогда не перепечатывалось. Его переиздание предпринято впервые. В публикации 1924 г. было множество иноязычных выражений, которые никак не пояснялись. В новом издании все они сопровождаются переводами на русский язык.

Условием согласия ближайшего родственника Е.В.Тарле, его внучатого племянника (внука старшей сестры историка Елизаветы Викторовны) Якова Львовича Кранцфельда, на переиздание этой работы была публикация в книге его статьи „Т-щ Сталин и т-щ Тарле“. Она печатается в качестве приложения без каких-либо изменений под выбранным автором псевдонимом — Лео Яковлев.

Ю.И. Семенов

¹ Подробно обо всем этом см. Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Вып. 3. История цивилизованного общества (XXX в. до н.э. — XX в. н.э.). М., 2001. С.133—205; Он же. Философия истории... С.425—668, Он же. Политарный („азиатский“) способ производства. Теория и история //Политарный („азиатский“) способ производства. Сущность и место в истории человечества и России. ... С.370—400.

Вводные замечания

I

Проблема о причинах смены одних государственно-правовых начал другими, как и всякая иная социологическая проблема, в весьма серьезной степени затрудняется часто не вполне ясной постановкой вопроса. Там, где нужно еще только стремиться приблизиться к пониманию главного, — весьма нередко предлагаются объяснения деталей, которые выяснять и невозможно, и не так непосредственно необходимо. Это понятно, если принять во внимание, что в этой сфере ученому приходится часто бороться с политиком, что поэтому иной раз второстепенные и третьестепенные подробности, которые социологически и неуследимы или малоуследимы и неинтересны, поглощают все внимание исследователя только по причине их политической злободневности. Писались же, при Второй империи во Франции, глубоко-мысленные рассуждения о том, что французам свойственен монархический „дух“, каковой будто бы и объясняет двукратное крушение республиканского образа правления, тогда как на первом плане должно было бы стоять выяснение происхождения длительной реакции имущих классов, а не одна из форм этой реакции — империя. Социологически империя была тут феноменом второстепенным, но, конечно, не всем ученым, пережившим 50—60-е гг. XIX в., одинаково легко было бы проникнуться мыслью, что империя и Наполеон III — это нечто второстепенное. Таких иллюстраций можно было бы привести достаточно. Задача исследования в данной области должна иметь отношение прежде всего к двум коренным вопросам социальной эволюции. Эти коренные вопросы играют такую огромную роль, что на них следует остановиться несколько обстоятельнее.

Среди мыслей Гельмгольца, собранных учеником его Лео Кенигсбергером, есть одна, имеющая внутреннюю связь

с тем, о чем у нас сейчас пойдет речь¹. По словам Гельмгольца, задача естественных наук заключается в поисках того, что остается неизменным в смене явлений. По его убеждению, этому требованию лишь отчасти удовлетворило развитие понятия о силе, с таким теоретическим последствием этого развития, как установление закона смены явлений. Дальнейший шаг должен был состоять в том, чтобы найти химические элементы, т.е. материю, одаренную свойствами неуничтожаемости и неизменности.

Социология также стоит перед проблемой, аналогичной той, о которой говорит Гельмгольц. Здесь также для решения указанной задачи нужно, во-первых, стремиться выяснить движущую силу, природу этой силы, творящей эволюцию, а во-вторых, стараться разглядеть те простейшие элементы, на которые разлагаются исторические явления. Это и есть те коренные вопросы обществоведения, без решения которых, в том или ином смысле, абсолютно немыслима никакая мало-мальски цельная социологическая теория.

По общепринятому определению, энергия есть способность силы производить известную работу. Социальная энергия есть способность силы произвести известную социальную работу. О какой силе тут идет речь? Штаммлер говорит, что все движения социальной жизни совершаются исключительно при посредстве (*durch das Medium*) социальных феноменов². Продолжая начатую мысль, скажем, что социальные феномены, называются ли они реформами или революциями, или еще иначе, являются именно формами проявления социальной энергии; сама же социальная энергия есть способность психической и физической силы общественных масс производить в тех или иных размерах работу давления на окружающий общественный уклад. Как мы уже неоднократно имели случай сказать, нам кажется наименее произвольным и наиболее обоснованным тот взгляд, что эта психическая и физическая сила общественных масс и управляется, и направляется царящими в каждый данный момент и посто-

¹ Koenigsberger L. *Herman von Helmholtz*. Braunschweig, 1893. S. 39.

² Stammer R. *Wirtschaft und Recht*. Leipzig, 1896. S. 309.

янно изменяющимися условиями производства и распределения экономических благ.

Современный историк говорит: „Всякий раз, как мы встречаем в европейской истории вновь возникающую монархическую власть, мы можем быть уверены, что стоим у мертвой точки классовой борьбы...“ Продолжая эту мысль, можно сказать, что всякий раз, когда мы встречаем в стране прогресс революционных настроений против абсолютизма, — это признак, что классовая борьба уже давно обострилась.

Естественно, что если социальная энергия начинает напирать на стенки сосуда, на формы общества, иначе говоря, на те правовые условности, которые перестали соответствовать новым, становящимся все интенсивнее, экономическим потребностям, то она, эта энергия, не может, в конечном счете, не произвести требуемых изменений социально-юридического и политического характера, предполагая, конечно, что экономическая эволюция в данной общественной группе не примет иного направления и не начнет регрессировать (ибо и эта возможность логически не должна быть исключена) и что прежде всего в опасности — абсолютизм.

Употребивши в только что написанной фразе выражение „в конечном счете“, мы должны раньше, нежели продолжать свое изложение, ответить на возражение, которое делает Штаммлер по поводу этой постоянно встречающейся и не нравящейся ему оговорки. Он — один из самых упорных критиков исторического материализма, высоко ставящий, впрочем, методологическое значение этой теории, а пункт, о котором мы хотим говорить, по-видимому, представляется ему существенным. Сущность взглядов Штаммлера по этому поводу сводится к следующему: оговорка, что экономические новые условия только „в конце концов“ побеждают и вызывают требуемые правовые изменения, — эта оговорка лишает материалистическое воззрение на историю значения непреложного закона. Ибо, как долг будет период, предшествующий этому „концу концов“?¹ И кто поручится, что в течение этого периода не проявятся в экономической

¹ Wann soll „schliesslich“ eintreten? etc. Stämmeler, R. Op. cit. S. 425 et seq.

жизни новые производительные силы, которые вызовут новую борьбу еще раньше, чем закончена будет старая борьба; которые устремятся к новым целям еще раньше, чем достигнуты цели, прежде намеченные? А если так, то, значит, нельзя утверждать, что обусловленные экономическими причинами стремления к социальным переменам всегда с точностью естественно-научных законов приводят к осуществлению этих перемен. Ибо закон, в строгом смысле, не знает и не допускает никаких исключений, и поэтому оговорка „в конце концов“ именно и не дает права говорить тут о непреложном законе исторических явлений. Если бы этот закон был на самом деле законом, то стремления к перемене должны были бы возыметь непосредственный успех, „ибо содержание и обоснование этих стремлений несколько не повышаются от того обстоятельства, что их приверженцы в состоянии развить несколько большую силу; на шатком вопросе о силе не может быть основана никакая социальная закономерность“. Если одни и те же стремления в одном историческом случае приводили к победе, а в другом историческом случае еще только ждут победы и надеются „в конце концов“ победить, то здесь, значит, ни о каком законе говорить нельзя, ибо закон никаких „если“ не признает (Kein Wenn und kein Aber). Так дело обстоит, например, в механике. Ведь не гласит же, например, закон тяжести, что Земля притягивает тела, *если* ничто не станет между ней и этими телами. Таковы мысли Штаммлера; рассмотрим их.

Когда Штаммлер говорит, что период борьбы новых стремлений со старым укладом может быть продолжителен и что за это время могут возникнуть новые стремления и изменить направление и конечную цель борьбы, то это совершенно верно, — но что же отсюда следует? Ведь эти новые стремления будут, в свою очередь, обусловлены ходом социально-экономической эволюции, и новые цели тоже будут целями, нужными социально-экономической эволюции, а самое возникновение этих новых целей будет свидетельствовать о том, что цели старые стали не нужны, упразднились ходом социально-экономической эволюции, растворились, интегрировались целями новыми; что, значит, по существу

своему те старые препятствия, против которых началась была борьба, не оказались в состоянии остановить ход экономической эволюции, хотя видимая победа и не была еще над ними достигнута, хотя формально они еще не были низвержены.

Именно продолжающееся существование этих старых препятствий при наступившем изменении целей социальной борьбы и будет свидетельствовать о том, что для социально-экономической эволюции эти бывшие „препятствия“ стали безвредны по существу. Экономика — не Ахиллес, а политика — не Гектор, у стихии нет самолюбия, желания торжества ради торжества, стремления к видимой, кричащей победе. Капиталистическое развитие Германии не произвело нужных ему изменений в государственно-правовом быте германских государств именно в 1848 г., и в полном объеме, предполагавшемся тогдашней буржуазной идеологией, но, „в конце концов“, в такой ничтожный исторический миг, как какие-нибудь двадцать лет с небольшим — то, что на самом деле было неодолимым тормозом экономического развития страны, исчезло, как дым; а то, из старого порядка, что являлось несущественным, хотя и больше всего кричавшим на авансцене, благополучно осталось.

Далее Штаммлер, как мы видели, полагает, что содержание и обоснование стремлений к перемене правового уклада должны были бы всегда обуславливать *неизбежность* этой перемены независимо от несколько большей или меньшей силы, которой располагают приверженцы названных стремлений, если бы в самом деле материалистическое воззрение было законом; ибо вопрос о силе так шаток, что на нем не может быть основана никакая закономерность. А между тем, говорит он, исторический опыт указывает, что такой *неизбежности* нет.

Этого возражения принять нельзя ни в каком случае. Если, вследствие „шаткости“ вопроса о силе, оставить этот вопрос в стороне при анализе проблемы о социальных переменах, тогда лучше и всю проблему отложить в сторону, ибо без этого вопроса она теряет всякую реальность и превращается в более или менее искусно замаскированную игру слов.

Устранить этот вопрос из социологии — значит вынуть душу из этой науки, ибо что же такое история, как не наука о перемещениях и видоизменениях социальной силы? Что такое социология, как не наука об общих причинах этих перемещений и видоизменений? Правда, социология все еще представляется „шатким“ зданием, но вовсе не потому, что самый *вопрос* о силе шаток, а потому, что недостаточен запас фактов и выводов, которые бы облегчили полное и окончательное уразумение того, как в каждом конкретном историческом случае распределилась в обществе социальная сила. Строгий и точный юрист, Штаммлер захотел понять в этом вопросе исторический материализм так, как если бы эта теория покоилась на наивнейшей идеологической уверенности в фатальном торжестве известных „стремлений“ самих по себе, независимо от всей исторической обстановки, среди которой они возникли и которая в *разные* моменты дает им *разную* силу. То есть, вернее, Штаммлер захотел навязать этой теории именно такое истолкование; желая же отрезать противникам всякую возможность отступления с такой явно слабой позиции, он протестует, как мы видели, против всяких оговорок (насчет торжества „в конечном счете“ и т.п.), говоря, что при этих оговорках и закон не есть закон. Но попробуем отнестись к аргументам Штаммлера с той же точностью и строгостью, с какой он ухватывается за все слова, когда-либо брошенные Энгельсом, — и мы тотчас же увидим, что точность есть палка о двух концах и что эти аргументы более образны, нежели несокрушимы. Желая иллюстрировать, что такое настоящий научный закон, до которого далеко историческому материализму, Штаммлер, как мы видели, приводит следующее соображение: закон тяжести гласит, что Земля притягивает тела, и этот закон не делает никаких оговорок (например: „если ничто не станет между Землей и этими телами“). Применяя тут штаммлеровскую точность, скажем: если между Землей и притягиваемым телом станет какой-либо предмет, то *результат* притяжения *изменится*, ибо тело упадет не на Землю, а на этот предмет.

Мало того. Если, постепенно отдаляя притягиваемое тело от Земли, отдалить его, наконец, от нее настолько, что

оно приблизится к Солнцу, то Земля *перестанет* его притягивать, и оно упадет не на Землю, а на Солнце. Но прав ли будет критик, который скажет: „Если приходится на таком *шатком* вопросе, как вопрос о большей или меньшей отдаленности того или иного тела от Земли, основывать свои соображения, упадет ли это тело на Землю или не упадет, — то закон тяжести не есть закон; истинный закон не знает никаких „если“ и т.д., и т.д. Не будем же от социологии требовать того, чего не дает и точнейшая из естественных наук. Для приложимости своей к каждому конкретному явлению, к каждому отдельному случаю всякий закон, даже естественно-научный, требует определенной обстановки, определенных условий. Еще большее количество разных „если“ требуется для предсказания конечных результатов действия такого закона. И, переходя теперь к формулировке нашей задачи, мы скажем, что такой частный случай в истории социальных перемен, как падение абсолютизма, именно и интересен с методологической стороны, ибо при его изучении сравнительно более отчетливо выступают и те условия, которые создают историческое *неизбежное*, и те, которые замедляют наступление этого исторического неизбежного. Анализируя перемещения социальной силы в эпохи острых кризисов, историк часто в состоянии отметить в этих явлениях то „постоянное“, что для социологии единственно ценно среди пестрого и непрерывно усложняющегося хода исторической жизни человечества.

Нам нужно уяснить, что может дать анализ падения абсолютизма для понимания природы социальной эволюции вообще. Скажем теперь несколько слов о материале, который, более или менее, доступен попыткам такого анализа.

II

Как показывает самое название настоящего очерка, мы тут интересуемся абсолютизмом, как определенным социологическим феноменом, и не ограничиваемся рассмотрением его судеб в какой-либо одной стране. Но и при такой постановке вопроса материал, который возможно использовать,

чрезвычайно ограничен, ибо необычайная сложность исторических явлений, с одной стороны, и скудность точно установленных сведений, с другой — заставляют оставить вне кругозора целые эпохи. Покойный английский историк Крейтон говорит в своем (посмертном) мемуаре, что читателя интересует, обыкновенно, не столько правдивость научных обобщений, сколько их приложимость к его собственным политическим убеждениям. „Он (читатель) впадает в нетерпение от сложности человеческих дел и подходит к истории в том же настроении, как идет на политический митинг“¹. Никаких предвзятостей, никаких притягиваний за волосы аналогий исследователь допускать не имеет права; прибавим, что именно априорное убеждение в необычайной сложности исторических явлений заставляет нас почти вовсе отказаться от пользования таким материалом, который слишком „прост“, потому только, что слишком скуден. Еллинек в своем труде „Право современного государства“ заявляет, что в исторический обзор государственных форм совсем не может ввести тех фактов, которые добыты исследователями первобытной культуры, а также древневосточного мира, ибо он считает эти факты скудными и не всегда достоверными. Такого рода решение представляется нам чрезвычайно серьезно обоснованным. Юристу-государствоведу едва ли возможно извлечь много полезного из анализа такой государственности, об организации которой существуют лишь самые общие указания, — и поэтому ему незачем останавливаться на древнейшем периоде, если только он не гонится за чисто внешней „полнотой“ исследования.

Если же, действительно, хозяйство и право относятся одно к другому, как содержание к форме, если, действительно, „право без хозяйства — пусто, а хозяйство без права — бесформенно“², то и социологу древневосточная история может сказать слишком немного: ведь одна из самых основных задач социологии именно и заключается в открытии за-

¹ См. *Historical Ethics* // *Quarterly Review*, 1905. Vol. 404 P 33.

² „Recht ohne Wirtschaft ist leer, Wirtschaft ohne Recht ist formlos“
См. *Berolzheimer System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*. München, 1904. I.B. S. VII (Vorrede)

конов, обуславливающих изменение правовых норм в зависимости от хозяйственной эволюции общества, — так что же делать с эпохой, правовые институты которой почти вовсе неизвестны, а хозяйственный уклад — и того меньше?

Мы знаем, например, с одной стороны, о многотысячелетнем абсолютизме ассирио-вавилонских царей; с другой стороны, все более и более накаплиются данные, вроде открытых в Сузах в 1901 г. законов Хаммурапи, заставляющие признать, что уже за две с лишком тысячи лет до Р. Х. в Вавилоне существовал развитый торговый обмен и, вообще, возможно предполагать сложную экономическую жизнь. Законы Хаммурапи — по времени древнее Библии, но по внутреннему содержанию Библия архаичнее, — это признают вслед за Лодсом все ориенталисты. Экономическое развитие Месопотамии сильно опередило экономический быт израильского народа, — в этом сомнений быть не может. Но как в Месопотамии возник и укрепился абсолютизм, — это так же темно, так же не вытекает из каких бы то ни было данных социально-экономического характера, как и сказания Книги Царств о превращении Еврейского царства „в обыкновенную восточную деспотию“. Ничего, кроме догадок и домыслов, обрывков и намеков в этом смысле пока нет. Раскопки идут, и новые и новые клинописи расширяют знание о месопотамских державах, — но в подавляющем большинстве случаев это расширение сведений касается лишь внешней культуры и военной истории: экономическое развитие остается пока чрезвычайно мало выясненным. То же можно сказать и о Египте, несмотря на ряд исследований о социально-экономических древностях Египта. Пессимистическое отношение Еллинека к результатам, добытым пока относительно Древнего Востока, — к сожалению, — вполне основательно.

Поясним нашу мысль. Никто не станет спорить, что теперь историческая наука знает о Востоке много такого, о чем еще каких-нибудь пятьдесят (не говорим уже — сто) лет тому назад не имела ни малейшего представления. Сами по себе — ее завоевания обширны; но их пригодность в качестве материала для детальных социологических сближений и сопоставлений более нежели сомнительна. Там, где прежде в

науке было пустое место, — теперь появились обломки, обрывки, как бы остатки былых социальных построек; но каковы были сами постройки, — этого все-таки даже и приблизительно сказать нельзя. И что хуже всего, — так это полное бессилие ориенталистов воссоздать хотя бы общие черты *динамики* экономической жизни, изменений в хозяйственной эволюции той или иной страны в разные эпохи. Много-много, если возможно дать (с догадками, фантазиями и домыслами) самую общую гипотезу об экономическом укладе Древнего Египта, о его „феодализме“ и т.п., — но об *эволюции* этого уклада даже и фантазировать не решаются. Представим же себе социолога, который, желая оперировать над русской историей, считал бы себя вправе давать „общую“ характеристику России в эпоху от нашествия татар до Александра III и полагал бы, что за весь этот период Россию можно признать неподвижно стоявшей на одном месте; представим себе, что Галлию времен Цезаря и Францию времен Пуанкаре смешивают воедино и тоже дают этой стране суммарную характеристику. Обладали ли бы эти характеристики социологической ценностью, — даже если бы ученые действительно были поставлены в такое положение, что имели бы полное основание оправдываться страшной скудостью дошедшего до них материала?

А ведь египетская история длилась, по самому умеренному исчислению (считая до персидского завоевания), больше двух с половиной тысяч лет, неужели же все *изменения*, происшедшие в жизненном укладе Египта за этот колоссальный период времени, сводились к тем незначительностям, которые пока уловила наука?

Итак, причины, по которым возникал, крепнул и развивался *самый долговечный* абсолютизм, какой только знает история, — абсолютизм восточный, — остаются пока скрытыми, невыясненными; силы, которые его выдвинули, препятствия, которые он должен был преодолеть, — обо всем этом возможно лишь строить догадки. Тот здоровый скептицизм, который наука в последнее время применяет, напри-

мер, хотя бы к истории Греции¹, камня на камне не оставил бы в археологии и историографии Древнего Востока, — если бы мыслимы были хоть попытки мало-мальски „округленно-го“ и искусственно-связного рассказа о социально-экономической эволюции древневосточных обществ. Но даже и для попыток таких оснований никаких не представляется...

Монархия персов, монархия Александра Македонского, а особенно Римская империя, Византия, — разумеется, известны полнее и со стороны экономического состояния, и со стороны политического развития, хотя, конечно, в истории всех этих держав (даже и Римской империи), особенно в их истории экономической, темных пунктов несравненно больше, нежели вполне выясненных. Огромные заслуги новейших исследователей (особенно немецких и русских) в деле разработки экономической истории Римской империи слишком громко говорят за себя, чтобы их возможно было хотя бы только пытаться отрицать, — но они же первые признают, что целые столетия в экономической истории Рима в последние времена его существования еще слишком темны и, в особенности, — что совсем пока не начерчена мало-мальски полная и обоснованная схема экономической *эволюции*, которую пережил этот колоссальный конгломерат народов за время принципата.

Известно обо всех этих монархиях кое-что. Это „кое-что“ дало недавно возможность Белоху и Мейеру построить две, в сущности, друг друга отрицающие гипотезы: о том, что весь Древний мир за все время своего существования не вышел из стадии домашнего хозяйства, и о том, что Древний мир не только из этой стадии в известные эпохи вышел, но что им переживалась также отчасти стадия народного хозяйства, не говоря уже о ступени хозяйства городского. По-видимому, второму (мейеровскому) мнению суждено получить в науке преобладание, но нас тут занимает не разбор этих мнений по существу, а печальный смысл того факта, самого по себе, что подобный спор еще мыслим, что подобное разноречие возникло между двумя первоклассными ана-

¹ Укажем хотя бы на Белоха и Мейера.

литиками, оперировавшими одним и тем же материалом. Если даже такие главные, основные вехи еще не вполне установлены и не всем кажутся ясными и одинаковыми, то что же сказать о более сложных, менее общих вопросах, относительно частностей экономической эволюции, пережитой *отдельными* государствами Древнего мира в *отдельные* эпохи?

Можно с жадностью следить за поступательным движением науки в этой области, можно радоваться каждому новому ее завоеванию, — но пока приходится отказаться от соблазна строить фантастические предположения, насиловать факты, давать им распространительное толкование, „модернизировать“ искусственно древнюю историю, — ибо все это было бы зданием, построенным на песке.

И не только скудость фактов заставляет нас поступить так. Падение абсолютистской формы правления не может быть ясно прослежено там, где одновременно с абсолютизмом гибло и все государство, как самостоятельное целое. Так погибла Ассирия, завоеванная персами, так погиб завоеванный ими же Египет, так погибла Персия под ударами Александра Македонского, так погибли те монархии, на которые распалось наследство Александра Македонского, так погибла Римская империя под влиянием далеко не одних только внутренних причин, какое бы значение им ни придавать, но и под влиянием событий, связанных с распространением германцев в римских пределах. Так, наконец, погибла и пережившая Западную империю Византия от руки османов. Во всех этих случаях абсолютизм погибал вместе с государством, — и, следовательно, при исследовании причин его гибели центр тяжести вопроса переносится на анализ экономического и политического состояния той *посторонней* социальной группы, которая военной экспедицией или всенародным походом покончила с *чужим* абсолютизмом в *чужом* государстве; выдвигается и проблема о причинах большей силы победителей и меньшей силы побежденных, и проблема о причинах, обусловивших самое столкновение, и т.д., и т.д. Но вопрос о том, что было бы без этого столкновения, каковы были бы судьбы данного абсолютизма, не произойди крушение всего государства, — этот вопрос, ко-

нечно, должен быть оставлен, ибо цена таким гипотетическим размышлениям не может быть особенно высокой.

Вследствие отмеченных только что обстоятельств материал, который возможно привлечь к рассмотрению, даже для такого краткого, общего очерка, как предлагаемый, до крайности суживается и почти весь сосредоточивается в периоде последних полутора лет. (Говорим „почти“, потому что английский тринадцатый век — время крушения абсолютизма в Англии, как и английский семнадцатый век — время неудачной попытки воскресить его — также не могут быть вполне обойдены молчанием).

Весь этот материал тоже не особенно легок для пользования, если подойти к нему с классическим требованием *полноты* правды и совершенного отсутствия фактических ошибок, с девизом: *ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia* (Да убоится история какой бы то ни было лжи, да не убоится какой бы то ни было правды). Из всего этого материала история французского старого режима, казалось бы, — одна из самых разработанных частей. Но и это мираж. Мы совершенно не находим возражений против таких слов исследователя административной истории предреволюционного периода¹. „Если бы разработанность известного предмета измерялась количественным богатством его „литературы“, — то относительно старого порядка во Франции, казалось бы, не могло более оставаться места для исследования. Несмотря, однако, на это поразительное обилие литературы, приходится признать, что существующие в ней сведения о старом порядке вообще и о провинциальной администрации, в частности, далеки от того, чтобы не оставлять желать ничего более ни в количественном, ни в качественном отношении... Общее, господствующее впечатление, которое выносишь из этого изучения, — это впечатление хаоса и тумана, в которых все труднее и труднее становится разобраться по мере того, как углубляешься в дебри этой литературы. Проверив и проанализировав это впечатление, действительно, замечаешь, что нет почти ничего ясного, ничего несомнен-

¹ См. Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в позднюю пору старого порядка (1774—1789). СПб., 1900

ного в наличных сведениях о предмете, что нет почти ничего вполне установившегося и бесспорного в существующих представлениях о нем, — что вообще в этой области *нет почти ни одного вопроса*, относящегося к предмету, начиная с самых общих и кончая самыми детальными, который бы не был спорным и не имел бы несколько взаимно друг друга исключающих решений“.

Такова значительная часть имеющегося у нас материала, — и с этим нужно считаться. Но и такой материал лучше, чем те обрывки и отрывки, которые сохранились от более отдаленных времен. Эти последние полтора-два столетия видели падение абсолютизма во многих странах, начиная с Франции, и этот период времени все-таки известен лучше, нежели предшествующая эпоха, — как бы мало ни был он известен, говоря безотносительно.

III

Эти вводные замечания мы хотели бы закончить еще несколькими словами. После характеристики общей задачи этого очерка и материала, относящегося к теме, нам необходимо коснуться еще одной стороны дела.

Речь идет о том архаическом, но удивительно живучем явлении, которое называется морализмом в истории. Что скрытый Плутарх слишком часто оказывается живым и здравствующим в ином современнике Моммзена и Роджерса, что потаенный Геродот иногда совсем неожиданно выглядывает вдруг из наисовременнейшего реферата, читаемого на социологических съездах, — с этим было бы трудно спорить. Конечно, эти пережитки некогда царившего метода теперь не так наивно и грубо дают о себе знать, — но дело от того существенно не меняется. Ибо морализм есть именно — прежде всего и больше всего — *метод*, и от этого происходит его особенная вредоносность.

Атавистическое порождение теологии, — морализм в той или иной форме, сознательно и бессознательно, подменяет вопрос „почему?“, вопрос „как?“ — вопросом „за что?“ И раз эта подмена произошла, — дело морализма сделано. В

XVIII столетии откровенные моралисты писали, что Римская империя погибла вследствие пьянства, разврата и вообще предосудительного поведения императоров и высшего общества, в XIX в. тайные моралисты писали, что она погибла, дабы дать место юному, могучему, девственному и т.д. германскому элементу; в XVIII в. исторические моралисты объясняли возникновение религий обманом и своекорыстием жадных попов; в XIX в. падение папской власти в конце Средних веков ставилось ими в зависимость от распутства пап и т.д. Фантомы очень медленно исчезали из исторической науки и не совсем исчезли и теперь, ибо фантомом называется не только восхваление героизма Вильгельма Телля (которого никогда не существовало) или мудрости Ликурга (которой также никогда не существовало), — но и другое, например, все эти размышления о свежих, девственных элементах, являющихся будто бы непременно на смену старым отжившим, — о „духе“ свободы, свойственном одним нациям и несвойственном другим, о „духе“ индивидуализма, побеждающем своей правдой „дух“ стадности, и тому подобных „духах“. И кроме таких „духовидцев“ историография знает более тонких и иногда высокоталантливых писателей, которые не сочли возможным (или нужным) воздержаться от введения моралистического элемента.

Историография падения абсолютизма в разных странах не вполне свободна от этого элемента. Слишком соблазнительной казалась мысль о возможности применить здесь категории преступлений и наказания, чтобы моралисты пренебрегли такой темой, — и было одно обстоятельство, которое именно в этой области доставило морализму известный успех. Это обстоятельство заключалось в том, что публицистика всеми мерами старалась тут поддержать и использовать моралистическую точку зрения: публицисты тех стран, где абсолютизм находился накануне исчезновения, старались то пригрозить властям за их упорство примерами из истории раньше бывших революций, то использовать эту историю для восхваления симпатичного им направления политической мысли или для опорочения направления антипатичного и т.д. Такого рода обстоятельство и давало популяр-

ность и широкое распространение моралистической точки зрения на исторические события революционного характера.

Интересно, что человек, сам часто тяготевший к морализму, живший во время широкого господства этой точки зрения, иногда наносил ей решительные удары. Мы говорим о Вольтере, одна мысль которого невольно приходит в голову, когда дело касается падения абсолютных правительств.

„Пробегаая историю мира, можно видеть, что слабости бывают наказываемы, но большие преступления — счастливы; и вселенная есть обширная сцена разбоя, предоставленная своей участи“¹. Тут, невзирая на употребленные термины, нет и тени морализма, и именно поэтому подобные тезисы у самого Вольтера часто затемняются и извращаются: ему случалось такими положениями обмолвиться, но нужны они ему не были. Мы привели эту мысль Вольтера потому, что она заключает в себе иллюстрацию к только что высказанному. Ведь одно из шаблоннейших указаний моралистов-историографов именно и заключается в том, что предшествующие преступления приводятся в причинную связь с последовавшими наказаниями, и можно сказать, что Вольтер par anticipation (предвосхищая будущее) возражает целой плеяде историков и публицистов XIX столетия, начиная с Маколея и кончая некоторыми современными деятелями. Марксе упрекал Маколея в том, что тот „подделал историю“ в интересах партии вигов. Скажем, что моралисты *всегда* подделывают историю, и чем они добросовестнее, тем бессознательнее делают это дело, а чем талантливее, — тем тоньше, художественнее и незаметнее у них это выходит. Морализм оптимистичен по самому существу своему, — оттого он так цепко держится; он элементарен — и потому так быстро распространяется; он заслоняет собой слепую и громкую стихию, и поэтому его спешат под тем или иным видом возвратить на то место, откуда он казался уже навсегда устранным. Слепая и грозная стихия не становится понятнее от того обстоятельства, что между ней и человеком поставлен заслон, но ведь и до, и после Паскаля слишком

¹ Voltaire. Essai sur les mœurs, ch. XXIII.

многим казалось более важным и насущным уйти от стихии, нежели понять ее.

Вольтер попробовал взглянуть поверх заслона и поскорее отвернулся, и всякий раз, как взглядывал, делал это на миг — и отворачивался. Но историческая наука давно признала свою прямую обязанность изучать прошлое, не вводя в изучение морализацию в том или ином виде, и нынешний морализм не есть открыто провозглашаемый принцип, а лишь атавистический пережиток в науке, хотя, вероятно, ему суждено еще долгое процветание в исторических воззрениях широких кругов. Мы уже сказали, почему во вводных замечаниях именно к настоящей работе особенно необходимо было упомянуть о моралистических пережитках. В истории мы видим и „счастливые преступления“, и наказанную добродетель, и торжествующий порок, и кровь, никогда не отмщенную, и многое другое, что делает в глазах некоторых историю арсеналом аргументов для пессимистической доктрины. Но нас тут будет интересовать только причинная связь событий и открывающаяся в ней та сила, энергией которой движется здесь жизнь человечества. Чем более удастся разложить сложные исторические явления на простейшие элементы, тем яснее выступает вперед значение этой силы, и тем быстрее тускнеет всякая явная или замаскированная морализация, вносимая или вносившаяся в историческое описание и объяснение событий.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Абсолютизм и революция

I

Почему абсолютизм погибал именно революционным путем чаще, нежели всякая иная форма правления? Почему именно революционная обстановка гибели является для него типичной? С рассмотрения этого *социологически-второстепенного* вопроса мы и начнем.

Первые глухие содрогания, первые подземные сотрясения доходили до сознания абсолютизма не всегда в виде революционных угроз. Экономический распад, хроническое голодание нации, сопряженное с уменьшением доходов фиска, — все это давало о себе знать непосредственно. Ни голодающие классы общества, ни правительство, ни самые выдающиеся приверженцы реформ и не думали приводить хоть в какую-нибудь связь экономическое состояние страны с существованием абсолютизма. Вобан и Баугильбер при Людовике XIV, физиократы при Людовике XV в своих планах не трогали абсолютизма и даже прямо к нему обращались с проектами экономических и финансовых преобразований; ни инстинкт, ни сознание нации не направлялись еще против абсолютизма. И бедствия представлялись „общими“, и меры к их устранению также предполагалось возможным обсудить сообща, — а осуществить их должен был, конечно, тот же абсолютистский правительственный аппарат. Абсолютизм в качестве экономического бедствия, в качестве логической предпосылки к государственному банкротству был понят далеко не сразу, далеко не в начале своего предсмертного периода. Этот период любопытен больше всего тем, как сам абсолютизм реагировал на действительность. Экономиче-

ские затруднения были первыми, которые он встречал на пути к отдаленной, невидимой еще никому своей гибели. Уже при регентстве во Франции денежная нужда обступала абсолютизм с настойчивостью, исключавшей возможность поставить на очередь дня что-либо иное, кроме финансовых реформ. О революционном движении и помину тогда еще не было; монархическая традиция всегда бывала во Франции особенно могущественна в начальные моменты нового царствования, ибо наивнейшая надежда на благость и мудрость новых правителей с прямо эпидемической быстротой охватывала широкие слои народа. У абсолютизма и время еще было в избыточном количестве, и полное сознание необходимости что-нибудь сделать (ибо денежная нужда была его самого непосредственно), и... ничего он не сделал. И регент, и номинальный президент финансового совета маршал Вильруа, и фактический президент того же совета герцог Ноайль превосходно понимали, что с наступающим гнетом общего разорения нужно тотчас же вступить в борьбу; в советчиках со стороны также недостатка не было. И вот мы видим сначала растерянное метание, а потом успокоение (правда, по самому существу дела, лишь временное) на авантюризме.

Среди этого первоначального метания промелькнула мысль о созыве Генеральных штатов, которые сто лет уже не созывались и которым суждено было еще семьдесят четыре года не быть созданными. Как известно, старый режим так и не ушел, в конце концов, от обращения к Генеральным штатам (и тоже под непосредственным давлением финансовой нужды), но 1715 г. был еще слишком далек от 1789 г. — и абсолютизму еще предстояла долгая агония. Тем более любопытны мотивы, по которым не праздный мечтатель, а член совета регентства, т.е. правительственное лицо (герцог Сен-Симон), выступил с предложением созыва Генеральных штатов. По его мысли, народные представители должны были собраться затем, чтобы торжественно объявить короля свободным от всяких долговых обязательств. Другими словами, голос Штатов нужен был в качестве санкции затеваемого абсолютизмом государственного банкротства. Но ре-

гент усомнился и отверг. Затем герцог Ноайль сделал несколько „улучшений“ мелкофискального характера, отнюдь не затрагивая системы обложения. Бросаясь во все места за деньгами, Ноайль учредил также „chambre de justice“ (палату правосудия), т.е. особое судилище, которое должно было привлекать к ответственности всех чиновников, подозреваемых в вымогательстве и присвоении податных сборов, а также и вообще всех, кого можно было обвинить в утайке казенных денег и причинении вреда казенному интересу. Главным образом, дело шло о том, чтобы под разными правосудными предложениями отнять у возможно большего количества лиц возможно большую сумму денег и этой суммой пополнить истощенное казначейство. Это часто случалось и прежде, — и прав историк, доказавший, что вся финансовая история старого режима представляет собой либо грабеж народа, производимый финансистами (особенно державшими на откупе сбор податей), либо насилия над этими финансистами со стороны властей¹. Но в данном случае сказалось вполне отчетливо то проклятие абсолютизма, что он в эпоху упадка *не может* уже, оставаясь самим собой, помочь себе сколько-нибудь полно, ибо не только сам он в сердце своем сгнил, но и все члены его сгнили, и он не может возложить на них никакой серьезной работы. Сначала chambre de justice принялась за дело рьяно, с той привычкой к насилиям, с тем разгулом произвола и презрением ко всякой законности, которые были вполне естественны в бюрократах, прошедших школу службы при Людовике XIV. Объявлены были награды доносчикам ($\frac{1}{5}$ часть конфискации) и такие наказания, как смертная казнь всякому, кто будет угрожать или *оскорблять* доносчика, или совращать доносчика с пути истинного. Страшные наказания (пожизненная каторга и т.д.) угрожали всем обвиняемым, скрывающим свое имущество, их „сообщникам“ и т.д. Начались смертные казни, некоторые подозреваемые покончили с собой сами, другие бросили все и

¹ L'histoire financière de l'ancien régime n'offre qu'une alternative de dépredations des financiers sur le peuple, et de violences du pouvoir sur les financiers, c'était un cercle d'où l'on ne pouvait sortir Martin *Histoire de France* XV, p. 19.

бежали, спасая жизнь. Казалось бы, абсолютизм, *все* пустивши в ход, воспользовавшись, в данном случае, *все* своим арсеналом устрашений, *всей* бесконтрольной властью над человеческой жизнью, честью и достоинством, мог бы каких-нибудь нужных ему результатов достигнуть? Но нет, он достиг очень мало. Спыхватившиеся финансисты стали подкупать, а никогда не терявшиеся придворные, публичные женщины, имевшие влияние на регента, и, наконец, сами члены „chambre de justice“ стали подкупаться. Дело окончилось к обоюдному и полному удовольствию. Из 4470 подсудимых трем тысячам удалось совсем ни одного су не заплатить казне, а остальные в общем уплатили не 220 млн, а всего 70 млн. И правительство в эдикте, изданном в марте 1717 г., объявляет о закрытии chambre de justice по нижеследующим мотивам: „Чем больше желали мы *углубиться в расследование причины и прогрессирующего хода (этого) зла*, тем более признавали мы, что порча столь распространилась, что почти все сословия ею заражены таким образом, что нельзя было употребить самую справедливую строгость для наказания столь большого числа виновных, не причиняя опасного перерыва в торговых сношениях и своего рода общего потрясения во всем государственном организме“. И это наивное признание совершенно правильно оценивает положение вещей по существу. Абсолютизм должен был либо перестать быть самим собой, либо примириться с совершенной невозможностью бороться против явлений, прямо вытекавших из его природы. Всякий раз, когда абсолютизм желал „approfondir la cause et les progrès du mal“, ему приходилось отступать с уроном от этого предприятия, ибо результаты „углубления“ оказывались самыми беспокойными и злокачественными.

Никто не будет спорить, что высшая власть в России, пожелавшая в конце 70-х гг. XIX в. расследовать и наказать казнокрадство, проявившееся в таких почти волшебных размерах в эпоху Русско-турецкой войны, на самом деле желала в данном случае правосудия уже потому, что это было в прямых интересах силы и боевой готовности русской армии. Столь же мало может быть сомнений в том, что когда в

80-х гг. администрация разворовала башкирские земли с совершенно неприличной торопливостью, то высшая власть решительно захотела и в этом деле суда и наказания виновных. Что результаты получились сравнительно с этими предположениями в обоих случаях совершенно ничтожные, даже совестно было бы доказывать особенно обстоятельно. Эта иллюстрация менее ярка, нежели французская, ибо уже смертная казнь, пытки и прочие приемы даже и в начале судебного преследования к подсудимым не применялись, но ведь зато и казна у нас не получила тех семидесяти миллионов, которыми должен был удовольствоваться регент. А за вычетом этого и других различий обстановочного характера, за вычетом самой остроты финансового кризиса сущность остается одна и для Франции, и для России, и для Королевства обеих Сицилий, и для меттерниховской Австрии: главное и самое тяжкое „ограничение“, которое, к удивлению и гневу своему, начинаст раньше всего ощущать абсолютизм в последний период своей жизни, заключається в невозможности помочь себе, не отказываясь от своей сущности. Еще и признака нет не то что „девятого вала“, но даже легкого движения воды, — а уже абсолютизм начинает тонуть „на якорь“. Всякое его самостоятельное движение с целью помочь себе ускоряет погружение; дело будущей бури начинает облегчаться задолго до того, как первые ее признаки показываются на горизонте. Но, как будем еще иметь случай заметить далее, преувеличивать значение финансовой нужды в данном случае не следует.

II

В этот начальный период агонии абсолютизма к нему и не только к нему обращаются за помощью, ибо без него еще *не мыслят* общества. К нему взывают как к суинберновскому „Последнему оракулу“: „Ты — слово, свет, жизнь, дыхание, слава, ты можешь помочь и излечить, облегчить и убить!“¹ В таком духе обращаются к абсолютизму и Вобан, и

¹ Thou — the word, the light, the life, the breath, the glory etc. (The Last oracle)

Баугильбер, и впоследствии д'Аржансон, и физиократы, и другие, менее заметные советодатели. Все они решительно убеждены в необходимости коренных реформ, и все они даже и не ставят вопроса об уничтожении абсолютизма. Мало того, д'Аржансон, например, имеет прямое тяготение к ослаблению бюрократического всевластия, он любит слово „демократия“, но нельзя лучше охарактеризовать сущность его идей, как напомнивши название главного его труда: „Размышление о правительстве Франции, или До какой степени демократия может быть допущена в монархическом образе правления“. Хотя эти *Considérations* (Размышления) писались еще в 1737 г., но д'Аржансон предвещает абсолютизм насчет возможной опасности: „следует быть столь же настороже относительно реформы, как и относительно злоупотреблений!“¹ Вот типичный язык реформистов этого периода, — продолжавшегося большую часть царствования Людовика XV. (После Семилетней войны заговорили иначе). Так говорил человек, которого Жан Жак Руссо назвал „un vrai citoyen“ (истинным гражданином); и, повторяем, и тон, и содержание произведения д'Аржансона типичны для всей начальной эпохи падения абсолютизма.

Что касается абсолютизма, то, еще не приступая к последним попыткам спасти себя, еще вполне бездействуя (кроме моментов особенно гнетущего обострения финансовой нужды, когда начинались судорожные метания за деньгами), самодержавное правительство окончательно проникалось, отчасти под влиянием настойчивой, хотя и почтительной „литературы советов“, той мыслью, что нищета народа имеет, и с точки зрения интересов абсолютизма, свои дурные стороны, перевешивающие стороны „хорошие“. Тот, кто знаком с историей Ришелье, не изумится только что написанной нами фразе и не усомнится в возможности для абсолютного правительства таких „парадоксов“, как признание за бедностью народа положительных качеств. Да, в эпоху силы своей и расцвета абсолютизм позволял себе роскошь открытого цинизма и вслух выговаривал свои мысли. Рише-

¹ „Il faut être autant en garde contre la réforme que contre les abus“. D'Argenson R.L. *Considérations*.

лье держался того мнения, что усиление народного благосостояния, влекущее за собой поднятие просвещения в народных массах, имеет вредную сторону для государства, — ибо, подобно тому, как нет животного, которого все тело было бы покрыто глазами, так и народу незачем самому все видеть и знать. Бедность народа многими абсолютными правителями считалась не лишенной серьезных выгод, так как она сопрягалась с невежеством и покорностью.

Эдуард Майклсен утверждает, ссылаясь на имевшийся у него в руках дипломатический документ, что министр Николая I граф Канкрин сказал следующие слова: „Нет необходимости улучшать положение народа, так как, согласно русской поговорке, *с жиру собака бесится*“¹. Из подстрочной ссылки читатель может убедиться, что тут, действительно, в точности переведена на английский язык русская поговорка, да и весь этот пассаж в книге Майклсена отнюдь не носит характера вымысла. Что же касается внутреннего содержания приписываемых Канкрину слов, — то оно всецело согласуется с политическими принципами и нравами этой эпохи. Русский абсолютизм не только обходился тогда со своими верноподданными по-плантаторски, как выражался Герцен, — но он при всяком удобном случае и изъяснял им это свое отношение. Когда „дни Аранхуэса“ для русского абсолютизма миновали — тогда он стал, во-первых, совсем по-другому говорить о благосостоянии народа и о необходимости его поднять, а во-вторых, начал и на самом деле борьбу против общего обнищания — теми, конечно, мерами, на которые был способен; а в 30–40-х гг. еще являлось возможным позволить себе роскошь построения собственной идеологии, где к трехчленной формуле „официальной народности“, к лозунгам — религиозному, политическому и национальному — смело мог быть прибавлен еще лозунг эконо-

¹ Michelsen E. *The life of Nicolas I* London, 1854 P. 69 „We have before us a diplomatic memorial of the last thirty years in which Cancrin is reported to have said There is no necessity to improve the condition of the people, since according to the Russian proverb, „a dog that gets a fat, becomes mad“.

мический: народная нищета, возведенная в государственный принцип.

Но подобно тому, как, например, в 60–80-х или 90-х гг. XIX столетия русский абсолютизм уже вполне ясно понял, что общее обнищание и для него лично есть зло, не уравновешивающееся никакими „положительными“ соображениями, так и абсолютизм французский в первой половине XVIII в. уже не мог придерживаться мнений кардинала Ришелье о народной бедности. Но, ясно уразумевши, что для него хорошего в экономическом упадке страны мало, — правительство Людовика XV как бы инстинктом понимало, что коренные реформы для него не только не по плечу, но прямо невозможны без отказа от абсолютной власти. И все, что оно делало, — это боролось с ближайшими и особенно острыми проявлениями финансового оскудения, — однако, и тут область возможных поправок все суживалась.

Если вся народная масса и даже реформисты еще не мыслили Францию без абсолютизма, и если абсолютизм, не имея возможности без полного самоотрицания провести коренные социально-экономические реформы, вместе с тем, уже так был гнил, что при всех усилиях, при всей строгости не мог наказывать или предупреждать систематическое расхищение государственного достояния, — то что же ему и оставалось, кроме авантюры, кроме житья изо дня в день? История с Джоном Ло и вся финансовая история французского правительства в XVIII в. и есть почти сплошная летопись авантюры и житья изо дня в день. Теперь можно считать вполне доказанным историческим фактом, что Джон Ло был виновен не в сознательном обмане, не в грандиозном мошенничестве, в чем его долго обвиняла традиция, но прежде всего и больше всего в том, что он затеял, при соучастии абсолютного правительства, такое дело, которое требовало, именно в силу своего широкого (до рискованности) масштаба, особенно строгого контроля и особенно щепетильного отношения к принятым перед обществом обязательствам. Утопичнейшая из идей Джона Ло в том и заключалась, что он как бы поверил в какую-то внутреннюю сдержку, которая не позволит французскому правительству воспользоваться

выпуском бумажных денег для возможно скорейшего обмана частных лиц и обогащения казны без всякой тревоги насчет близкого и неминуемого банкротства. Сложную кредитную операцию, всецело основанную на доверии общества, Джон Ло проводил при помощи того самого правительственного организма, один из руководящих членов которого (он же друг регента) — кардинал Дюбуа — так определял абсолютную монархию: „правительство, которое прибегает к банкротству, когда хочет (*un gouvernement qui fait la banquerout quand il veut*)“. Конечно, при подобных условиях, если бы дело с системой Ло не окончилось банкротством, то это было бы чудом, а так как чудес не бывает, то банкротство и произошло. Правительство, теоретики, апологеты и практические деятели которого проводили идею о том, что король имеет право собственника на всю французскую землю; правительство, по своему желанию секвестровавшее те земельные угодья, которые ему хотелось, под нелепыми предложениями, вроде, например, недостаточности актов о приобретении (хотя бы это приобретение было совершено предками владельца за сто лет до того и никем никогда не оспаривалось); правительство, принуждавшее людей по несколько раз уплачивать за одни и те же права, открыто обманывая покупателя, -- это правительство ни в каком случае банкротства бояться не могло. Частичное банкротство оно, например, и произвело в мае 1717 г., незадолго до развития деятельности Джона Ло: правительство разделило по собственному усмотрению своих кредиторов на четыре категории — и одним заплатило $\frac{4}{5}$, другим — $\frac{3}{5}$, третьим — $\frac{2}{5}$ своего долга. Протестовать никто не посмел, так что, кроме выгоды, ничего из этой операции не получилось. Таковы были „ауспиции“, при которых Джон Ло начал свою деятельность; надо было быть таким мечтателем, как он, чтобы не разглядеть сразу своих контрагентов и их обхождение с чужим имуществом.

Характерно, что слуга того же абсолютизма, герцог Ноайль, сначала всеми мерами противился планам Джона Ло: ему хотелось избежать слишком широкой и рискованной авантюры. Тут сказывалась больше бюрократическая рути-

на, нежели что-нибудь более „возвышенное“, ибо, например, против государственных банкротств Ноайль ничего не имел и даже сам их производил, так что перспектива нового банкротства его пугать не могла. Но нас тут интересуют не мотивы его оппозиции, а то, что Ноайль вздумал указать регенту на возможность поправить дела иным путем, — именно сокращением расходов. Он предложил, между многим прочим, уничтожение бесчисленных пенсий и неизвестно за что выдающихся жалований. Конечно, решительно ничего отсюда не получилось: страшная борьба закипела вокруг регента, — и Филипп должен был совершенно отказаться от всякой мысли об экономии. Абсолютизм кормил вокруг себя такую массу людей, что для борьбы с ними ему нужно было бы опереться на соучастие и поддержку народной массы. И тогда эти сочувствие и поддержка еще, несомненно, были бы получены абсолютизмом: стоит лишь вспомнить, как злорадствовала и ликовала толпа в 1716—1717 гг., во время начавшихся было неистовств „chambre de justice“, когда народу внушалось, что правительство преследует финансистов и откупщиков за обиды и притеснения, чинимые беднякам. Но демагогия была в те времена еще совершенно ненужной роскошью для абсолютизма — и потому он лишь случайно и вполне небрежно, слегка только и без особой обдуманности прибегал к этому средству. А возбуждать массы против царедворцев герцог Ноайль, конечно, и сам ни за что не согласился бы, и регент не позволил бы, и исполнители не нашлись бы: ведь все эти люди во главе с регентом и Ноайлем совершенно убеждены были в самоценности абсолютизма, для которого существует народ, — и никакие факты еще не нарушали полноты и спокойствия этого убеждения, следовательно, вмешивать народ в семейную распрю слуг абсолютизма было бы совершенно бестактно. Если же распре нужно было остаться семейной, — то, конечно, победа должна была быть одержана большинством, т.е. всеми терявшими от планов Ноайля, над меньшинством (сводившимся на деле чуть ли не к одному Ноайлю).

Вскоре после крушения плана об экономии и устранения Ноайля от дел Джон Ло окончательно завладел ареной.

Нам совершенно не нужно передавать здесь всей короткой истории системы Джона Ло. В глазах абсолютизма эти три года — с января 1717 г. по 14 декабря 1720 г., когда Ло бежал из Парижа, — были только эпизодом, временем любопытного эксперимента. Система Ло погибла так быстро именно вследствие совершенно произвольного и сначала грубо-насильственного, а потом столь же грубо-недобросовестного поведения правительства в этом деле. Вина Ло, кроме вышеуказанной принципиальной его ошибки, заключалась главным образом в том, что сам он, все желая основать на кредите, не гнушался пользоваться указами правительства, имевшими целью поддержать принудительным путем обращение кредитных ассигнаций, — а затем не имел мужества настоять на прекращении явно губительного злоупотребления кредитом, которое представляли собой чуть ли не все меры со стороны вмешавшегося в дело регента. Абсолютизм, надо это помнить, боялся банкротства несравненно меньше, нежели Джон Ло, — и пострадал, в конце концов, тоже несравненно меньше, нежели Джон Ло. То есть, с точки зрения житья изо дня в день, абсолютизм, можно сказать, даже и вовсе не пострадал: ни Филипп, ни его дочери, ни маленький король не понесли убытков материальных, а об ущербе нравственном они не заботились. Ло умер в бедности, до конца оставаясь мечтателем и теоретиком, до конца твердо веря в свою погибшую систему. А правительство регента прибегло к новому государственному банкротству. Правительство устроило себе самому широчайшие льготы и самые либеральные отсрочки по уплате своих долгов, часть долгов совсем была оставлена без уплаты, другая часть стала погашаться весьма выгодным для правительства и столь же невыгодным для кредиторов образом, и дело тем окончилось. Разорения, самоубийства разоренных, страшное потрясение кредита — все это реальной и непосредственной опасности для строя не представляло, — а больше ничего и не требовалось. По-прежнему потекла изо дня в день, без плана, без руководящей мысли, без будущего — жизнь правительственного аппарата, — от случайности к случайности, от авантюры к аванюре, с единственной заботой — перехва-

тить где-нибудь денег, ибо дефицит продолжал оставаться на очереди дня.

III

Существуют такие истины, которые необыкновенно быстро поддаются вульгаризации, фатально влекущей за собой неточность и резкость формулировки; а из-за этого истины перестают быть истинами и превращаются в предрассудок и поверье. Совершенно несомненно, что абсолютизм (как и всякое иное правительство) слабеет от последовательных дефицитов, — и сила его *будущего* сопротивления *будущей* революции постепенно в течение всего последнего периода его существования все уменьшается. Столь же несомненно, что дело тут не в дефицитах самих по себе, а в ненормальности всего жизненного уклада, характеризующегося несоответствием политического и социального строя с экономическими потребностями. Но говорить о том, что именно финансовая нужда *вызывает* революцию, — есть предрассудок и поверье. Если бы, например, русское самодержавие должно было считаться *только* с финансовой нуждой, — то оно, конечно, существовало бы и в наше время столь же благополучно, как при Аракчееве, когда рубль стоил около двадцати копеек (в 1814 г.), или как при Елизавете Петровне, когда русскому правительству иностранцы отказывали в ссуде в несколько сот тысяч флоринов.

Этот предрассудок возникает по весьма понятным причинам: как уже сказано, борьба с безденежьем обыкновенно начиналась у абсолютизма в то время, когда не было еще революции, — и эта борьба со всеми ее главными перипетиями особенно глубоко поэтому запечатлевалась в памяти современников и потомства. Все сознательные элементы оппозиции в России 70—80-х гг. внимательно следили за ростом финансовых затруднений правительства, — и ядовитые замечания Щедрина о своевременности переименования рубля в полтинник и т.д. как в зеркале отражают в себе эту черточку оппозиционного настроения. Но 90-е гг. принесли французский союз, — и французские миллиарды почти на полто-

ра десятка лет избавили абсолютизм от острых финансовых беспокойств. За это время страна вынесла две большие и несколько средних голодовок, крестьянство продолжало нищать, промышленность искусственно вздувалась за счет нищего народа, — ряд грозных вопросов скапливался в России, — но правительство не чувствовало себя от этого хуже, и *его* финансовые дела до поры до времени устраивались из года в год, — и к началу революции государственного банкротства вовсе не было. Война с Японией на время подорвала это благополучие, т.е. ускорила то, что и без нее не могло не случиться при данном социально-экономическом состоянии России, — и в течение двух лет после японской войны правительство находилось в хроническом поиске новых кредиторов; а так как за это время успела вспыхнуть революция 1905 г., то наблюдался любопытный феномен: в момент подъема революции вопрос о финансовой нужде правительства отходил сразу на второй план и заслонялся в глазах общества другими, а в моменты отлива или сравнительного затишья, в моменты торжества реакции он опять выступал на авансцену. Опять начинались в обществе размышления о том, даст ли Мендельсон денег или не даст, не пошлют ли вторично Коковцова путешествовать, и т.д., и т.д. Этот пережитый нами психологический опыт подтверждается и историей: финансовые залоужения французского ancien régime'a (старого порядка) считались в 1789 г., еще *до начала* революции, при нотаблях и в *первый* момент собрания Генеральных штатов до такой степени серьезным двигателем ожидаемого прогресса, что Жорес в своей „Истории Учредительного собрания“ прямо объясняет холодную встречу, оказанную сравнительно оптимистическому докладу Неккера, именно боязнью Штатов, как бы и в самом деле шансы двора не оказались, против ожидания, слишком хорошими. „В дефиците — надежда нации, ее будущее, ее освобождение!“ Эта парадоксальная (только на первый взгляд) мысль владела многими умами в начале борьбы, — а Неккер вздумал очаровать собрание успокоительными финансовыми перспективами. Ясно, что именно по этому пункту он особенно должен был ошибиться в своей аудитории. Но стоило рево-

люции развить свою силу, — и финансовый вопрос отошел в тень, что особенно замечательно, если принять во внимание действительно критическое положение казначейства в продолжение всей революционной эпохи и ряд весьма важных мер по этой части, предпринятых по очереди всеми представительными собраниями революции. Но эти меры, при всей важности их, не владели уже умами современников: веяние могучей силы исторического реализма, столь свойственное революционным эпохам, уже охватило французское общество 1790-х гг., — и люди типа Кондорсе поняли сознанием, а люди типа Анахарсиса Клоотса уразумели инстинктом, что дело идет о столь глубокой и грандиозной перемене, при которой анализ состояния в данный момент государственных финансов есть занятие по меньшей мере второстепенное. Подчиненное значение вопроса о финансовом положении правительства еще более бросается в глаза, если вспомнить историю Пруссии, Австрии, России.

История агонии абсолютизма в этих странах, а особенно в России, показывает, что, являясь серьезной, иногда колоссальной поддержкой освободительного движения уже во время развития революции, финансовая нужда правительства вовсе не служит непосредственным толчком к началу революции, к ее первому взрыву.

Что касается Австрии, то вплоть до мартовской революции 1848 г. бюджет не обнародовался вовсе, и, кроме Меттерниха и придворной камарильи (и то не всей, а только той части ее, которая не находилась в антагонизме с Меттернихом), никто не имел понятия об австрийских государственных финансах, — но кредит государства стоял в общем твердо. Проверить те „указания“, которые правительство заблагорассудило дать уже после начала революции, сразу было невозможно, а по этим указаниям выходило, будто бы за 1841—1847 гг. не только не было дефицита, но даже получился избыток в 38 млн с лишком, и только в 1847 г. был маленький дефицит всего в 5 млн флоринов¹. На самом деле

¹ См. Beer A. *Die Finanzen Oesterreichs im XIX Jahrhundert* Prague, 1877. S. 202, 203 и сл., о бумажных деньгах см.: Kramar. *Das Papiergeld in Oesterreich seit 1848* Leipzig, 1886.

дефицит был ежегодным явлением, хотя очень ловко маскировался и тщательно скрывался от посторонних взоров. Иначе и быть не могло: абсолютизм становился на всех путях препятствием для естественно развивающейся хозяйственной жизни страны и, разоряя страну, неуклонно подкапывал собственное свое благополучие. Но, тем не менее, до поры до времени концы сводились, и до финансового краха в момент начала революции было еще очень далеко.

Едва ли не самым худшим для венского правительства бюджетным годом был именно последний предреволюционный год; в 1847 г. дефицит был равен пятидесяти семи миллионам (процентов по государственному долгу в этом году пришлось уплатить 46 млн с небольшим). Однако, как уже сказано, даже и тут не только удалось скрыть совершенно эту цифру до мартовского взрыва, но удалось уже *после* мартовского взрыва всенародно солгать, заявивши о дефиците в 5 млн, — и удалось скрывать истину не только в течение 1848—1849 гг., но и значительно дольше. И вопроса о финансовом положении правительства серьезно не поднималось в бурные мартовские дни¹ — так что нет ни малейшей возможности говорить о дефиците (которого никто к тому же в точности и не знал) как о причине, или хотя бы об одном из поводов, вызвавших революцию. Мало того. Все жесточайшие свои затруднения по части борьбы с Всной, с Италией, с Венгрией за весь этот 1848 г. правительство пе-

¹ Если не считать прочтенной 13 марта перед толпой вслух речи Кошута, где тот говорит о недоверии к венскому банку; но и тут публика слышала следующее: „Другая причина, почему я не намерен входить в глубокие подробности банковых отношений, заключается в том, что, как известно, биржевой курс государственных бумаг может считаться барометром общего положения, а в 1830 г. дело обстоит *несравненно хуже, чем в настоящее время*; вообще я убежден, что венскому банку пока еще не угрожает непосредственная опасность, которая могла бы породить *основательное беспокойство*, и что такая опасность явилась бы лишь в том случае, если бы ложная политика изо дня в день приводила государство ко все возрастающим жертвам, неизбежным последствием которых будет государственное банкротство“. И так говорил проникнутый революционным настроением человек в Пресбурге 3 марта, *такие* слова слышала революционная толпа в Вене 13 марта. Может ли быть более наглядное доказательство в пользу защищаемого нами взгляда?

реживало, главным образом лишь увеличивши на 46 млн (со 132 млн до 178-ми) свой долг государственному банку и прибегнувши к ограничению в размене бумажных денег, а потом и к прекращению его. Вообще же особенно серьезные затруднения обступили правительство именно уже после начала революции и ее развития, когда нужно было ликвидировать венгерское восстание, финансовые последствия войны с Пьемонтом и т.д. Но это уже касается другого фазиса борьбы абсолютизма за свое существование, — отнюдь не фазиса начального, — и поэтому выходит из рамок настоящей главы.

Не финансовое положение государства вызвало и мартовские дни 1848 г. в Берлине. В противоположность Австрии, — в Пруссии (с 1821 г.) публиковались сметы расходов и доходов, но в самых общих чертах и к тому же заведомо ложные, так как наряду с публикуемыми во всеобщее сведение составлялись тайные бюджетные сметы (*geheime Etats*), — для действительного соображения высшей правящей бюрократии. Нечего и говорить, что в публикуемых сметах все обстояло наиболее благополучнейшим образом, но уже эта самая возможность длительного обмана и утаивания в *этой* области отчасти указывала на то, что правительство не стоит *накануне* финансового краха. Напротив, прусский абсолютизм был, бесспорно, наименее разложившейся из всех тех политических организаций, которым пришлось выдержать удары революции 1848 г., — и в прусской налоговой системе, как и в прусском финансовом управлении, было гораздо более отчетности и контроля, гораздо менее хаоса и легальных растрат народных денег, чем хотя бы, например, в Австрии меттерниховского периода. „Финансы пользовались завидным процветанием; это всегда оставалось сильной стороной правления Фридриха Вильгельма“, — говорит один из историков эпохи¹. Тут следовало бы только внести „поправку“: *казалось*, что финансы пользуются завидным процветанием. Мнение Блоса, что прусское государство *казалось* (накануне революции) чрезвычайно крепким², — довольно справедли-

¹ Treitschke H. *Deutsche Geschichte*. Leipzig, 1894. B. 5. S. 494

² Bloß W. *Die deutsche Revolution*. Stuttgart, 1893. S. 122.

во. В подобных утверждениях историки-националисты вроде Трейчке сходятся часто с историками — социал-демократами вроде Блоса.

Конечно, невозможно допустить „процветание“ финансов, как это склонен делать Трейчке. Факты показывают, что в 1846 г. не удался заем и что вообще приходилось сильно и тщетно искать денег. Маркс, в несравненно большем согласии с фактами и их логикой, склонен считать, что хотя Фридрих Вильгельм IV нашел при вступлении на престол государственные финансы, действительно, в сравнительно благоустроенном состоянии, — но уже через два года положение ухудшилось, и финансовые затруднения чем далее, тем более возрастали. Впрочем, и а priori можно сказать, что при экономическом расстройстве страны, обусловливаемом продолжающимся существованием старого порядка, финансы — как прямое отражение общих экономических условий — и не могут „процветать“. Но до государственного банкротства Пруссии, во всяком случае, было еще далеко; не финансовые затруднения страны стояли на первом плане у общества, которое к тому же, кроме лживых смет и неясных слухов, ничего в этой области не знало, не финансовые затруднения сыграли в истории прусского абсолютизма роковую роль, не финансовые затруднения вызвали революцию, хотя они главным образом вызвали к бытию „Соединенный ландтаг“, мирно разошедшийся до революции.

Все это показывает, что преувеличенного значения финансовой нужде правительств, как фактору, вызывающему революцию, придавать не следует. Революционное стремление к реформе строя наступало там и тогда, где и когда нуждающиеся в этой реформе социальные слои были в силах преодолеть на время или уничтожить вовсе противившийся реформе строй. Экономическое расстройство страны, обусловленное несоответствием социально-политического строя с развитием производительных сил, — вот что составляет совершенно необходимую логическую предпосылку революции, — независимо от состояния государственных финансов в момент революционного взрыва. Конечно, государственные финансы именно ввиду вышеуказанных экономиче-

ских причин и *не могут* в таком государстве быть поставлены нормально; но, как мы видели, далеко не всегда к началу революционного взрыва наблюдается *та степень финансового разорения правительства, которая бы находилась в полном соответствии с экономическим упадком страны*. Во Франции к 1789 г. это соответствие было в большей или меньшей степени достигнуто, и старый режим принужден был собственными руками взять в руки заступ и начать рыть себе могилу; в Пруссии и Австрии ни перед 1848 г., ни в 1860-х гг., когда старый режим в обеих странах окончательно провалился, — *эта степень финансового оскудения достигнута еще не была*; наконец, финансы России за все пятнадцатилетие, предшествовавшее началу революции 1905 г., были еще очень далеки от полного соответствия с истинным экономическим состоянием русского народа. И в этих трех последних странах революция началась с восстания народа, за которым последовало вырванное у власти решение созвать представительство, а во Франции власть еще *до* революции созвала представителей народа, которые должны были уладить финансовый вопрос, — и этот факт послужил как бы сигналом к восстанию. Это характерное отличие *начала* трех названных революций XIX—XX вв. от начала Французской революции XVIII в. и зависело ближайшим образом от того, что во Франции перед 1789 г. абсолютизм *уже* не располагал возможностью *препятствовать* установлению полного соответствия между своим финансовым положением и экономическим состоянием народа, той драгоценной возможностью, какой еще располагал абсолютизм Пруссии, Австрии, России в соответствующие исторические моменты, пережитые этими странами. Те биржевые и всякие иные *трюки* и манипуляции, которыми возможно некоторое время спасать благообразие финансового „лица“, когда страшный недуг пожирает все экономическое существо народа, — немного, разумеется, стоят и ничего не предотвращают. Они только обуславливают возможность для данного правительства не „начать“ революцию по собственному, так сказать, „почину“, — прямым обращением к нации, а продолжают

жить изо дня в день, ожидая, когда революция „сама“ наступит.

IV

„Абсолютизм, несогласный более с новыми требованиями, с новыми экономическими и социальными нуждами нации, приводит к финансовому краху; финансовый крах влечет неминуемо начало революции; следовательно, для абсолютизма революционная обстановка гибели типична“. Этот силлогизм, в силу вышесказанного, совершенно не может быть принят: вторая посылка не выдерживает исторической критики, ибо неоднократные финансовые банкротства абсолютизма проходили ему часто даром и никакой революции не вызвали, а, с другой стороны, революции нередко начинались тогда, когда еще финансового краха вовсе не было. Этот силлогизм подвергся широкой вульгаризации именно под влиянием поразившего умы начала Французской великой революции; это не мешает силлогизму быть грубо-искусственным и неправильным.

Но, отвергая его, мы остаемся все при том же вопросе: каковы причины, делающие для абсолютизма типичной именно революционную обстановку гибели?

Ни одна форма правления не дает такого *видимого* преобладания значению отдельных личностей, как абсолютизм, и поэтому, во времена процветания „культа героев“ в историографии, обыкновенно, указывалось на свойства лица, сидевшего в момент революции на престоле, как на главную причину, которая и обусловила насильственный характер событий. Морализм, со своей стороны, и в науке, и в публицистике всегда старался указывать и подчеркивать ошибки и преступления верховной власти с целью либо предупредить, либо напугать властителей новейших „дурным примером“ властителей старинных; для пущей же поучительности значение этих ошибок и преступлений расширялось до полной неправдоподобности.

Слишком заманчива была тема; с внешней стороны обстояло дело так: от широты взгляда, уступчивости, искрен-

ности и других добродетелей монарха зависело спасти и себя, и отечество от революции, но вот ничего этого проявлено не было, — и все окончилось гибелью и бурей. Мог ли морализм не воспользоваться, могла ли политическая литература не увлечься подобным сюжетом?

История революций знает два главных типа монархов, с противодействием которых приходилось считаться восставшему народу. Образцом первого типа может считаться Карл Стюарт; разновидностью этого типа является, например, Мария Каролина, неаполитанская королева конца XVIII в. и начала XIX в. Люди этого типа обладали натурой энергичной и решительной; пойти на уступки они могли только в виде военной хитрости и всегда после этих уступок проявляли, при наступлении удобного момента, еще более неукротимую, еще более смертельную ненависть к противникам. В случае победы, хотя бы временной, не было жестокости, перед которой они остановились бы; в случае поражения они удивляли врага своим холодным презрением и стойкостью. Обыкновенно, это были люди, убежденные в правильности отстаиваемых ими начал. Карл I, человек, погибший при попытке превратить конституционную монархию в неограниченную, *уже стоя на эшафоте* утром 30 января 1649 г., сказал составлявшим его последний кортеж Джекстону и Томлинсону, что не дело подданных принимать участие в управлении¹. Вероломство и коварство, жестокость и неутомимая ненависть по отношению к врагу были, с их точки зрения, обязательными, диктовались самим смыслом их существования. Погибали они, лишь исчерпав все средства к продолжению борьбы.

Ко второму типу относятся такие люди, как Людовик XVI. Они бывают не злы по натуре, но не это характерно для данного типа (ибо разновидности этого типа бывали иной раз вполне и безнадежно равнодушны к людским страданиям и жестоки от собственной трусости, т.е. злы самой беспощадной злостью). Они терялись, застигнутые обстоятельствами, и когда делали уступки, то иной раз пресерьезно

¹ „It is not their having a share in the government“. Gardiner S.R. *The history of Great Civil War*. Vol. III. London, 1891. P. 596.

были убеждены, что все это делается ими прочно и искренно, а когда нарушали свое слово и подкапывались под собственные обещания, то столь же серьезно полагали, что никакого вероломства не совершают. Основная из их личных бед заключалась в том, что они, обыкновенно, не понимали первой буквы во всем, что вокруг них творилось, — и продолжали не понимать впредь до окончательной гибели. Собственная растерянность и нерешительность сначала их, обыкновенно, мучила, — но потом, как бы вполне убедившись в невозможности что-нибудь понять и кому-нибудь довериться, они замыкались в броню странной апатии, равнодушия, как бы нравственного и умственного онемения. Не по своей инициативе Людовик XVI решился на бегство и сел в карету, которая повезла его к границе; машинально ел персик в Законодательном собрании 10 августа 1792 г., в день падения монархии; совершенно апатично выслушал он приговор, отправлявший его на гильотину. Но это было уже в 1791—1793 гг., а Людовик 1789 г. или Людовик эпохи Тюрго — человек, еще не сложивший рук, еще не отчаявшийся уразуметь положение вещей. Душевное онемение, охватывавшее их по мере развития революции, характерно для людей этого типа. Защищало ли это душевное онемение от сумасшествия или отчаяния (как, быть может, защищало оно Людовика XVI) или же чаще само являлось формой душевной болезни (как это было в 1848 г. с австрийским императором Фердинандом I), — это вопрос, нас тут не интересующий.

К этим основным двум типам примыкают разновидности, на характеристике которых останавливаться подробнее ни к чему. Вывод же, который историк вправе сделать после анализа характера самых разнообразных монархов революционных эпох, заключается в следующем: к какому бы из вышеописанных двух типов ни принадлежал носитель верховной власти, это никогда не имело *существенного* значения и влияния на события, ибо разнороднейшие представители абсолютизма одинаково оказывались неспособными в подавляющем большинстве случаев произвести без революционного давления те социально-политические изменения, которые повелительно требовались нуждами нации. Дело

тут всегда было в свойствах всего правительственного организма, — в свойствах, которые обуславливали почти полную неизбежность революционного взрыва. Не тогда только абсолютизм погибал *насильственно*, когда постигал его финансовый крах, и не от того, что его представители были слишком упорны или слишком нерешительны, слишком мягки или слишком жестоки, но прежде всего от того, что ему всегда бывало труднее, нежели всякой иной форме правления, выполнить выпавшую ему на долю задачу, так как для него она выражалась в том, чтобы добровольно отказаться от собственного существования.

Ибо именно это фактически требуется от него в определенный момент социально-экономической эволюции общества, именно это ведут с собой те политические и юридические перемены, которые должны явиться результатом реформы или революции, после долгих или непродолжительных перипетий борьбы. Трудность задачи, можно сказать, *противоестественность* такого самоубийства, уже сама по себе являлась почти непреодолимой преградой для мирного разрешения вопроса в подавляющем большинстве случаев; и еще тяжелее было преодолеть эту преграду тогда, как вплоть до начала революции задача эта во всем ее объеме недостаточно ясно была признана и поставлена. Перед падением французского абсолютизма задача уничтожения абсолютизма не пользовалась таким вниманием общества, как другие, сопряженные с ней и подчиненные ей задачи, не так была признана, не провозглашалась так страстно и убежденно. Когда революция вспыхнула, — тогда в этом смысле произошел крутой перелом (о чем мы уже вскользь упоминали в самом начале этой работы и о чем подробнее речь будет впереди), — но в период, непосредственно предшествующий революционному взрыву, — можно сказать, что к самому же абсолютизму обращались не только за разрешением задачи, но и за вполне ясной ее постановкой. Об уничтожении абсолютизма отчетливо и громко масса заговорила лишь тогда, когда он уже *de facto* (фактически) пал. Тогда и только тогда буржуазия, как класс, примкнула к мысли Мирабо, который заявил, что конституция должна *ограничивать* королевскую

власть „только затем, чтобы сделать ее сильнее“. Но так говорила буржуазия, когда уже вихрь событий сломил абсолютизм, а еще за несколько лет дело обстояло не так. „В 1774 г., когда умер Людовик XV, желания были гораздо скромнее, — говорит Сорель в полном согласии с огромным большинством исследователей идеологии времен старого порядка¹, — народ доверял королю, и общественное мнение не стало бы торговаться с ним из-за власти, если бы он воспользовался ею для желанных реформ. Никогда еще не говорили так много о Генрихе IV и никогда не расхваливали в такой степени Ришелье. Воображение рисовало идеальный образ короля-законодателя, и, в силу какого-то странного атавизма, философы придавали государю будущего — черты легендарного героя Средних веков“. Быть может, последняя фраза возбудит удивление, но Сорель не выдумал ничего: общая неясность в постановке вопроса об абсолютизме *даже* иной раз на верхах умственной жизни, *даже* иногда среди некоторых деятелей просветительной философии доходила, действительно, до того, что порой реставрировался образ Карла Великого (конечно, мифического, а не настоящего, ибо историография Средних веков находилась тогда в плачевном состоянии). Эта неясность была так велика, что, как мы уже видели, теоретик народовластия Жан Жак Руссо хвалил типичного апологета просвещенного абсолютизма — д'Аржансона, — а ведь несомненно, что никто из философов XVIII в. в такой мере, как Руссо, не ставил своей задачей нанести решительный удар всем политическим принципам, противоречащим принципу народного суверенитета. Но если мы признаем, что критика общественных отношений, представленная философами XVIII в., в конечном счете, бесспорно стремилась расшатать все устои, на которых еще держался абсолютизм, и поэтому логически, *eo ipso* (в силу этого), требовала его упразднения, если мы даже закроем глаза на все неясности и недоговоренности, которые в этом отношении были так характерны для воззрений тогдашней

¹ Сорель А. *Европа и Французская революция* СПб, 1892 Т I С.164—165. В подлиннике мысль выражена еще сильнее — „les vœux étaient infiniment plus modestes“ и т. д. (Sorel A., vol. I, p. 208)

политической литературы, если забудем такие многозначительные факты, как, например, то, что в 1789 г. полемическая публицистика *реакционного* лагеря ссылалась на Монтескье в защиту существующего образа правления против революционных нападений¹, — если мы, словом, согласимся даже признать, что, в общем, просветительная философия будто бы явственно стремилась уничтожить абсолютизм и отчетливо выражала эти свои стремления, — то и тогда вышеуказанный факт отсутствия в дореволюционном *обществе* сколько-нибудь распространенной и заметной тенденции именно к уничтожению абсолютизма еще более оттеняется наличием громкого, резкого, решительного и проникнутого страстью протеста против других сторон старого порядка, вроде пережитков феодализма, сословных привилегий, религиозной нетерпимости и т.д.

Правда, некоторые деятели просветительной философии (вроде Вольтера, предсказавшего, что произойдет „un beau tapage“ (неплохая заварушка) пророчествовали в самых общих словах гибель *всему* строю и гибель насильственную, но каково могло быть практическое значение этих пророчеств? В своей интересной (как и почти все, что им написано) книге „Общество будущего“ Жан Грав очень хорошо выяснил, какова подобным пророчествам реальная цена²: „Философ, который приходит к заключению о необходимости революции для преобразования общества, может работать сколько угодно над разъяснением этой идеи тем, к кому он обращается, — но не его предсказаниям приблизить революцию хотя бы на одну йоту. И, — предполагая совершенный абсурд, — если бы ему удалось убедить всю массу в необходимости революции, — эта революция произойдет, только когда обстоятельства сделают ее неизбежной... И сколько есть людей, теперь полагающих, что они никогда не должны принять участие в революции, — которые, когда день наступит, — явятся, быть может, самыми горячими ее защитниками!“ И пророчества просветительной философии ни на йоту не

¹ Об этом, между прочим, см Koch J. *Beitzäge zur Geschichte der politischen Ideen und der Regierungspraxis*. Berlin, 1896. B. II. S. 203.

² Grave J. *La société future*. Paris, 1895. P. 6—7.

приблизили революцию. Она наступила, когда силы враждебных старому режиму слоев населения созрели настолько, что могли предпринять решительную борьбу против старого строя и когда вполне выяснилось бессилие и нежелание правительства ликвидировать старый строй мирным путем.

Первое обстоятельство обусловило решительную постановку вопроса о реформах; второе обстоятельство придало революционную окраску всему историческому моменту.

Генеральные штаты требовались общественным мнением, и правительство, после колебаний, решилось на эту меру, потому что прежде всего ожидало от нее поправления финансов. Что эта мера может поспособствовать гибели старого строя и, прежде всего, *оформить* гибель абсолютизма, что Генеральные штаты возьмут в свои руки всю полноту фактической власти, — об этом еще в эпоху 1786—1788 гг. не было и речи. Ни абсолютизм этого не боялся, ни общественное мнение так вопроса не ставило; колебания же двора были больше от рутины и от смутного беспокойства, всегда внушавшегося мыслью об этом старинном представительстве. Ведь, как уже было сказано, еще в начале XVIII в., когда общество ни о каких Генеральных штатах не помышляло, — само правительство регента Филиппа Орлеанского, по собственной инициативе, подумывало о созыве Штатов (и тоже под непосредственным влиянием финансовой нужды), — но и тогда столпы системы забили тревогу. Дюбуа прямо высказал, что недаром короли всегда старались подальше держать эти Штаты, именно потому, что король без подданных — ничто, и подданные могут ясно это увидеть, когда их представители соберутся вместе. „Это было бы истинным отчаянием для Вашего Высочества, если бы вводить сюда английские порядки“, — заявлял с жаром старый развратник. Его послушали, — и мысль была оставлена. И это беспокойство проявлялось тогда, когда только что схоронили человека, говорившего: „L'état c'est moi“ (Государство — это Я), — и благосклонно взиравшего на то, как под мордой лошади его конной статуи (при жизни ему поставленной) возжигались благоговейные лампы. Это говорилось, когда еще абсолютизм был за семьдесят пять лет от своей гибели;

когда оппозиционного общественного мнения почти не существовало. Ибо Дюбуа, с негодованием ссылавшийся на английские порядки, смотрел в сущности на общественное мнение так, как, например, русский канцлер Нессельроде в аналогичную эпоху существования русского абсолютизма (кстати, Нессельроде тоже не одобрял английских порядков): „Если во Франции и в Англии, — говорил министр Николая I посланнику Второй республики Ламорисьеру, — Вы принуждены считаться с общественным мнением, то здесь у нас есть император, непоколебимую твердость которого Вы знаете“¹. Удивительным, значит, могло бы скорее показаться не то, что абсолютизм перед своим концом некоторое время колебался насчет Генеральных штатов, а то, что он так мало предчувствовал опасность. Ведь конец XVIII в. уже видел общественное мнение, которое всегда так презирали Дюбуа и Нессельроде в более счастливые времена абсолютизма; оно еще не проявило всей своей силы, но с ним уже считались.

И если все-таки абсолютизм был далек от истины, то виноваты не только его беспечность и непредусмотрительность. Мы сказали, что вопрос о реформе решительно был поставлен на историческую очередь, когда созрели силы тех слоев, которым необходимо было эту реформу осуществить. Стихийный характер надвигавшихся событий яснее всего сказывается в том, что не только правительство, но эти враждебные старому порядку слои *тоже* были далеки от понимания истинного взаимоотношения сил. Эти слои были сильны и в полной мере не знали этого, подобно тому, как правительство было слабо — и тоже в полной мере не знало этого. Мы только что сказали, что лишь *некоторые* деятели просветительной философии в общих словах предсказывали в течение XVIII в. революцию: подтвердим же это выражение, приведем часто цитируемые слова, показывающие, что иные философы диаметрально противоположным образом

¹ Вот подлинные слова. „Car si en France et en Angleterre vous êtes obligés de compter avec l'opinion publique, ici nous avons l'empereur, dont vous connaissez l'inebranlable fermeté“. См. Bapst E. *L'empereur Nicolas et la deuxième République*. Paris, 1898. P. 107.

оценивали будущее. За пять лет до взрыва революции один из философов, наиболее радикально настроенных, заявил: „Ах, конечно! Мы слишком низко пали, нравы слишком ослабели. Никогда, о, никогда уже не придет революция!“ Сказал это Мабли в 1784 г. Никогда за все царствование Людовика XVI придворно-аристократическая клика не чувствовала себя такой торжествующей, как именно в эти годы, от отставки Неккера в 1781 г. до того предвестия революции, каким было созвание нотаблей. Первым исследователем, который обстоятельно отметил этот совсем просмотренный наукой факт, был Шерэ, автор двухтомного исследования, посвященного исключительно истории двух лет, предшествовавших революции (1787—1789 гг.). Сопоставляя ряд данных, он пришел к неопровержимому выводу, что среди оппозиционных слоев, среди буржуазии и вообще во всем народе, за вычетом ликовавшей кучки царедворцев, аристократов и аристократических прелатов, настроение было самое подавленное. Уныние и апатия воцарились в тех общественных слоях, которые до 1780-х гг., т.е. до полного торжества реакции, все надеялись на королевские реформы и милости. (А ведь *другой* надежды за все царствование Людовика XVI, с самого 1774 г., в массе оппозиционной буржуазии и не проявлялось). Если бы возглас Мабли, уже понявшего, что от Людовика XVI ждать нечего, и, вместе с тем, отчаявшегося в возможности революции, стоял одиноко, — можно было бы сказать: *testis unus — testis nullus* (единственный свидетель — не есть свидетель), одно свидетельское показание и для истории не всегда может иметь много веса. Но вот, помимо него, иллюстрации положения вещей¹.

Вот картина Франции накануне созыва нотаблей и, значит, за два года до начала революции: эта картина, по словам очевидца, „...была верным изображением того, чем еще теперь являются все деспотические государства. В деревнях люди работают, страдают и молчат. В провинции мало есть голосов, настолько сильных, чтобы заставить себя выслушать; в столице великие мира сего интригуют, богачи тешат

¹ См. Cherest Aimé. *La chute de l'ancien régime*. Paris, 1884. V. I. P. 75 et seq

себя увеселениями, академики — игрой ума“. Общественная апатия замечалась и в литературе: в 1786 г., например, по вопросам современности вышло всего шесть брошюр (сохранившихся). В трех из них восхваляется путешествие Людовика XVI из Парижа в Шербур; в четвертой — Людовик XVI просто восхваляется не по поводу поездки в Шербур, а вообще, причем он называется „отцом народа“; в пятой — предлагается рассмотрение проекта памятника благополучно здравствующему Людовику XVI; шестая — (озаглавленная „Quelle nation! Elle va toute seule“ (Что за нация! С ней все в порядке) столь же бессодержательна. Вот и все, что сохранилось от 1786 г. Но, может быть, были сочинения, подвергшиеся преследованию и поэтому не поступившие в обращение или изъятые? Обращаемся к списку осужденных сочинений, приложенному к книге Рокэна¹, и видим, что за весь 1786 г. два печатных произведения были запрещены и одно — сожжено; значит, политическая мысль в этом году шевелилась очень слабо.

Это можно сказать и обо всем периоде от 1781 г. до созыва нотаблей; кроме единичных (2—3) исключений — та же мертвая глушь в области политической литературы. Настроение буржуазии повсюду рисуется подавленным. Один современник говорит, что „без призыва, изошедшего от престола, третье сословие продолжало бы склонять голову и молчать“. Таково было впечатление, производимое на современников этим сословием, которое заявило на весь мир — два-три года спустя — что оно желает быть *всем*. Это впечатление подтверждается и другим современником (Болле): „Если исключить эту манию к получению дворянства... то среднее сословие мало чего желало. Оно хотело некоторого облегчения налогов или только более упорядоченного их распределения и некоторого улучшения в отправлении правосудия; его желания далее не распространялись“. Об уничтожении или *даже изменении* монархии никто не думал, говорит этот свидетель. В провинции всюду являются взору за этот период следы всеобщей летаргии, как бы охва-

¹ *Esprit révolutionnaire avant la Revolution*. Есть на рус. яз.. Рокэн Ф. *Движение общественной мысли во Франции в XVIII в.* СПб., 1902.

тившей страну. Реакция была так уверена в себе, что привилегированные сословия ничего не боялись, — и именно этим Шерэ объясняет ряд ошибок, беспечно совершенных правящими кругами: если бы всякая тень опасности не отсутствовала, то знать не афишировала бы своего сочувствия восставшей Америке; „Женитьба Фигаро“ не была бы поставлена и не получила бы такого ласкового приема со стороны аристократов; домашние дразги по поводу дела об ожерелье не были бы нарочно вынесены на улицу, если бы можно было бояться, что улица хоть сколько-нибудь беспокоило настроена; и несмотря ни на какие финансовые затруднения Калонн, может быть, и не решился бы созвать нотаблей. „Большая часть ошибок, совершенных привилегированными и правительством 1781 г., объясняются *только* полной уверенностью, — а эта уверенность, в свою очередь, объясняется пассивным поведением среднего сословия... Что верно, это то, что в конце 1786 г. никто не верил в возможность близкой революции и что даже после события современники остались при убеждении, что ее легко было тогда избежать“¹.

Самая реакция, наступившая после падения Неккера в 1781 г. и явственного отказа правительства произвести хоть какие-нибудь реформы, сопровождалась поспешным, как бы злорадным восстановлением тех злоупотреблений, которые успели было уничтожить Тюрго, а затем, отчасти, Неккер; мало того, вводились новые оскорбительнейшие для буржуазии ограничения по военной службе, реставрировались самые безобразные и ненавистные фискальные меры времен Людовика XV, — словом, король, действительно, по выражению Рокэна, „как бы насмеялся над обществом“. Таковы факты. Вывод вытекает отсюда до такой степени сам собой, что после всего вышесказанного он может показаться тавтологией: накануне революции обоим противникам одинаково мало известно было взаимоотношение их сил, и ни та, ни другая сторона к мысли о близком конфликте вовсе не готовилась и конфликта этого не желала. Повторяем: будущие

¹ Cherest A. Op. cit, vol. I, 80.

революционеры-победители не знали, что они будут революционерами и победителями, — а двор и правительство не знали о себе, что им предстоит борьба и поражение. Стихия, несшая одним торжество, а другим — гибель, надвинулась на тех и на других одинаково неожиданно.

Теперь возвращаемся к высказанной мысли. Абсолютизму во Франции было трудно предупредить революцию не только потому, что ему необходимо было для этого отказаться от себя самого, но и потому, что, как мы только что видели, даже и противники его (как класс) ясно этой задачи ему не ставили, с этим требованием к нему не подходили, а, кроме того, именно накануне схватки совсем почти умолкли, совсем как бы впали в уныние, все разрешили абсолютизму. Все было готово, все созрело для их торжества, нужен был внешний толчок только, чтобы их сила и слабость абсолютизма мигом обнаружились, и как раз перед этим толчком они как бы покорно примирились со своей участью.

Они и сами обманывались насчет истинных размеров своих сил, — *и абсолютизм обманывали*. Ясно, что если политическое самоубийство без всяких принуждений представляет собой трудность, граничащую с невозможностью, — то такое политическое самоубийство, к которому не только никто *не принуждает*, но даже *вопроса* о котором никто не ставит, явилось бы для любой формы правления *pensens'*ом (бессмыслицей). Таким *pensens'*ом был бы и в глазах французского социально-политического старого порядка добровольный отказ от самого себя *накануне* революции. А так как ввиду всего комплекса социально-экономических отношений этой эпохи старый порядок дальше существовать не мог, — то роль добровольного „самоубийства“ фатально должно было сыграть насилие. Логика событий вела к вполне обусловленному результату: перемене всего социально-политического строя; новое *хозяйство* должно было сотворить и сотворило на самом деле новое *право*. Если человеческая логика абсолютизма медлила понять эту более сложную и скрытую логику истории, если момент добровольного отказа от себя самого был абсолютизмом пропущен (*и не мог быть не пропущен*), — тем хуже

должно было оказаться для людей, поддерживавших осужденную на гибель систему и вокруг нее питавшихся. Результат был предрешен всей исторической эволюцией французского народа, революционному поколению оставалось выполнить продиктованную задачу.

Абсолютизм рук на себя не наложил, и сотни тысяч рук поднялись на него: только слащавый либеральный морализм мог видеть материал для нравоучений в первом обстоятельстве, и только партийная откровенно реакционная идеология пыталась отрицать неизбежность второго.

V

По замечанию одного современного ученого, воззрение Лайеля на катаклизмы, как на простые случаи частичного и местного характера, — применимо не только к геологии, но и к истории человечества¹. С методологической точки зрения, при изучении катаклизмов социальных, это надо понимать так, что *причины* частичного и местного характера обусловили наступление в данной стране в данный момент революционного кризиса, — почему эти причины именно и нужно изучать, если хотят понять их детерминирующую в этом смысле силу. Тезис, согласно которому абсолютизм *не может* сойти со сцены иначе, как революционным путем, никогда не удалось бы сделать социологическим законом, даже если бы умышленно забыть Данию, Японию, Черногорию и т.п. Этот тезис был бы ложен в корне, в самой основе своей, ибо стремился бы возвести в закон то, что всегда зависело и зависит от причин „частичных и местных“, от причин, вся *второстепенность*, вся *социологическая* незначительность которых вполне отчетливо вырисовывается, если сравнить их с причинами, обусловившими конечный *результат* кризиса. Какие причины вызвали изменения в социально-политическом строе, — этот вопрос всегда первенствует в обществоведении над вопросом: какие причины привели к тому, что эти изменения были достигнуты вот таким, а не

¹ Pagano G. *Le forme di governo e la loro evoluzione popolare*. V. 1. Palermo, 1900. P. 231. „I cataclismi sono semplici accidenti parziali e locali...“

другим путем. Речь теперь у нас идет, как сказано, о том, за какими именно из обстоятельств (частичных и второстепенных по самому характеру своему, по самой своей социологической роли) возможно, на основании исторического опыта, признать значение причины, обусловившей революционный характер кризиса там, где подорванный исторической эволюцией абсолютизм был уничтожен путем насильственным, а не мирным. Решение этого вопроса разъяснит нам и проблему, поставленную в начале настоящей главы: почему революционная обстановка гибели является для абсолютизма типичной, столь часто (хоть и не всегда) кончающей его исторический путь?

Мы уже отметили, что личность верховного представителя системы в этом смысле решающей роли не играла, что явствует уже из разнородности психологических типов монархов революционных эпох, — не говоря уж о методологической наивности и бесплодности всяких попыток воскрешения (такой постановкой вопроса) культа героев¹; мы видели также, что роль *решающей* причины во внезапном наступлении революций не играла даже и та язва, разъедавшая в большей или меньшей степени абсолютистский организм, которая называется перманентным дефицитом: ибо факты не

¹ Такие попытки иногда встречаются и у выдающихся исследователей, несвободен от них, например, Трейчке. Приступая к рассказу о крушении дореволюционного строя в Германии, он констатирует, что самодержавие (*die alte fürstliche Selbstherrschaft*) давно уже было готово к гибели, — и „переход к новому необходимому порядку вещей все еще мог наступить мирным путем“. Но „судьба“ так устроила, что монархи оказались чужды желаниям народа и проч. При этом предлагается такая общая философия: „Die grossen Wandlungen der Geschichte kann der Denker wohl aus ihren Vorbedingungen und Nachwirkungen als nothwendig begreifen. Doch niemals vermag er zu erweisen, warum der Umschwung so und nicht anders erfolge. Warum im entscheidenden Augenblicke diese und nicht andere Männer an entscheidender Stelle stehen mussten“ (Мыслитель еще мог бы, пожалуй, понять крупные перемены в истории из предшествующих условий и их последствий в качестве необходимых. Но все же он никогда не смог бы доказательно объяснить, почему перевороты происходят именно так, а не иначе, почему в решающие моменты именно эти, а не другие люди должны были оказаться в решающем месте). Дальше речь идет о „Божественном разуме“, управляющем законами, коим подчинены действия исторических лиц... (См. *Deutsche Geschichte*. Leipzig, 1894. B. V. S. 649)

позволили бы обобщить такое утверждение; наконец, было сказано, что такой причиной может быть признана вполне естественная и весьма могущественная черта, встречающаяся всюду: необычайная трудность, — в подавляющем большинстве случаев доходившая до невозможности, — для абсолютизма решиться на отказ от собственного существования, не сделавши предварительно попыток помериться силой с врагами. Такого рода отказ от себя был всегда труден для всякой формы правления, — но в конце настоящей главы мы остановимся на том, почему именно для абсолютизма задача эта не могла не явиться особенно непосильной, особенно неразрешимой; почему для мирного решения этой задачи абсолютизм по своей социологической природе оказывался *особенно* неприспособленным в подавляющем большинстве случаев.

Теперь же необходимо показать, что сам вопрос в беспримесном виде ставится именно так. На примере французского абсолютизма мы видели, что трудность задачи мирного самоуничтожения осложнилась в данном случае для этой формы правления еще тем, что класс, которому суждено было ее уничтожить, сам еще в массе своей накануне революции далеко не отчетливо представлял себе именно *эту* часть своего будущего дела (т.е. разрушения старого порядка); мы видели, что еще перед созванием нотаблей, т.е. за два с небольшим года до революции, оппозиционное течение казалось особенно подавленным и особенно покорным своей участи, а реакция особенно торжествующей; мы напоминали, что в общественном мнении бродили накануне революции смутные (и идеализированные иногда до сентиментальности) образы „благожелательных“ властителей — Карла Великого, Генриха IV, Ришелье.

Но как обстояло дело, когда *этого* осложнения не было, т.е. когда абсолютизм прекрасно знал, что именно его хотят уничтожить и что именно его упорство в самообороне причина разгорающейся революции? История говорит, что и при наияснейшей постановке этого вопроса абсолютизм оказывался неспособен на выполнение мирным путем поставленной перед ним задачи. Напротив, бросая уступки насту-

пающему восстанию, он всеми силами заботился лишь об одном: чтобы механизм угнетения не был сломлен, не был обессилен и чтобы после временного бездействия его возможно было пустить в дело полным ходом. „Весь аппарат контрреволюции в немецком, венгерском и специфически австрийском вопросе лежал поблизости и наготове“¹, — так выражается Вальтер Рогге, объясняя быстроту реакции в 1848—1849 гг. Эта забота о сохранности „аппарата контрреволюции“ характерна и для последнего (по времени) абсолютизма, агонию которого уже успела занести на свои скрижали всемирная история, — для русского самодержавия. И эта забота, дающая о себе знать в то же самое время, как делаются уступки, показывает нагляднее всего, что сравнительно ясно понимающий свое положение абсолютизм оказывается столь же неспособным примириться со своей участью, как и такой абсолютизм, который вплоть до начала революции еще может искренно льстить себе мыслью о возможности примирить собственное существование с требуемыми реформами. Для абсолютизма *типично* не то непонимание своей несовместимости с требованиями жизни, которое было налицо при дворе Людовика XVI до 1789 г., а то желание лучше все поставить на карту, нежели подчиниться своей судьбе, которое сказывалось в действиях того же двора после 1789 г., которое проявлялось в еще более трагическом виде позже, в аналогичные эпохи, при разных других дворах.

VI

Повторяем, нет организации, которой труднее было бы мирным путем сойти с исторической сцены, нежели абсолютной монархии. Прежде всего потому, что никакой другой форме правления *история* не ставит этого требования в столь категорическом виде (даже там, где эта категоричность вплоть до начала революции совершенно отсутствует *в речах, мыслях и чувствах* оппозиционных классов). Чтобы

¹ Rogge W. *Oesterreich von Vilagos bis zur Gegenwart*. Leipzig, 1872. В. I. S. 3.

дать выход и удовлетворение новым нуждам и стремлениям, чтобы прекратить противоречие между старым правом и новым хозяйством, абсолютизм в определенный момент своего существования должен не измениться, а уничтожиться, примириться не с модификациями, а с самоубийством. Штаммлер назвал (неправильно) социальную историю историей целей: абсолютизму и предъявляется в такой момент (и предъявляется иногда внезапно) требование, чтобы захваченному кризисом поколению, идущему к этим целям, он дал перешагнуть через свой труп. Землевладельческая аристократия, с 1817 по 1832 гг. упорно отказывавшая Англии в парламентской реформе, чуть не довела страну до открытой революции, а между тем ей, этой аристократии, нужно было примириться вовсе не с полным своим уничтожением, а лишь с дележом своей власти.

Для абсолютизма же предъявление требования, чтобы он поделился властью, чтобы он превратился в ограниченную монархию, равносильно предъявлению смертного приговора, ибо абсолютизм *ограниченный* есть логический и фактический абсурд, как бы хитроумно возможность его ни доказывалась иными красноречивыми и преданными перьями. И если неуступчивым, чуть не вызвавшим насильственного кризиса историческим ответчиком оказалась, например, даже английская аристократия, которой был предъявлен менее суровый, менее фатальный счет, то что же удивительного, если еще более неуступчивым оказывался в истории сплошь и рядом абсолютизм, когда исторические истцы ставили ему требование покончить с собой добровольно и немедленно? „Я никогда не могла поверить в конституционное призвание короля, который рожден при деспотизме, воспитан для деспотизма и привык им пользоваться“¹, — читаем мы у г-жи Ролан, близко наблюдавшей карьере Людовика XVI. Еще труднее допустить „конституционное призвание“ у многовекового политического организма, в котором все от начала до конца, от сердца до всех точек периферии складывалось для удовлетворения других потребностей и достижения других целей. Если для г-жи

¹ *Mémoires de m-me Roland*. Paris, 1840. T. I. P. 286 (notices historiques sur la révolution).

Ролан затруднительно было согласиться с ее мужем насчет возможности перерождения *абсолютного монарха*, то еще затруднительнее было бы верить в самоотречение (без попыток борьбы) со стороны самого *абсолютизма*. Ибо монарх увидел смерть только в 1793 г., — а *абсолютизм* увидел смерть прямо перед собой еще весной 1789 г., когда люди, *его* поражавшие и *его* хоронившие, еще кричали: „Vive le roi!“ (Да здравствует король!); монарху была дана отсрочка, абсолютизму — нет; от монарха требовалось, чтобы он примирился с ограничением власти, от абсолютизма — *eo ipso* (в силу этого), чтобы он немедленно уничтожился. На деле, конечно, монарх отождествил себя с абсолютизмом и разделил его участь, но существенно не это: существенно то, что без попыток борьбы абсолютизм продать свою жизнь не захотел.

Не хотел он сделать это и во всех революциях XIX—XX столетий, — и боролся тем яростнее, чем больше к тому имел возможности. Он боролся остатками физической силы, обрывками старых народных суеверий, производил диверсии, устраивал засады, притворялся и гримировался, предавал своих слуг, лобызался с врагами, — он делал все, чтобы отсрочить гибель. И тот, кто будет удивляться тому, что абсолютизм все это делал, — обнаружит удивление, во всяком случае не „философское“, которое так ценит Шопенгауэр; ибо несравненно удивительнее был бы *отказ* от этой последней борьбы. Кроме трудности задачи, кроме категоричности и рокового характера требования, с которым история обращается к абсолютизму в решительный момент, — есть еще одно обстоятельство, подготовлявшее почти всегда невозможность мирного разрешения кризиса. Это обстоятельство коренится в тех же основных, генетических чертах неограниченной монархии: именно вследствие сознания или предчувствия того, что всякая коренная реформа политического строя для него равнознача с самоупразднением, — абсолютизм еще задолго до кризиса так упорно гонит от себя мысль о реформе и помощь реформаторов. Он до последней минуты не начинает уступать, до последней минуты либо не обращает внимания на предостерегающие голоса, либо — гораздо чаще — их преследует всеми имеющимися средствами. Он отстраняет от себя

Вобанов, Тюрго, даже Неккеров, — потому что в них чует предвестников гибели. Он сжигает за собой мосты, не ищет спасительных тропинок, потому что для него всякий шаг вперед даже по обходной тропинке есть шаг к гибели. Заблаговременно, исподволь приготовиться к своей участи ему трудно, потому что, — снова и снова, — участь эта есть исчезновение со сцены. На компромиссах он всегда теряет и ничего не выигрывает, ибо, по существу дела, компромиссы его¹ ослабляют, отнюдь не отдаляя гибели; и весь (иногда долгий) период перед обострением кризиса проходит в топтании на месте и в тщетных попытках обманом или насилием, или обманом и насилием вместе, задержать наступление решительного момента. А свобода в действиях, которой он пользуется при самозащите, превосходит свободу в действиях, свойственную всякому иному режиму. Только одна Венецианская республика в конце Средних веков и начале Нового времени (из других режимов) может в этом отношении сравниться с абсолютизмом. И эта доступность и легкость самых устрашающих насилий, это естественное во всяком абсолютистском государстве сближение борьбы внутренней с войной внешней, это приравнение врагов режима к врагам отечества — все это свойственно абсолютизму более, чем всякой иной форме правления. И все это воспитывало и укрепляло почти всегда решимость в руководителях абсолютизма понимать политическую борьбу со своими противниками в чисто военном смысле, переводить эту борьбу, пока не поздно, на язык пушек и ружей. Ни один режим, по существу дела, не являлся (в эпоху кризиса) никогда в такой степени похожим на обособленный стан завоевателей среди покоренного народа, как именно абсолютизм: и появление, например, довольно широко распространившегося в былые времена истолкования Французской революции как восстания побежденных галлов против покорителей-франков — *психологически* вполне понятно². И если у погибающего аб-

¹ Не монархию, а именно *его*, абсолютизм

² Любопытно, что одной из первых ухватила за подобное объяснение — самодержица всероссийская Екатерина II. Вот что она писала в 1793 г.: „Savez-vous ce que c'est que vous voyez en France? Ce sont les Gaulois qui ont essayé de chasser les Francs, mais vousverrez revenir les Francs et

соллютизма теплилась еще вера во что-нибудь, то это обыкновенно была вера в насилие, в остатки бывшего могущества, в борьбу, — где это еще было возможно, — не на жизнь, а на смерть со своими врагами. Больше всякой иной формы правления он и привык к беспримесному насилию, и держался в эти предсмертные эпохи преимущественно насилием, — и так как ему ставилась задача исчезнуть, то насилие оставалось не только самым привычным, но и единственным средством попытаться счастья или хотя отсрочить гибель, — если решимости на мирное самоустранение не хватало. Это естественное предрасположение абсолютизма к насилию, со своей стороны, способно было, конечно, лишь ускорить открытую пробу сил.

Таковы общие причины, делающие для абсолютизма типичной именно революционную обстановку гибели. Теперь нам необходимо обратиться к рассмотрению другого вопроса: какие обстоятельства в революционные эпохи делали абсолютизм как бы центральной мишенью борьбы? Мы говорили о том, какими свойствами обладал абсолютизм в качестве исторического ответчика; посмотрим же теперь, как созревало решение именно ему предъявить фатальный для него иск.

Но так как падение абсолютизма есть лишь частный случай социальной эволюции, то прежде всего необходимо остановиться на общих причинах, по которым классовая борьба всегда тяготеет к тому, чтобы принять вид борьбы за политическое преобладание, и почему это тяготение усиливается в подавляющей степени параллельно с ростом интенсивности переживаемого кризиса.

les bêtes féroces avides du sang humain seront ou exterminés ou obligés de se cacher où elles pourront“ (Понимаете ли Вы, что происходит во Франции? Ведь это галлы попытались изгнать франков. Но Вы еще увидите, как франки вернутся, и хищные звери, алчущие человеческой крови, будут либо уничтожены, либо принуждены затаиться, где уж смогут). Эта фантазия и не могла не понравиться наиболее умному из всех лиц, представлявших в тогдашней Европе абсолютизм, — ибо подобная „теория“ сводила все значение революции — к расовой войне, к продолжению племенной борьбы, начатой еще в эпоху переселения народов. А если так, — то грозный всеобщий характер революции, конечно, скрадывался, сводился для других стран к нулю, что и требовалось доказать

ГЛАВА ВТОРАЯ

Абсолютизм и классовая борьба

I

Политические революции, в самом главном и существенном, обуславливаются тем, что известная форма управления не только перестает отвечать материальным и моральным потребностям общества, но что дальнейшее ее существование становится прямой угрозой для нормального удовлетворения нужд и интересов социально сильных слоев народа. Социально сильный союз буржуазии, крестьянства и городского пролетариата произвел революцию 1789 г. во Франции; социально сильный, хотя и мимолетный, союз буржуазии, рабочих и крестьян произвел германские революции 1848 г. Политические революции обуславливаются социально-экономическими трансформациями народной жизни: это их основная причина, их корень; *характер* может зависеть уже от иных причин. Но их неизбежные, обусловленные социально-экономической эволюцией общества *результаты*, т.е. требуемые этой эволюцией изменения политического строя, могут быть достигнуты со сравнительно небольшим количеством насильственных актов, тогда это революция „мирная“, наподобие английской избирательной реформы 1832 г., или путем целого ряда насильственных актов, а иногда и целых гражданских войн. И вот, если будет поставлен вопрос об условиях, придающих данному кризису физиономию „мирной“ реформы или насильственной революции, то здесь мы сейчас же почувствуем необходимость сузить или, вернее, разбить на части поле исследования; ибо если по-своему прав Генрих Риккерт, видящий характерную черту исторической науки в воспроизведении и познании

однократного и индивидуального, то правы также и те, которые дальнейший прогресс обществоведения усматривают в выделении из этого однократного и индивидуального повторяющихся и общих черт. Однократен и индивидуален тот пестрый хаос событий, который застыл в памяти человечества под названием Французской революции, „Великого английского бунта“ XVII в., объединения Италии и т.д., и сколько бы мы ни выделяли из этих сложнейших клубков общих нитей, — все равно каждый из них сохранит нечто, только ему свойственное и нигде более не встречавшееся. Но отказаться от аналитической работы отделения общих черт от черт индивидуальных — значило бы отчаяться в возможности установления и в далеком будущем обществоведения на сколько-нибудь прочных основаниях.

Каждая революция имела видимой и сознанной целью передачу политической власти из рук одного общественного класса в руки другого или других общественных классов, и чуть не все революции показывают, что именно завоеванная этими революциями для облагодетельствованных ими общественных классов политическая власть является наиболее хрупким из всех приобретений. Английский средний класс уже управлял Англией в эпоху Долгого парламента, в сороковых годах XVII в., он же, путем вторичной революции, в 1688 г. опять отстоял конституционную свободу, и спустя полтора столетия ему же, ценой долгой и яростной борьбы, пришлось опять настаивать на своем праве участвовать в управлении государством. Буржуазия, сознавшая себя во Франции силой, провозгласившая, что она должна быть „всеми“, захватившая в революционную эпоху политическую власть в свои руки, принуждена была, спустя сорок лет после своего краткого политического всемогущества, снова завоевывать себе его в июльские дни 1830 г. Шведская аристократия дважды за один (XVIII в.) завоевывала и теряла политическую власть, не утрачивая, в мало-мальски серьезной степени, ни единого из своих социальных преимуществ и феодальных прерогатив, хотя всегда видимой, непосредственной, главенствовавшей в сознании целью аристократических революций была именно политическая власть. Число

этих примеров весьма легко было бы умножить, и все они показывают одно: обусловленные повелительной материальной необходимостью социально-экономические изменения остаются прочным достоянием пережившего революцию общества, а изменения политического строя лишь постольку бывают прочны, поскольку нужны для закрепления и торжества этих социально-экономических изменений.

Вот почему потеря внезапно достигнутой политической власти обыкновенно тревожила лишь отдельные единицы, а не весь утративший ее класс, если только в этом классе существовала уверенность в обеспеченности социально-экономических перемен. Послушаем апологета французской буржуазии, любящего хвалить ее за свободолюбие и прочие качества. Пришел солдат и забрал всю власть в свои руки: „Нужно это констатировать, — буржуазия, очень далекая на другой день после 18-го брюмера от беспокойства, была полна спокойствия и доверия. Она надеялась тогда на все, даже на сохранение обеспечивающих правовых норм со стороны необыкновенного человека, от которого прежде всего она требовала освещения революции гражданского быта“¹. Еще отчетливее выражена эта мысль в следующих словах: „Буржуазия тогда задала себе вопрос: что же она должна сохранить от революции? Эти люди... уже не верили в республику и свободу. Они придавали меньше важности форме правления, нежели составу общества. Лишь бы общество осталось на основе равенства, лишь бы влияние духовенства было подавлено, лишь бы старая дворянская аристократия была уничтожена, и *существенное* из революции казалось им сохраненным“². Эту последнюю фразу (*l'essentiel de la Révolution leur parut conservé*) приходится вспоминать, читая любую историю любой послереволюционной реакции. Эта слишком хорошо известная черта революций особенно интересна именно потому, что политические завоевания, захват власти, являющиеся такими хрупкими и кажущиеся такими „*несущественными*“ на другой день *после* революции, пред-

¹ Bardoux A. *La bourgeoisie française, 1789—1848* Paris, 1886 P. 102—103.

² Op. cit. P. 109.

ставляют собой часто один из самых ярких и шумных лозунгов *до* и *во время* революции. Что тут такое происходит? От чего зависит это изменение, и какова его психология? В центре поставленного нами вопроса стоит сложное понятие, играющее в обществоведении огромную роль, — понятие правительственной власти.

Правительство являлось главной из тех видимых цитаделей, в которые била революционная волна в начале движения, и *правительство* отступало в общественном сознании на задний план, переставало интересоваться после движения; это второе правительство иногда усваивало себе очень многие аллюры и черты первого правительства, и все-таки это не возбуждало прежней бури. Таков факт, к рассмотрению которого мы обратимся, а рассмотрение это не может не привести нас, прежде всего, к проблеме о социологической роли правительственной власти. Мы далеки, конечно, от намерения в этой небольшой работе представить сколько-нибудь полный анализ этой проблемы: мы отметим лишь то, что непосредственно необходимо для нашей темы, и начнем с правительств абсолютных.

Никто не будет спорить против того положения, что правительственная форма являлась в истории порождением экономически-преобладающих сил и что, в свою очередь, она долженствовала закрепить и продолжить на неопределенное время (молившиеся за него лица выражались: „во веки веков“) это социальное господство представляемых ею классов населения. Так оно было всегда в теории, но не всегда на практике, потому что на практике встретились отклонения. Мы не назвали бы эти отклонения „уродливыми“, потому что уродлив горб, выросший на спине Аполлона Бельведерского, но совершенно естественен он на спине верблюда, родившегося с зачатками этого горба. Абсолютные правительства, как бы ни была прочна и социологически вполне ясно определима та почва интересов и нужд, которая их вызвала к жизни, в силу самой природы своей не могли не обнаружить вышеупомянутых отклонений. Суть и смысл этих отклонений заключались в том, что в известный момент своей долгой жизни (ибо в истории они были почти всегда из

числа долговечных) абсолютные правительства начинали утрачивать понемногу (а с течением времени все быстрее и быстрее) свой характер классового представительства и все более и более превращались в самостоятельную социальную группу со своими особыми интересами, со своей индивидуальностью, со своей отдельной от *всех* классов общества духовной жизнью. Их существование становилось как бы самоцелью, и так как эта эпоха обыкновенно хронологически совпадала с началом политического пробуждения тех общественных классов, которые издавна находились в социальной приниженности, то подобное деклассировавшееся правительство в момент решительной схватки лишено было возможности развить все средства самозащиты, которые были бы в его распоряжении, если бы оно не превратилось в оторванное от взрастившей его почвы растение. Но это уже касается обстановки гибели этих правительств, теперь же мы должны подробнее остановиться на характерных чертах названного периода их жизни. Оговоримся: мы не видим серьезного возражения в таком, например, указании, что если всякая правительственная форма есть порождение и представительство тех или иных общественных классов, то как же мыслим период, когда она перестает этим представительством быть? Во-первых, *за это* она и гибнет, и подобный период является именно предвестником сторожащей ее гибели; во-вторых, для немедленной гибели даже не многовекового, а эфемерного правительства необходима не только слабость защиты, но и наличность, и сила нападения, а это последнее обстоятельство зависело всегда от того, насколько ускоренно пойдет политическая мобилизация новых общественных слоев, выступающих на арену, т.е. уже от цепи причин другого порядка. А от начала пробуждения этих слоев до решительного выхода их на арену борьбы может пройти и сто лет, и больше; подобные промежуточные периоды — тоже история, хотя и не „сразу“ укладывающаяся в какую бы то ни было „строгую“ схему. Вторая наша оговорка касается следующего. История политической идеологии учит, что именно тогда, когда абсолютное правительство отрывалось от своей классовой почвы и становилось самоцелью,

оно и его проповедники и апостолы начинали особенно усердно поучать и провозглашать, что тем-то оно и хорошо, что оно заботится не об отдельном сословии, но обо всех; что для него все классы одинаковы; что оно „вне“ классов; что, подобно любвеобильному отцу семейства, и проч., и проч. Другими словами, совершенно очевидно, что деклассировавшееся и *поэтому* ослабевшее правительство убеждено было, что оно не ослабело, а стало крепче, вследствие пережитого им изменения. Это очевидно. Но обществоведение должно, следуя совету Гардинера, „учиться не доверять очевидному и смотреть под поверхность, ценить факт более, нежели мнение, и тенденции более, нежели аргументы“. Поэтому, хотя очевидно, что деклассировавшиеся правительства выставляли своей силой то, что было их слабостью, хотя, по своим „мнениям“ и „аргументам“, они очень радовались, что стоят „вне классов“, но их *тенденции* всегда направлялись в сторону судорожно-поспешной реставрации классовых начал, а *факты* их предсмертной деятельности (там, где еще это было возможно) сводились к возможно скорейшему водворению, например, дворянской политики и дворянской „эры“ и т.п. Разумеется, эти конвульсивные содрогания уже ни к чему привести и ничего спасти не могли, но мы только указываем, что сами обреченные правительства, говоря одно, хвалясь одним, *делали* другое, инстинктом понимая, что именно было для них важно в невозвратном прошлом.

Эти золотые слова совета:¹ „ценить факт более, чем мнение, и тенденции более, нежели аргументы“, — постольку необходимо помнить историку, поскольку инстинкт (и особенно инстинкт самосохранения) играет роль в исторической эволюции наций, классов и общественных институтов.

II

„Praesis ut prosis!“ (Начальствовать, чтобы служить!) — восклицал св. Бернард, обращаясь к папе Евгению IV, и в этой сжатой формуле он выразил всю *логику* происхождения

¹ ...to value fact more than opinion and tendencies more than arguments.

всякой власти. Власть поставлена выше всех, *чтобы* она „всем“ была полезна, или, иначе, *потому что* она „всем“ нужна. И до, и после Гоббса эта мысль подвергалась многочисленным комментариям и разнообразным формулировкам. Абсолютная власть, — пока выдвинувшие ее „все“ (т.е. социально сильные круги населения, которым она была необходима) за нее держались, ею дорожили и свое кровное сродство с нею чувствовали, — была сильна и полна жизни. Римские императоры первых веков, Людовик XI во Франции, Вильгельм Завоеватель в Англии, Фердинанд Католик или Филипп II в Испании, московские князья и цари XIV—XVII вв. — вот некоторые из примеров этой полноты жизненных сил, которая была ключом в абсолютистских правительственных организмах, когда они не переставали признавать свою социальную роль и свою классовую задачу. Ни пережитки более свободного строя не являли опасности для римского принципата или победителя англосаксов Вильгельма, или испанских королей, ни могущественные феодалы ничего не поделали с Людовиком XI, ни уделы, ни татары не продержались перед Москвой. И этой исторической юности, бодрости, полноты жизненных сил абсолютизму хватало на века, потому что агония начиналась, обыкновенно, далеко не сразу после того, как социальная функция абсолютной власти была уже выполнена. Абсолютизм погибал не тогда, когда становился бесполезен, даже не тогда, когда становился вреден, а тогда, когда начинал угрожать дальнейшему существованию либо всей нации, как самостоятельной экономической единицы, либо значительных слоев населения, доведенных им до близкой перспективы голодной смерти. Но если тогда он *погибал*, то *разлагался* он именно со времени завершения своей социальной функции, а в истории разложение вовсе не однозначнее с гибелью. Это разложение ознаменовывалось или, точнее, обуславливалось вышеуказанной деклассацией абсолютной власти, и замечательно, что никогда политическая идеология, поэзия, церковные проповеди так не возвеличивали, не воспевали, не обожествляли абсолютную власть, как именно тогда, когда она переставала быть нужной, когда она начинала стано-

виться неистощимым „пандориным ящиком“ всяких социальных бедствий. Никогда Людовику XI не льстили с таким упоением и в стихах, и в прозе, и с церковного амвона, как Людовику XV; никогда первые Габсбурги не имели при себе таких славословящих хвалителей, какими были куртизаны Франца I или меттерниховские журналисты. И важно отметить даже не столько это, т.е. наличность хорошо оплачиваемых хвалителей, сколько то, что их слушали и им, в общем, верили. Монархизм в чувстве и в мысли широко распространялся именно тогда, когда уже начиналась долгая эпоха социальной ненужности абсолютной власти. Бесспорно, одним из ингредиентов, создававших этот психологический феномен, являлось то обстоятельство, что абсолютная власть, только что оказавшаяся сильной, только что сослужившая службу, возбуждала преувеличенные и розовые надежды. Даже о французской буржуазии предреволюционного периода ее историк (и историк восторженный) говорит, что „традиции их были сервилистическими“, и приписывает это проникшему в душу буржуазии преклонению перед монархией¹. И насколько эти чувства и традиции крепко укоренились, показывает вся история первых лет революции с ее крестьянами, жгущими замки при криках: „Vive le roi!“ (Да здравствует король!), — с ее буржуазией, упорно сваливающей всю вину за все поползновения к предательству на „аристократов“ и „дурных советников“, с голодными пролетариями Парижа, убежденными, что все зло только от одной „австриячки“. Мы решительно не можем найти возражений против мнения Жореса, высказанного им в его „Истории Учредительного собрания“, что французская монархия должна

¹ Leur admiration raisonnée pour les maîtres qui se sont appelés Louis XI, Richelieu, Louis XIV — avaient laissé dans leur intelligence politique des traces inéfacables. Le spectacle d'un despote réalisant les réformes démocratiques avait été leur éducation historique, de telle sorte que dans la pratique les traditions chez eux étaient serviles (Обожание своих хозяев, внушенное им господами, которых звали Людовик XI, Ришелье, Людовик XIV, — оставило в их политическом сознании неизгладимые следы. Созерцание деспота, осуществляющего демократические реформы, стало для них таким историческим образованием, что рабскими у них остались даже традиции обывденной жизни). Bardoux A. Op. cit. P. 45.

была уже после начала кризиса совершить ряд ошибок одна другой непоправимее, чтобы погибнуть, иначе же она могла бы стоять и стоять, — конечно, применившись к обстоятельствам и ставши конституционной. Мы только сказали бы: ставши снова классовым представительством, которым она давно перестала быть, — но уже на этот раз не дворянства, а буржуазии. Как монархия абсолютная она, конечно, погибла с момента собрания Генеральных штатов.

Но если, таким образом, абсолютизм поддерживается (и долго, и сильно поддерживается) монархической идеологией и монархическими традициями, если в этот период долгого разложения, когда он уже никому, кроме своих креатур, не нужен и почва из-под него уходит, он продолжает проживать моральный и материальный капитал, накопленный в предыдущую эпоху, то, с другой стороны, есть могущественная и непреодолимая сила, которая деятельно борется с идеологией и с традициями, которая с расточительностью и слепотой стихии растрчивает капитал абсолютизма, которая бьет абсолютизм тем более страшно, что делает это его же собственными руками. Эта враждебная абсолютизму сила коренится в стремлении абсолютизма к деятельности, к проявлениям своего могущества, к использованию своих средств в течение всего разбираемого периода — периода его разложения.

Поясним сказанное. Эмпирический закон обществоведения, который может быть подтвержден на многочисленных примерах, заключается в том, что никакое социальное могущество, избавленное от своей первой заботы (т.е. заботы о самосохранении), *не может* оставаться праздным, спокойным, неиспользованным. В области духовных верований этот закон привел римское папство к провозглашению догмата непогрешимости; в области политической он приводил, обыкновенно, абсолютные правительства к нанесению себе самим страшных дезорганизующих ударов в форме самых безумных и чудовищных предприятий. Пока папы боролись с непокорными епископами сначала, с соборными притязаниями затем, пока они не совсем были уверены в своем духовном абсолютизме в католической церкви, догмат о непо-

грешимости не провозглашался; и именно, когда фактически этот абсолютизм давно уже установился, догмат был провозглашен, потому что Пию IX нужно было идти до конца, до последней точки последнего предела. Абсолютизм же политический тоже всегда хотел идти до конца, но несчастье его было, во-первых, в недостижимости цели, во-вторых, очень часто даже в неясном ее понимании.

Абсолютная власть, переживающая *начало* отмеченного нами периода, всегда почти представляет собой грандиознейшее социальное могущество, какое только возможно вообразить. Враждебные силы внутри страны сломлены, бояться соперников нечего, все они повержены в прах; все войны, нужные для государства или для господствующих классов, окончены с желательными результатами. Инстинкт самосохранения, может быть, впервые после столетий, наконец, замолчал. Огромная сила освободилась.

Это и есть обстоятельство, полное величайших опасностей, сначала только для государства, а в конце концов для самого абсолютизма. Сила освободилась, но не остановилась, и не может остановиться, ввиду самой своей громадности. Как сорвавшаяся с цепей пушка на корабле, описываемая Виктором Гюго, она бьет в стены качающегося корабля, который ее носит, слепо разрушает и этот корабль, и подвертывающихся людей, и себя. И далеко не после первых шагов ее разрушительной карьеры жертвы этой силы начинают сознавать, что все несчастье не в ее неудачах, не в ее необдуманностях, даже не в ее преступлениях, а в самом *факте ее существования*. Эта окончательная мысль приходит, обыкновенно, слишком поздно, хотя она очень проста. Но совершенно справедливо повторяет за Аристотелем Зиммель, что самое важное в предмете является нашему познанию позже всего; совершенно справедливо говорит он, что *простейший результат мышления именно и не есть результат простейшего мышления*¹. Вот почему прежде, чем обратить внимание на существо машины, целые поколения сначала не перестают ей же приносить жалобы на ее собствен-

¹ Simmel, *J. Ueber die sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuschungen*. Leipzig, 1890. S. 3.

ные функции; не перестают почтительнейше сетовать перед костром, который когда-то был разложен их желавшими согреться предками и который вовремя не был потушен, на пожары, им теперь распространяемые. Абсолютизм становился вреден с того самого времени, как становился бесполезен, потому что по природе своей он в покое не мог оставаться. И все эти исторические сумасшествия, которые он проделывал, все эти „великодушные“ войны, „принципиальные“ походы, истребление религиозных диссидентов, порывания к всемирной гегемонии и т.д., и т.д. — все это были аргументы, которыми чудовищная социальная сила неустанно доказывала людям, что если им уже не нужно ее утилизировать, то они *обязаны* ее разбить, потому что без дела она стоять не может и не будет.

III

Мы приведем лишь очень немногие иллюстрации для пояснения вышесказанного.

Борьба абсолютизма с его внутренними врагами, все его ухищрения на этой почве, все это намеренно нами устраняется из числа подобных иллюстраций. Тут самооборона, тут абсолютизм подчиняется другому порядку импульсов, о чем у нас речь будет дальше. Мы берем его в пору полного спокойствия за свою жизнь, в эпоху свободы от забот самосохранения. И мы видим, например, что редко какой абсолютизм в такой счастливый период своего существования воздерживался от преследования еретиков и диссидентов, хотя это не вызывалось решительно никакими потребностями ни его самого, ни тех классов, которые являлись его поддержками; и притом, чем могущественнее еще чувствовал себя абсолютизм, тем яростнее были преследования, разорявшие иногда не только гонимых, но и правоверных, наносившие тяжкий удар торговле, промышленности, всему государству в его целом. Но даже не жестокость, а именно полная бессмысленность этих преследований при названных условиях характернее всего. Ибо далеко *не* всегда и не при всех обстоятельствах религиозные преследования могут быть на-

званы бессмысленными, как бы гнусны и отвратительны для нашего нравственного чувства они ни были.

В психической жизни, прожитой человечеством, вопрос о религиозных преследованиях оставил странные (иногда до дикости) и сложные следы. И гонимые, и гонители смотрели на этот предмет в разные времена — разное, но, при всем разнообразии их взглядов, возможно рассмотреть в них две главные точки зрения: религиозную и государственную. Точка зрения религиозная характеризуется, например (со стороны гонимых), мыслью Тертуллиана, полагавшего, что первопричина религиозного преследования есть испытующая божья воля, а „диавол“, т.е. в данном случае преследователи, является лишь орудием испытания мучеников в крепости их веры¹. Со стороны гонителей религиозная точка зрения в самом беспримесном своем виде выражена, по нашему мнению, в одной фразе, вычитанной нами среди документов, относящихся к истории вальденсов и катаров и собранных покойным Деллингером: „Кому же больше верить, Христу или еретику?“² В этом отчаянном вопросе — психология гонителей в века веры. Другая точка зрения — государственная. Ею вдохновлялись, например, Вильгельм III, гнавший и разорявший „католиков“ Ирландии, потому что они стояли за Стюартов, неаполитанские Бурбоны, преследовавшие всякое религиозное разномыслие, потому что усматривали в нем признак вражды к установленной форме правления, Карл V, всю свою жизнь тщетно желавший потушить Реформацию, в которой он видел ослабление императорской власти. Иногда к этим побуждениям примешивалось (в качестве вспомоществующего психологического

¹ См. *Liber de fuga in persecutione* Гл. II (*Patrologiae curs. comp.* Migne T. II. C. 104) is „praecedere enim Dei voluntatem circa fidei probationem quae est ratio persecutionis, sequi autem diaboli iniquitatem ad instrumentum persecutionis, quae ratio est probationis“

² „Cui ergo est amplius credendum — Christo vel haeretico?“ (см. *De VIII haeresibus novis per quas modo dyabolus multos subvertit, et quomodo cognoscantur haeretici per tria cum venerint ad pervertendum*, T. II. C. 313). *Beitrage zur Sectengeschichte des Mittelalters von Ign. v. Dollinger* Dokumente vernehmlich zur Geschichte der Valdesier und Katharier Munchen, 1890.

фактора) и личное суеверие гонителей, иногда этого и вовсе не было, как не могло его быть, например, у *католика* лорда Бристоля, подавшего голос в палате лордов за лишение католиков всяких политических прав (хотя эта мера изгоняла его самого из парламента), так как, по его мнению, католики были угрозой для государственного блага и спокойствия Англии. Часто эти два побуждения проявлялись одновременно, содействуя общему результату; например, государственная власть по своим соображениям начинала преследования, а духовенство, подчиняясь собственным импульсам, продолжало, расширяло и усиливало начатые гонения.

Но те религиозные преследования, о которых мы начали говорить, как об одной из характерных эманаций абсолютизма, не знающего, на что употребить свою силу, представляют собой явление иного порядка; и мы нарочно отметили выше два главных вида преследований, чтобы оттенить особые черты феномена, о котором теперь будет речь.

Совершенно очевидно, что безгранично жестокое преследование гугенотов государственными надобностями при Людовике XIV уже не вызывалось и не оправдывалось. Со времени Ришелье и тени сепаратистских тенденций у гугенотов не было, и признака былой политической силы у них не оставалось; поползновения к союзу с Англией, республиканские мечты, требование крепостей — все это было и былшем поросло, и в 80-х гг. XVII столетия гугеноты являлись смиренным и чуждым всяким политическим интересам слоem населения, склонным не менее остальных народных масс в это время относиться с глубочайшим почтением к личности короля и существующему политическому строю. Но преследовать их было не только вполне бесполезно¹ для правительственной власти, а наносило ей еще существеннейший вред. Недаром Кольбер всю свою жизнь умолял ко-

¹ Прекрасно говорит об этом Giraud-Teu'on (Жиро-Тёон) „Louis XIV detruisit inutilement les protestants ceux-ci, depuis Richelien, n'étaient plus un danger dans l'Etat et contre eux la Royauté absolue ne luttait plus pour son existence“. (Людовик XIV напрасно уничтожал протестантов — после Ришелье они более не представляли никакой угрозы для государства, и, выступая против них, абсолютная монархия уже не боролась за свое существование) (La Royauté et la bourg. С. 49).

роля не трогать гугенотов, потому что это страшно вредило планам торгово-промышленного развития Франции. Но еще при жизни его начались преследования, а стоило ему закрыть глаза, как король, мадам Ментенон и Лувуа вплотную принялись за дело искоренения ереси. Так как все безмолвствовало и раболепствовало перед королем, то принялись выискивать обиды и нашли обиду королю в исповедывании не той религии, к которой принадлежал „великий“ монарх. Это выискивание обид — характернейшая черта абсолютизма, избавленного от реальных забот и желающего занять свои досуги. Если не было революционеров, преследовались умеренные реформисты; не было реформистов — преследовались вообще всякие лица, даже идеализующие данный строй, но осмеливающиеся делать это хоть немного не по-казенному, хоть немного по-своему¹; не было и таких, — преследовались круглые шляпы, курение папирос на улицах, участие в масонских ложах и т.д., и т.д. Такова историческая логика абсолютизма, который был в движении не только потому, что ему нужно было двигаться к известной цели, а и потому, что он не мог не двигаться.

Истребление гугенотов сопровождалось, как известно, такими ужасами, перед которыми побледнеет содержание любого бульварного романа; оно длилось десятилетия, разорило сотни тысяч семейств, которых не успело уничтожить, потрясло французскую промышленность и торговлю, обессилило королевскую казну как раз тогда, когда нужны были деньги на две последние войны Людовика XIV, значительно ухудшило дипломатическое положение Франции, так как облегчило Вильгельму Английскому образование коалиций с протестантскими державами, возбудило отчаянную гражданскую войну в Севеннах, — словом, могущественно содействовало и в непосредственных, и в более далеких своих последствиях моральному крушению абсолютизма. Вся бессмыслица преследования гугенотов была вполне очевидна даже тем многочисленным придворным авантюристам, которые наживались на избиении и грабеже этих людей, и как

¹ Как преследовались III отделением при Николае I славянофилы.

только они почувствовали, что уже кормящему их государственному организму пора думать о собственном своем сохранении, что красные дни абсолютизма прожиты, так сейчас же нечестивую ересь „*de la religion prétendue réformée*“ (так называемую протестантскую религию) они оставили в покое, забросили, забыли и принялись резать уши и клеймить плечи продавцам революционных памфлетов, появившимся в XVIII в., и ссылатъ на галеры разносчиков нелегальных книг и брошюр, отпечатанных в Голландии.

Абсолютно ничем не вызванное преследование оборвалось столь же абсолютно немотивированно, как и началось. Остальная Франция так же безучастно отнеслась к концу этого каприза, как и к его началу и его страшным последствиям. И только в революционную эпоху некоторые органы печати злорадно заметили, что отменой Нантского эдикта монархия сослужила большую службу освобождению Франции, так как эта мера наглядно разъяснила целым поколениям все безумие старого строя.

Как раз, когда во Франции свирепствовали драгонады, в Московском государстве шла борьба с расколом. Но мы намеренно оставим в стороне раскол XVII столетия, когда он мог еще возбуждать известные опасения политического характера, когда у него была сила несколько лет оборонять Соловецкий монастырь, когда, словом, борьба против него могла иногда казаться самозащитой государственной власти (мы говорим тут лишь о возможных тогда воззрениях на раскол). Поэтому, несмотря на соблазнительное хронологическое совпадение, русский раскол конца XVII в. и борьба против него не могут здесь быть сопоставлены с гугенотами и отменой Нантского эдикта. Мы берем раскол в XIX в., когда политические опасения исчезли совершенно.

За все существование Российской империи не было эпохи, более кипуче-деятельной по части мероприятий против раскола, нежели время Николая I. Не говоря уже об Александре II, отменившем очень многое из этой области и сильно облегчившем положение раскольников, но и Александр I

оставлял их, сравнительно, в спокойствии. Вот что читаем об этом у противника раскола:¹ „Внешне окрепший в предшествовавший период, раскол теперь вызвал обширную систему мер, и прежде всего гражданских. Царствование Николая Павловича является выдающимся в этом отношении. В это время законов по части раскола было издано очень много, более снисходительных в начале царствования и более строгих под конец его. Были учреждены секретные совещательные комитеты с центральным комитетом в Петербурге. Сам государь император неустанно следил за общим чтением раскольнических дел, которые доводились до сведения его величества особо установленным для них порядком“. Всякий, кто хотя бы только приступал к изучению царствования Николая I, очень хорошо знает, что эти мероприятия далеко не оставались только на бумаге. Сложнейшая система приводила к тому, что все существование раскольника было обставлено сетью преград и препятствий. Хотел ли он отлучиться из места приписки, хотел ли начать торговлю, собирался ли жениться, рождались ли у него дети, нужно ли было хоронить отца, приходилось ли даже чинить сгнившую крышу в молельне, — все это сопровождалось придирадками, запрещениями, условными дозволениями, грабительскими взятками; и еще счастье, что брали взятки, ибо закон стремился совсем сделать жизнь раскольника невыносимой. Даже среди царившего рабства раскольник был парией, жестоко и деятельно преследуемым. Кто изучал историю раскола в николаевскую эпоху, тот едва ли может забыть получающееся при этом впечатление, будто некто зорко и неустанно бдит над раскольниками из месяца в месяц, из года в год, и все боится что-нибудь из быта этих загнанных людей оставить без полного своего внимания. Но если задать себе при этом вопрос: „Зачем? Cui prodest? (Кому выгодно?) Какой государственной надобности или, даже, какому классовому эгоизму все это должно удовлетворять?“ — то так при этих вопросах и останешься. И чем больше углубляться в конкретные подробности, тем ярче, тем нагляднее

¹ Смирнов П. *История русского раскола — старообрядчества*. Рязань, 1893. С. 217.

(почти до карикатурности) становится это характерное политическое искусство для искусства.

„В 1836 г. томский прокурор дал знать губернатору, что переселившийся из Оренбургской губернии в 1825 г. и причисленный к деревне Ае крестьянин Абабков привез с собой человека, коего ложно выдает за отца своего Варфоломея, и что этот мнимый Варфоломей проживает где-то в лесных горах, куда для богомолья приходят к нему какие-то другие люди, затем неизвестно куда скрывающиеся¹. Разумеется, государственная власть обеспокоилась и стала искать. „Нашли его в избушке, в 50 верстах от деревни“, затем нашли еще более грозную опасность для существовавшего социального строя в лице раскольника Паисия, „устроившего себе помещение в кедровом дупле, среди неприступных скал“, где ни он никого, ни его никто не видел...

Этот образ могущественнейшей в мире власти, считающей для себя непереносимым, чтобы в кедровом дупле среди неприступных сибирских скал от нее спрятался раскольник, и просовывающей за ним туда „государственный меч“, — этот образ, при всей своей карикатурности, замечательно ярко символизирует внутренний смысл рассматриваемых явлений. Этот внутренний смысл — социальная бесцельность — в подобных случаях заслоняет в глазах исследователя другую любопытную черту, присущую „психологии“ описываемых фактов: безграничную и наивную веру во всемогущество насилия, в возможность где угодно и когда угодно пустить эту панацею в ход, ибо то, что рассказывает в своих „Письмах о России“ Молинари о губернаторе, просвещавшем язычников, характерно не для страны, а для исторического фазиса, переживавшегося в разное время всем европейским континентом²: „...хотят ли знать, как понимаются религиозные вопросы некоторыми высшими сановниками? Вот *достоверный* анекдот, который позволит об этом судить. В царствование Николая I был послан управлять Западной Сибирью один почтенный немец, ультраформалист,

¹ Беликов ДН *Томский раскол* Изв Имп Том ун-та 1901 Кн 18 С. 73.

² Mollinari M G. de *Lettres sur la Russie*. Paris, 1877 P 105.

каковым и должен быть всякий добрый немец. Узнавши, что язычество еще существует в его губернии, он почел долгом своим его искоренить. Прежде всего он произвел расследования о состоянии язычества и положении язычников. Это расследование ему показало, что не только каждое племя имело своих особых богов, но также, что одно племя имело их больше, другое — меньше. Он начал с прекращения этой недопустимой анархии путем приведения язычества к единообразию. С этой целью он издал приказ, устанавливающий каталог *официальных* богов, которых разрешалось почитать, при исключении всех прочих богов. Таков был первый шаг к прогрессу; но этого было недостаточно. Дело шло о привлечении мало-помалу язычников в лоно православной церкви. Как поступить? Между идолопоклонством, даже регламентированным и единообразным, и православием расстояние было, положительно, слишком велико. Сразу его перешагнуть было невозможно. Требовалась переходная ступень. Хорошо об этом подумавши, наш бюрократ пришел к заключению, что он разрешил дело, и обратился к правительству с длинным мемуаром, в котором доказывал необходимость постепенно обращать язычников в христианство путем *предварительного* их обращения... в магометанство. Не было ли разрешение этой задачи столь же ново, как и прекрасно, и не свидетельствовало ли оно лишний раз о наивной вере бюрократии в свою врожденную способность разрешать всякого рода вопросы, вплоть до вопросов религиозных?“ Таким вопросом кончает Молинари свое повествование о губернаторе с апостольскими тенденциями¹. Но, точнее, — это вера во всеобщую приложимость и пригодность насилия, соединенная с фатальной необходимостью для власти, не знающей препон, бросаться всюду, ища точек приложения своей силы.

IV

Не выходя из области „внутренней политики“, мы могли бы, и помимо религиозных преследований, указать на целые

¹ Не его ли назвал Герцен „равноапостольным немцем“?

категории фактов, подтверждающих высказанную выше мысль. Но мы перейдем теперь к другому порядку явлений, иллюстрирующих саморазрушительную работу абсолютизма, когда он превратился в особый надобщественный организм. Ничто так эту работу не характеризует, как предприятия и авантюры военно-дипломатического свойства.

Абсолютная власть часто предпринимала наступательные войны тогда, когда это требовалось в интересах приобретения нужной населению территории, или для упрочения и усиления возникающей торгово-промышленной деятельности, или для обеспечения таким путем государства от грозящего в будущем удара. Такие войны, обыкновенно, и получали характер „национальных“, и целесообразность их, с точки зрения государственного благосостояния или хотя бы с точки зрения нужд определенных классов, бывала вполне доступна общественному сознанию. Такого рода войны, конечно, должны быть совершенно устранены от нашего рассмотрения. Точно так же мы здесь не коснемся пока и другого рода войн, которыми пестрят анналы истории абсолютистских правительств: войн, предпринимавшихся для так называемого „отвлечения внимания“ общества от внутренних дел (вроде войн Наполеона III и тому подобных). О такого рода предприятиях придется говорить, когда речь будет идти о самообороне абсолютизма. Здесь же нас интересуют те войны, которые предпринимались абсолютизмом решительно без всякой нужды как для государства, так и для него самого.

Противоречит ли самое утверждение, что были мыслимы такие войны, основному нашему воззрению на зависимость политических феноменов от соотношений социальных классов в данной нации? Не противоречит несколько. Подобные войны имели непосредственной причиной своей психологические свойства абсолютизма, о которых выше шла речь; а *возможны* они были, потому что социально-экономические условия общества в данный исторический момент допускали не только беспрепятственное существование абсолютизма, но и давали ему нестесняемый простор для проявления этих его психологических свойств. Определен-

ная классовая структура общества детерминирует лишь *возможность* того „однократного и индивидуального“, каким, по мнению Риккерта, является всегда всякое историческое событие; но *spiritus movens* (движущая сила), который обуславливает *неизбежность* этого или однородного события, есть сила производная, хотя, в конечном счете, и вытекающая из того же источника, т.е. из социально-экономической структуры данной среды. Эта психологическая производная сила, в данном случае, и есть то состояние абсолютизма, уже отслужившего свою историческую службу, но еще не отправленного в отставку, которое *не позволяет* ему не растрачивать самым хищническим образом накопленный раньше капитал.

Иногда эти военно-дипломатические конвульсии абсолютизма получали вид стремления к европейской гегемонии (как это было, например, во второй половине царствования Людовика XIV), иногда они никакого вида не получали, а так и оставались откровенными капризами двора (как это было при Людовике XV и его фаворитках), иногда, наконец, они являлись миру в качестве „великодушных“ попыток спасти угрожаемый принцип, выручить „соседа“ и т.п. Тут область примеров и иллюстраций вообще ограничена, ибо роскошь подобных проявлений силы мог себе позволить, по самому существу дела, не всякий абсолютизм, а лишь такой, который водворился в могущественном национальном организме.

Собственно, внешняя схема такой политики сводилась обыкновенно, в конечном счете, к тому ироническому определению, которое Вольтер дал истории Крестовых походов: „Государи, после ограбления своих королевств, с целью выкупить страну, которая никогда им не принадлежала, окончательно разоряли свои земли уже для личного своего выкупа“¹. Иногда могли быть удачны отдельные периоды этих войн, но, вообще говоря, удача тут являлась исключением и во всяком случае к прочным результатам не приводила. Мы не будем останавливаться на причинах этих неудач, разби-

¹ Voltaire. Dictionnaire philosophique, слово „Fanatisme“. 1857. T.V. C. 562.

рать, играла ли тут главную роль апатия солдат, которых вели на бойню по непонятным для них соображениям, или органическая неспособность абсолютизма в разбираемый период его жизни создать и поддержать на требуемой высоте сложную и дееспособную военную машину, или еще иные какие-либо причины. Достаточно указать на результат, *почти* всегда, но не всегда наносивший серьезный удар моральному престижу инициаторов подобных войн. Вся французская внешняя политика за шестидесятилетнее царствование Людовика XV (особенно же со времени королевского совершеннолетия) была часто бессмыслицей. Ненужные и нелепые войны, вмешательство в Семилетнюю войну, неумелая и неудачная оппозиция политике Екатерины II — все это именно и было тем стихийно расточительным пожиранием ранее накопленного капитала, о котором мы говорили раньше. Абсолютизм в свое время создавался и креп на внешних войнах и на них же в рассматриваемый период обнаруживал яснее всего свою истинную дряхлость, прикрытую обманчивой репутацией силы и бодрости; и нередко война, начатая абсолютизмом как бы от избытка силы, кончалась таким крахом, который открывал собою период агонии. Тут давно существовавший в скрытом виде факт разом переходил в сознание и абсолютистских верхов, и всех окружающих: социальная опасность строя обнаруживалась в одно время с его слабостью, и иногда это влекло за собой предъявление накопившихся счетов. Но чаще внешние войны не имели столь непосредственно решающего значения и только становились одним из самых внушительных и крепких звеньев в той цепи, которая медленно, но с фатальной неуклонностью обвивалась вокруг абсолютизма, чтобы его задушить в момент развязки борьбы. Войны Людовика XV отозвались впоследствии, когда настал тот „потоп“, о котором, по преданию, так весело говорил старый король.

Русский правительственный организм достиг кульминации своего могущества к концу царствования Екатерины II,

и затем, после некоторого перерыва, этот момент для него повторился после низложения Наполеона I. Русское правительство екатерининских времен было правительством классовым, дворянским по преимуществу, но этот свой характер оно в следующую эпоху стало утрачивать, хотя и не сразу, а постепенно. Но организм, уже начинавший жить своей, совсем особой, самодовлеющей жизнью, уже становился *надобщественным*, уже не упускал при случае подчеркнуть свой взгляд на *все* сословия как на нечто, имеющее, так сказать, лишь пьедестальное значение. Павел Петрович заявлял, что у него знатен тот, на кого он смотрит, и до тех пор, пока он на него смотрит. „Вы видите, дети, что с людьми следует обходиться как с собаками“, — внушал Павел своим детям¹, и беспристрастный историк всегда признает, что тут слово редко расходилось с делом и что это специфическое „уравнение“ дворянства с прочими классами общества проводилось довольно усердно на основе высказанного Павлом государственного принципа. В течение всей первой половины XIX в. русское правительство не может быть названо, с полной точностью, представительством дворянских интересов, потому что надобщественный его характер становился все рельефнее.

Но разобщенность между отдельными социальными группами была так велика, отсутствие какой бы то ни было организации среди угнетенных классов — столь полным, разбросанность населения так мешала подготовке к борьбе, земля до такой степени являлась подавляюще-преобладавшей формой капитала, общий уровень материальной и умственной культуры был таким низким, что строй мог себя чувствовать спокойным. Он, собственно, не был силен, но он не был атакуем ни изнутри, ни, до Крыма, извне; а это обстоятельство, субъективно, в сознании правивших кругов вполне компенсировало отсутствовавшую в самом деле силу.

Что внешняя политика этого периода расходилась очень часто с прямыми или косвенными интересами России, это

¹ Vous voyez, mes enfants, qu'il faut traiter les hommes, comme les chiens.

признают теперь, кажется, все мало-мальски беспристрастные историки; многие (например, Шильдер) даже расширяют хронологически этот период, но мы остановимся лишь на эпохе, начавшейся пушечной пальбой на Сенатской площади и кончившейся пушечной пальбой у Малахова кургана.

Прежде всего необычайная *деятельность* бросается в глаза при изучении истории российской дипломатии в эту эпоху. Враг режима, Герцен, отмечает, что никогда русское правительство не было столь поглощено чужими делами, никогда не давало столько советов, так во все не вмешивалось. Друг режима (и отчасти автор „советов“) — граф Нессельроде, министр иностранных дел, в течение всего периода, по существу, совершенно согласен в этом вопросе с Герценом. Никогда не поймет *психологию* тех явлений, о которых у нас идет речь, тот, кто поленится прочесть произведение пера этого маленького старого куртизана, помеченное 20 ноября 1851 г. Это французская записка, написанная той изящнейшей прозой, какой владели с таким искусством дипломаты добисмарковского периода, и представленная графом Нессельроде Николаю Павловичу по поводу исполнившегося двадцатипятилетия царствования. Почтительный восторг проникает всю записку, имеющую целью вкратце охарактеризовать политику России с 1825 г. по 1850-й. Вот небольшие из нее выдержки¹.

¹ .. Bientôt les bouleversements amenés en 1830 par la chute de la branche aînée des Bourbons ont ouvert une période nouvelle à la politique de votre majesté. Ils ont imprimé à son règne le véritable caractère qui le distinguera dans l'avenir. A la suite de ces révolutions, elle est devenue pour le monde le représentant de l'idée monarchique, le soutien des principes d'ordre et le défenseur impartial de l'équilibre Européen. Mais des laborieux efforts, une lutte sans cesse renaissante étaient attachés à ce noble rôle. La Hollande était sacrifiée, dans son conflit avec les Belges à l'extrême partialité de la France et de l'Angleterre. Si notre éloignement géographique et la timidité de nos alliés n'ont malheureusement pas permis qu'elle conservât la possession intacte des provinces qui formaient jadis avec elle le Royaume des Pays-bas, au moins l'appui de votre majesté et son insistance énergique ont-ils servi à obtenir au roi meilleures conditions territoriales, allégé le poids de ses sacrifices pécuniaires, modifié ce que les clauses qu'on voulait lui imposer présentaient de trop onéreux pour ses intérêts financiers et commerciaux.

Partout où chancelaient les trônes, où la société minée fléchissait sous l'effort des doctrines subversives, le bras puissant de votre majesté se fait deviner ou sentir.

„... Вскоре перевороты, вызванные в 1830 г. падением старшей линии Бурбонов, открыли новый период в политике Вашего Величества. Они придали царствованию Вашего Величества истинный характер, который в грядущем будет его отличать. Вследствие этих революций Ваше Величество сделались для мира представителем монархической идеи, поддержкой принципов порядка и беспристрастным защитником европейского равновесия. Но многотрудные усилия, но беспрерывно возобновляющаяся борьба были связаны с этой благородной ролью...“ Нессельроде самую значительную и характерную часть именно и отводит благородной роли, так что перед читателем Россия и ее интересы отходят куда-то, даже не просто на второй план, а совсем в даль и мрак. Заботы о том, чтобы пагубные принципы где-нибудь на краю света не восторжествовали, явственно предстают в виде главных движущих пружин. Даже грусть по тому поводу, что „географическая отдаленность“ не позволила России поддержать голландского короля в борьбе с бельгийскими мятежниками, до такой степени звучит в тон всему красноречию русского канцлера, что как-то уже и в голову не придет естественный вопрос: какое было России дело до голландского короля и бельгийских мятежников? Тут психология совсем особая, тут роскошь фантазии в политике, далеко превосходящая всякие „объявления войны тиранам“, о которых шла речь в эпоху Конвента.

Когда в Петербург пришли первые известия о провозглашении во Франции республики в 1848 г., государь сказал гвардейским офицерам, чтобы они седлали коней; это первое намерение сменилось выжиданием, по мере того, как революция охватывала весь континент. Затем усмирение июньского восстания рабочих в Париже до такой степени понравилось Николаю I, что отношение его к Франции переменилось. Любопытно, что на него произвел особенно отрадное впечатление такой совершенно побочный факт, как генеральский чин усмирителя¹. Сейчас же канцлеру Нессельроде

Записка целиком была напечатана в „Русской старине“ 1879 г

¹ L'empereur qui, avant tout, était un soldat, fut flatté de ce que l'anarchie avait été vaincue par l'armée et la société sauvée par un général. A l'instant il

было приказано написать любезнейшее письмо, которое Киселев и вручил генералу Кавеньяку. Затем начались чрезвычайно ласковые отношения к французскому послу, — тогда как, например, в течение всего царствования Луи Филиппа Николай I, а за ним и весь петербургский свет упорно „не замечали“ французское посольство, на том основании, что Луи Филипп — „король баррикад“, — принял корону из рук Июльской революции и т.д. Но эта внезапная милость к Франции была вновь положена на гнев, когда Луи Наполеон Бонапарт захватил престол. Казалось бы, с точки зрения торжества „принципов“, лучше ничего и пожелать нельзя было, но нет: согласно договорам 1814—1815 гг. Бонапарты не имели прав на французский престол, а посему восстановление империи одобрения и не получило. Начались взаимные колкости¹, замена обычного „mon cher frère“ (мой дорогой брат) обращением „mon bon ami“ (мой дорогой друг), без всякой нужды обострялись отношения с могущественной державой, и ко времени столкновения с Турцией страшнейший из союзных врагов был для России окончательно приготовлен ее же собственной „принципиальной“ дипломатией.

Но если по отношению к первоклассной военной державе можно было очень долго позволять себе капризы, внезапности и неожиданности, если отношения к Франции за весь этот долгий период обуславливались в каждый данный момент не интересами России, а внутренними делами французского государства, до которых России не было ни малейшего основания касаться, если эта политика только к самому концу периода принесла свои горькие плоды, то относительно

se prit de sympathie pour le général Cavaignac qui venait de triompher de l'emeute et il vint à le féliciter См Bapst E. *L'empereur Nicolas et la deuxième République française* Paris, 1898 P 11 Ср статью Платоновой Н С „Николай I и революционное движение во Франции“ //Анналы 1922 № 2

¹ О первом периоде отношений к Наполеону III можно привести слова Флеровского, как вполне точные „Наполеон III в его глазах был блудный сын, который стремится исправиться. Он относится к нему высокомерно, покровительственно, считая себя вправе читать ему наставления, порицать его, например, за конфискацию имущества Людовика Филиппа“. Потом отношения стали еще хуже.

других, менее важных и сильных, держав подобное принципиальное поведение было тогда совсем безопасно, — и иногда даже (как в 1849 г.) увенчивалось триумфом. Нужно, кстати, по поводу 1849 г. отметить, что *военное* свое выступление режим на этот раз считал долгом как бы оправдывать чем-то вроде нужд государственных: венгров надо было усмирить на всякий случай, чтобы со временем и поляки не взбунтовались, и т.п. Но все это выходило весьма сбивчиво. Интересно, что, впрочем, этот последний мотив упоминался не на первом плане. Вот что сказал Николай по поводу венгерского похода французскому послу Ламорисьеру: „Не думайте, чтобы я хотел защищать поведение Австрии в этом деле. Она нагромодила самые серьезные ошибки одни на другие. Но, в конечном счете, *она допустила наводнение Венгрии самыми субверсивными учениями*. Правительство в Венгрии попало в руки людей беспорядка, а они призвали к себе на помощь поляков. Это было восстание у моих дверей, обеспеченное убежище для тех, кто *хотел бы сеять* восстание у меня. Нужно было его потушить или постоянно быть им угрожаемым“¹. Уже из этих слов видно, что Николай не боялся *непосредственного* восстания в Польше и что *прежде всего* он думал о гибельных лжеучениях, коим отдана в жертву Венгрия. Окончательно эта мысль торжествует в словах Николая I, обращенных к тому же Ламорисьеру 15 августа 1849 г. после получения известия о победе Людера над Бемом: „Генерал, дело, из-за которого мы только что сражались, *есть то самое, за которое бились вы в июне прошлого года*; против анархии и демагогии боролись мы“². Здесь, в терминах, решительно ничего не оставляющих желать в смысле ясности и откровенности, борьба русских войск против венгров приравнивалась к борьбе французских войск против парижских рабочих в июне 1848 г., и заявлялось, что вся эта война была предпринята для подавления торжествовавших в Венгрии политических принципов, анти-

¹ См.. Bapst E., op. cit., p. 73.

² Général, la cause pour laquelle nous venons de combattre est celle pour laquelle vous vous êtes battus au mois de Juin de l'année dernière, c'est contre l'anarchie et lademagogie que nous avoins lutté.

патичных русскому правительству. Спустя пять лет „спасенная“ венская автократия в мрачный финальный момент Николая заняла явно враждебную и сильно повредившую России позицию, а венгры открыто выражали тогда же по этому поводу свой полный восторг. Вот на какой почве, впервые после усмирения 1849 г., произошло минутное „единение между пастырем и пасомыми“ в габсбургской монархии, то единение, о котором столь сладостно пели газетные рептилии, аплодировавшие восстановлению в Венгрии старого порядка в 1849 г.: оно произошло на почве их общей ненависти к России. Таковы были реальные последствия этой политики. В виде „реванша“ остались, впрочем, следы поэтические: „Прочь, прочь — австрийского Иуду — от гробовой его доски“, — восклицал поэт Тютчев по поводу прибытия австрийского эрцгерцога во главе депутации на похороны Николая. Столь огорчены были придворные и дипломатические круги, представителем которых являлся Тютчев, забвением русских национальных интересов, обнаруженным австрийскими правительственными лицами.

V

Мы в этих предварительных, вводных заметках только вскользь отметили образчики того, что считала своей задачей русская дипломатия в период Николая I. В общем она столь же мало заботилась в эту эпоху об оправдании своих капризов в глазах общества, как и в годы Павла I, сегодня отправлявшего в Италию Суворова поражать „французскую гидру“, а завтра замышлявшего в союзе с этой же „гидрой“ изгнать из Индии англичан. *Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas* (так я хочу, так велю; вместо доводов пусть будет моя воля), — таков был при Павле I и остался еще на очень долгое время после него принцип русской внешней политики. Этот самый принцип торжествовал в аналогичные эпохи и в других государствах. Бэкон был того мнения, что смелость очень опасна при обсуждении и полезна только в действии; при обсуждении хорошо видеть опасности, но при выполнении дела их следует потерять из вида, если только

они не грозят совсем уже непосредственно. Вышеуказанная политика грешила не только фантастичностью и ненужностью целей, которые она себе ставила, но именно безграничной „смелостью“ при обсуждении способов и средств. Это и вело к тому, что действительнейшими (в смысле быстроты действия) предприятиями, которые абсолютизм, повинаясь своей природе, пускал в ход для собственного своего разрушения, были обыкновенно предприятия военно-дипломатические.

Так тратился огромный капитал и ускорялась эволюция политических форм. Но это была лишь одна сторона дела: отмеченные формы психологии абсолютизма действовали на него ослабляющим образом, уменьшали в будущем его способность к самообороне, подтачивали те исторические корни, на которых он держался, разъясняли и демонстрировали наглядно всю степень опасности его дальнейшего существования для государства и т.д. Тем не менее, никогда политические формы не погибали *только* вследствие своей ненужности, вредности и даже внутренней слабости, а всегда для этого должны были перед ними еще предварительно вырасти новые враждебные силы. Если же этого налицо не было, старое правление продолжало в мире и тишине свое дальнейшее гниющее существование. Обществоведение имеет дело с таким необъятным материалом, как вся человеческая жизнь в ее прошлом и настоящем; что же удивительного, что термины здесь часто оказываются недостаточно точными? Мы уже имели случай подчеркнуть, что в истории — понятие *разложение* и понятие *гибель* отнюдь не совпадают, напомним же об этом снова и снова. Когда произносится такая фраза: „данный режим насквозь прогнил и испортился, а *потому* не мог не смениться новым, свежим“ и проч. проч., то можно утвердительно сказать, что это не научное утверждение, а словесный шаблон, с которым истинная наука *n'a rien à faire* (не имеет ничего общего). Почему „не мог не смениться“? Только потому, что сгнил?

Дело в том, что к истории, где так много стихийного и бессознательного, где так много природы и так мало телеологии, до сих пор часто подходят с готовыми прописными

формулами даже те, которые считают себя за тысячу верст от них. Так как живой организм, пораженный внутренними недугами, начавший заживо разлагаться, неминуемо и скоро гибнет, то, „значит“, так происходит или должно происходить и с правительственным строем, — подобная аналогия даже часто в устах тех, которые давно и категорически отвергли *метод* биологических аналогий, лежит в основе всех подобных выводов. Африканские царьки с незапамятных времен продавали своих подданных за сходную цену; германские государи делали то же самое в XVIII столетии. Теперь африканские царьки продолжают это занятие, а германские прекратили. Но кто же будет отрицать, что существенная причина, обусловившая эту перемену, заключается в силе сопротивления, обнаружившейся в Германии и не обнаружившейся в Африке? Кто будет отрицать, вместе с тем, что африканский строй может продолжать благополучно гнить еще новую серию веков, отнюдь не разрушаясь окончательно и не погибая? В 1782 г. один наблюдатель писал (не об одной Франции, но о *всей* Европе): „Европа представляется мне накануне ужасной революции. Масса так испорчена, что кровопускание могло бы быть необходимо“¹. Но ведь „масса“ была не менее испорчена хотя бы в эпоху Тридцатилетней войны, и однако никто не говорил, подобно Форстеру в 1779 г.: „Дела не могут оставаться, как теперь; все симптомы на это указывают“. Симптомы на это указывали не потому, что „масса“ была „испорчена“, и не потому, что „строй сгнил“, а потому, что в конце XVIII в. было то, чего не было в эпоху Тридцатилетней войны; было в широких общественных классах сознание необходимости изменить социально-политическую структуру, мешавшую их свободному материальному и моральному развитию, и была, вместе с тем, уверенность в достаточных для того силах.

Возводить себя в перл создания и в закон истории, смотреть на всякие попытки к перемене как на святотатство свойственно всякому слишком зажившемуся в свете политическому строю. Чаще всего в это заблуждение впадал абсо-

¹ Sorel A. *L'Europe et la révolution française*. I, p. 103.

лютизм, но случалось это и с конституционным порядком. Например, ганзардовское собрание парламентских дебатов дает читателю, просматривающему его за 1817—1832 гг., много курьезных образчиков того, с каким восхищением противники парламентской реформы в Англии говорили о достоинствах старых, предназначенных к сломке порядков, которые на всякий непредубежденный взгляд являлись глумлением над здравым смыслом. Любопытно также, что господствующие формы, в какие бы разнообразные политические формы ни было облечено их владычество, охотно, при всяком случае, адресуют „низшие“ классы к провидению, когда речь заходит о невыносимой их нужде. После 1812 г. петербургская бюрократия расхватала в виде наградных и поощрения себе самой весьма много народных денег, что же касается до народа, то она отделалась указанием, что *господь бог воздаст* мужикам должное за их патриотическое поведение. В таком же духе и Тьер заявил в 1850 г., в эпоху Второй республики, очевидно в назидание рабочему классу: „Нищета есть неизбежное условие в общем плане провидения: нынешнее общество, покоясь даже на самых справедливых основах, не могло бы быть улучшено“¹.

Но даже и без таких заявлений, всем своим поведением правящие слои, за которыми были сила и традиции, иной раз прямо говорили, что они даже и согласны признать наличие самого вопиющего зла, на которое указывают их враги, но категорически отказываются видеть в этом зле нечто поправимое и вообще зависящее от воли человеческой. Другими словами: грибок, производивший гниение в социальном организме, не только себя самого, но и производимое им гниение склонен был торжественно объявлять искоренению не подлежащими и существующими в силу предвечных, перманентных законов. И если бы политическая эволюция зависела от одного только желания правивших еще в XVIII в. кругов спасти общество от разложения заживо, то нет никаких оснований предполагать, что Европа далеко

¹ La misère est une condition inévitable dans le plan général de la providence. la société actuelle, reposant sur les bases les plus justes, ne saurait être améliorée.

ушла бы от времен просвещенного абсолютизма. Поэтому, когда социолог ставит вопрос о причинах *гибели* абсолютизма, то он должен все внимание направить именно на всестороннее освещение вопроса: что ускорило политическую мобилизацию враждебных абсолютизму общественных сил?

VI

„Знать свои интересы и заботиться о них есть то, что называется политикой“, — читаем мы у одного из выдающихся физиократов, аббата Бодо¹. Проведение в жизнь логических последствий этого тезиса и заставляет в известные моменты тот или иной класс, или временный союз тех или иных классов, заявлять. „Устранение существующей формы правления есть то, что называется в настоящее время нашей политикой“. Как общее правило, может быть констатирован тот факт, что политические формы всегда интересовали классовое сознание ближайшим образом: 1) либо как орудие, при помощи которого возможно удержать и расширить уже имеющееся социально-экономическое преобладание; 2) либо как препятствие, которое нужно преодолеть и уничтожить для достижения такого преобладания в будущем. Всемирно-историческая драма между буржуазией и абсолютизмом была обусловлена вторым соображением, нынешний роман той же буржуазии с бранными останками бывшего абсолютизма, где таковые еще сохранились, объясняется первым соображением. „На самом деле, — говорит Каутский, — надежды буржуазии в Германии уже не покоятся на парламентаризме, она уже не надеется более, что эта система обеспечит ей господство при всяких обстоятельствах; ее надежды покоятся на *слабости* германского парламентаризма, я хочу сказать, — на фактическом владычестве в Германии абсолютизма и феодализма“². Именно это обстоятельство и вдохнуло жизнь и силу в абсолютистские пережитки прусско-

¹ Abbé Baudeau *Introduction à la philosophie économique*. Paris, 1846. Vol II deuxième partie — Collection des principaux économistes P 740 „Connaitre ses intérêts et y pourvoir c'est ce qu'on appelle politique“

² Kautsky K. *Parlamentarisme et socialisme*. Paris, 1900. P 163.

германского строя, хотя „абсолютизм“ и в Пруссии, и в Германской империи, конечно, не существует; именно эти „надежды“ и сообщили бранным останкам абсолютизма в Германии весьма существенное „фактическое“ значение.

В истории последних столетий явственно могут быть отмечены два течения: первое характеризуется борьбой буржуазии против вредного для свободного развития капиталистических интересов общественного строя; второе характеризуется борьбой пролетариата против буржуазии во имя собственной социально-экономической эмансипации. Оба течения в свое время принимали и принимают характер борьбы против данных политических форм, но по обстоятельствам возникновения этой борьбы оба течения резко отличны одно от другого.

Имущий класс всегда и всюду *кончал* борьбой против политических форм, а класс неимущий либо *начинал* такой борьбой свою самостоятельную историческую карьеру, либо уже очень скоро после пробуждения классового самосознания к этой борьбе переходил. Для класса, владеющего орудиями производства, для класса, являющегося представителем того стремления капитала к прибыли, которое Зомбарт считает конечной движущей силой современного хозяйственного развития, для класса буржуазного по преимуществу всегда характерна первоначальная тенденция не только не разрушать данный правительственный аппарат, не только всячески пытаться отделить и спасти его, разрушая в то же время главные основы всего социально-юридического строя, но, по возможности, именно им, этим правительственным аппаратом, воспользоваться как орудием для разрушения и правовых, и социальных, и традиционных норм, вредящих капиталистическим интересам. Только там и тогда, где и когда правительственный организм решительно обнаруживал неспособность к этой новой навязываемой ему роли, капиталистический класс обращал все свои силы против него, и первоначальная тенденция сменялась новой целью: разрушить старое правительство и захватить нужную для осуществления классовых стремлений власть в собственные руки. Могущественный выразитель революционного начала в об-

ласти экономической и социальной, капиталистический класс в области чисто политической являлся революционером *malgré lui* (поневоле), революционером, делавшим все, чтобы таковым не стать или скорее перестать таковым быть. Класс же пролетарский вступал на дорогу политической революционной борьбы весьма скоро после первого своего самостоятельного выступления на историческом поприще и сходил с этой дороги лишь после упорной борьбы, при явной бесполезности дальнейших усилий в указанном направлении, и до более удобного ближайшего случая.

Раньше, нежели мы остановимся на логическом объяснении обоих отмеченных явлений, напомним некоторые исторические иллюстрации и примеры, сюда относящиеся. Начнем с класса имущего.

VII

Известная парламентская формула, упразднившая 7 февраля 1649 г. королевскую власть в Англии, краткая и сухая до небрежности, читается в главной своей части так: „...было найдено на опыте, что должность короля этой нации и принадлежность власти над ней какому-либо одному лицу — не необходимы, обременительны и опасны для свободы, безопасности и общественных интересов народа и что, следовательно, (эта должность) должна быть уничтожена“¹. Холодная деловитость, не менее пуританского фанатизма характерная для кромвелевского поколения, вся сказалась в формулировке этого акта: после упорной десятилетней борьбы, после нападений открытых и из-за угла, после междоусобицы, разожженной в стране самым сильным принципиальным врагом, какого только знала когда-либо английская конституция, спустя всего восемь дней после того, как этому врагу отрубили, наконец, голову, — парламент, уничтожая королевское здание, на *первом* месте среди мотивов такого акта ставит „найденное на опыте“ *отсутствие необ-*

¹ „ it has been found by experience „ that the office of a king in this nation and to have the power hereof in any single person is unnessessary, burdensome and dangerous etc“.

ходимости иметь короля. Король не *необходим*, unnecessary, это прежде всего, а что он „обременителен“ и „опасен“ — это уже на втором плане. Кромвелевский парламент знал, что те самые широкие слои средних имущих классов, которые столь решительно до сих пор боролись против попыток Карла I сокрушить английские вольности, далеко не с восторгом относятся к казни короля и к республиканизму „святых“ из кромвелевских казарм; законодатели 1649 г. как бы предвидели, что пройдет несколько лет, и эти самые средние слои уже громко заявят о „необходимости“ иметь короля, о правильности монархических чувств аристократии и т.д. И вот для кого, для каких читателей акта 7 февраля нужно было прежде всего успокоительное внушение, что король „не необходим“.

Эта-то беспокойная мысль о необходимости короля, в конце концов, и погубила английскую республику, когда не стало человека, который заменял собой короля с 1649 г. по 1658-й. Стоило Оливеру Кромвелю закрыть глаза, как все старые тревоги имущих классов всколыхнулись с новой силой, и монархическая реставрация стала вопросом месяцев. Оказалось, что мало декретировать: „король не необходим“, чтобы этим обеспечить существование республики.

В Англии мы видим, что имущие классы не разубедились в необходимости для них монархии даже после того, как эта монархия рядом агрессивных действий довела страну до междоусобной войны. В предреволюционной Франции буржуазия упорно закрывала глаза на тесную связь между абсолютизмом и всем остальным ненавистным ей социально-юридическим строем и до последней минуты щадила абсолютизм, даже после того, как этот абсолютизм довел страну до полного упадка и истощения.

Мы не будем останавливаться на том, что популярнейший из „философов“ XVIII в. Вольтер часто мог казаться сторонником „просвещенного абсолютизма“: что в „Энциклопедии“, этом коллективном памятнике общественной мысли XVIII в., едва ли не доминирующая политическая нота — пристрастие к принципам, практически весьма близким тому же „просвещенному абсолютизму“ (насколько вообще

возможно говорить о доминирующей ноте в таком пестром сборном труде, каким была „Энциклопедия“); мы не станем тут говорить о всех этих ярких людях, наносивших такие меткие и непоправимые удары католицизму, иезуитам, феодальным пережиткам, — но не столь для нас здесь интересных, как другие, более забытые теперь, но не менее влиятельные тогда деятели. „Философы эмансипировали умы, показали свой идеал, но не принесли ни догмы, ни системы, не усвоили твердо сколько-нибудь ясные решения главных политических или социальных проблем. Исключение пришлось бы сделать только для физиократов“, — справедливо сказал недавно один из знатоков революционной и предреволюционной эпохи Э. Шампион¹. И не только поэтому мы остановимся здесь исключительно на физиократах, отстранив остальных деятелей литературы XVIII в. Физиократы поучительны тут для нас не только ясностью своих политических рецептов, но и тем, что именно их школа являлась истинной идеологией имущих средних слоев Франции во второй половине XVIII столетия; именно эта школа сделала определенную попытку отвести абсолютизм от пропасти, к которой он шел, и превратить его в боевой таран, который уничтожил бы социально-юридические препятствия и прочистил бы свободный путь развитию нового общества.

Никогда и нигде уже имущие классы не создавали и не создадут доктрины, которая напоминала бы хоть отдаленно физиократизм: *такое* предсказание можно сделать с уверенностью. *Des Lebens Mai blüht einmal — und nie wieder!* (Май жизни только раз цветет — и ни разу больше!). Всякая попытка реставрации рыцарской поэзии в XVII—XVIII вв. была бы смешна и тщетна, потому что имущие классы себя вполне уже poznали, и их враги их тоже вполне poznали. Только класс, который история неудержимо влекла к торжеству и самосознание которого не успевало расширяться и проясняться в уровень с быстротой приближения кризиса, — только такой класс мог создать эту торжествующую песнь

¹ См его рецензию на книгу Bayet et Albert (*Les écrivains polit du XVIII siècle*) // *Chronique et bibliographie*, с. 266, vol. 48 журн. „*La Révolution Française*“ за 1905 г.

эксплуатации земли, эту поэму частной собственности и капиталистического накопления; ибо если бы социально-экономическое торжество средних классов не надвигалось так фатально-неуклонно, в физиократизме не было бы столько пророческой уверенности в неизбежном торжестве главных его стремлений, — а если бы самосознание этих классов было бы всесторонне развито, у физиократов не оказалось бы того проникновенного и радостного энтузиазма, который мыслим только *при самом искреннем* смешении своих классовых целей с „общечеловеческими“ идеалами. В XIX—XX вв. идеология имущих классов многократно пыталась набросить на себя этот чарующий (на расстоянии) „общечеловеческий“ покров, она не раз стремилась подставить вместо слова „буржуазия“ слово „нация“, вместо слова „капитал“ — слово „идеал“; и ровно ничего из этого не выходило. Попытки бывали у их авторов отравлены ядом неуверенности в собственной своей искренности, сознанием вражды и подозрений со стороны тех обездоленных, у которых судьба взяла все и которые не хотели, чтобы у них украли их единственное наследство и их последнее достояние: светлые слова, дававшие надежду и поднимавшие дух.

Физиократы же искренно думали, что они своим учением стремятся восстановить нарушенный историей закон природы, что все человечество от короля до последнего нищего заинтересовано в существовании их идей и что осуществление это начнет благодатную для всех эру во всемирной истории. И во всем этом они были убеждены настолько, что выражали мысли свои целиком, гнушаясь каких бы то ни было фиговых листков. „Liberté, propriété, autorité“¹ (свобода, собственность, власть), — таков был девиз, с которым они явились и которого они непоколебимо держались. Свобода,

¹ Physiocrates //Collection des principaux économistes Paris, 1846 Vol II, prem partie P XIV Все дальнейшие ссылки делаются на это издание, четыре тома которого заняты сочинениями физиократов Эти тома следующие I — première partie, II — deuxième partie, III и IV (последние два — исключительно с сочинениями Тюрго). В дальнейших ссылках цифры I — 1, II — 2, III и IV, поставленные после названия того или иного сочинения физиократов, будут обозначать соответствующий том указанной коллекции, где сочинение помещено.

собственность, власть — вот правда буржуазной предреволюционной идеологии; свобода, равенство, братство — вот ложь буржуазной революции. Второй девиз настолько же более велик и возвышен, чем первый, — насколько первый был ближе и нужнее имущим классам, нежели второй. Вот почему „liberté, égalité, fraternité“ (свобода, равенство, братство) — есть „возвышающий“ буржуазию „обман“, а „liberté, propriété, autorité“ — есть одна из „тьмы“ важных и нужных ей „низких истин“.

И основатель физиократической школы Кенэ, и все его последователи постоянно подчеркивают всеобщность и одинаковость интересов и стремлений, которые они отстаивают, благость этих стремлений для „всех“; и характернее всего поясняется эта мысль, например, там, где речь идет о налогах. „Собственники, государь и вся нация весьма заинтересованы в том, чтобы налог целиком падал непосредственно на земельный доход“ и т.д., — читаем мы у Кенэ¹. На первом плане — собственники, затем — страж собственности — государь, а за ним „вся нация“, и все они одинаково заинтересованы в том-то и в том-то, — таков *способ мышления* у физиократов, ибо это у них больше, чем фраза, больше, чем формула. Быть может, из последователей теории естественного права физиократы больше всех остальных могут назваться последовательными оптимистами. Они утверждают, что „законы природы“ так хороши, так полно и разумно могут устроить человеческую жизнь, так рассчитаны на водворение всеобщего счастья, что наилучшим законодателем в людском обществе всегда будет тот, который будет лишь формулировать эти предвечные тезисы естественного права, а не выдумывать свои законы. Но что же такое естественное право? „Естественное право есть право человека на вещи, годные для его пользования“²; высшие нравственные понятия вытекают отсюда логически: „справедливость есть естественное и верховное, признанное светом разума правило, которое явно определяет, что принадлежит тебе и что —

¹ Quesnay F *Analyse du tableau economique* II — I P 61

² Систематичнее всего взгляды школы на естественное право выражены в небольшом трактате Кенэ „Le droit naturel“. Vol. II—I. P. 41—55.

другому“¹. Установление правительственной власти, общественные формы „зависят от большего или меньшего количества имуществ, которыми каждый обладает или может обладать и которые он хочет сохранить в своей собственности и в целости“. Устройство государственного союза выгодно людям, ибо они, отдаваясь под опеку власти², „сильно расширяют для себя возможность быть собственниками“. Формы правления бывают различны, но все они одинаково никуда не годятся с того момента, как перестают защищать собственность и свободу. Но что же это за „свобода“? Физиократы прежде всего понимают свободу как не стесняемое никем и ничем право пользоваться всеми своими физическими и духовными способностями для законного добывания и увеличения своей собственности, и как обеспеченность, вместе с тем, своей личности от посягательств произвола. Но произвол у физиократов, обыкновенно, мыслится лишь со стороны частных лиц дурной нравственности, а не со стороны „опекающей власти“, и они не устают доказывать, что одно из серьезнейших условий для целесообразного функционирования власти есть именно ее полнота и неограниченность. Один из самых талантливых и увлекающихся физиократов, Дюпон де Немур, написал в 1768 г., т.е. как раз в эпоху самого наглого произвола Людовика XV, трактат „О происхождении и успехах новой науки“. В этом трактате мы читаем следующие, взятые в виде эпиграфа, восторженные слова: „Думать, что все уже открыто, есть глубокое заблуждение; это значит принимать горизонт за край света“. И действительно, Дюпон де Немур, со столь характерным для физиократов энтузиазмом, силится установить новые перспективы жизни, новые идеалы, открыть родник неиссякаемого счастья для человечества и т.д., — и делает все это, излагая доктрину Кенэ с собственными пояснениями. И вот что мы читаем в этой книге, которой предпослан столь смелый эпиграф и которая написана с таким подъемом духа: „Социальные законы, установленные высшим существом, предписывают единственно сохранение права собственности и нераз-

¹ Quesnay F *Le droit naturel*. II—I. 3. 43.

² ... autorité tutélaire... *ibid*, 51.

лучной с ним свободы¹. Что же должна делать верховная власть? Дюпон де Немур, как все другие физиократы, ему современные, и как все манчестерцы, в следующем веке явившиеся, склонен больше останавливаться на том, чего *не* должно делать правительство, а не на том, что оно *должно* делать. Правительство должно не мешать пользованию правом собственности: „Если приказы государей противоречили бы законам социального порядка, если бы эти приказы воспрещали почитать собственность, если бы они требовали сожжения жатвы, если бы они предписывали принесение в жертву маленьких детей, то это не были бы законы, это были бы безумные акты, ни для кого не обязательные“². Итак, государи не должны воспрещать почитание собственности, не должны распоряжаться насчет уничтожения жатвы и маленьких детей: при этом легко выполнимом условии власть их со стороны смелого энтузиаста ничем более не ограничивается. Власть исполнительная, как и власть законодательная, должны быть сосредоточены в едином лице государя, которому должны принадлежать безраздельно и исключительно. Если судьи должны быть самостоятельны, — то также затем, чтобы лучше служить государю, охраняя его от невольных ошибок. Ибо государи, по мнению Дюпона де Немура, могут ошибаться лишь ненамеренно, невольно. „Когда у государей вкрадывается ошибка в их положительные распоряжения, то это может случиться лишь невольно, — и судьи служат им (государям) полезно, верно и *религиозно*, давая им заметить эти невольные ошибки“³. Интересы монарха (и именно наследственного⁴) вполне тождественны с интересами его подданных, а посему, естественно, подданные вовсе и не нуждаются в ограничении или умалении власти монарха, да и монарх с „арифметической“ необходимо-

¹ Dupont de Nemours P Origine et progrès d'une science nouvelle P 147
II—I

² Ibid 347, II—I

³ Ibid P. Op. cit. P. 350.

⁴ il n'y a que les monarques héréditaires dont tous les intérêts personnels et particuliers, présents et futurs, puissent être intimement, sensiblement et manifestement liés avec celui de leurs nations... P. 360. II—I.

стью всегда будет стараться делать все на пользу общую, каковая общая польза есть eo ipso его польза личная.

Другой выдающийся последователь доктора Кенэ — Мерсье де ла Ривьер — придерживался подобных же воззрений насчет существа политической власти. Он с любовью и восторгом останавливается на „легальном деспотизме“, как на идеальной форме правления, и резко противопоставляет его „деспотизму произвольному“¹. Какая же разница? Вот какая: „легальный деспотизм“ основывает все действия свои на „очевидности“ пользы этих действий для людей; легальный деспотизм есть средоточие всех людских волей и орудие осуществления общих желаний, он согласен с „законами природы“, он необходим, и поэтому непоколебим и незаменим. Как известно, по рекомендации князя Голицына, восхитившегося книгой Мерсье де ла Ривьера, Екатерина II вызвала этого физиократа в Россию для советов и соображений (дело было как раз, когда собиралась в Москве знаменитая „Комиссия для составления проекта нового уложения“). Но оба эти лица — и Екатерина, и ее гость — расстались холодно, и весь эпизод ни к каким последствиям не повел. Судя по всему, „деспотизм“ Екатерины II показался физиократу не вполне „легальным“. А так как и современный ему французский абсолютизм тоже вовсе не удовлетворял желаниям физиократов, то тем характернее их вечная, неослабевающая привязанность к этой форме правления, идеализация ее. Для физиократов преимущество абсолютизма перед всякой иной формой правления есть такая неоспоримая истина, принцип неограниченности государя заключает в себе такую нетленную красоту, что никакие „преходящие“, „случайные“ отклонения и эксцессы не в силах никогда были поколебать это почтение к абсолютизму. Он для них нужен и важен как охрана собственности, как наилучший, по их мнению, вид и способ этой охраны. Физиократ, еще более талантливый и влиятельный, нежели Мерсье де ла Ривьер, аббат Бодо не только уподобляет, но прямо приравнивает государя к отцу

¹ Mercier de la Rivière P. *L'ordre naturel des sociétés politiques*. P. 469.
П—2.

семейства¹ и, признавая необходимость бюрократии (он чиновников называет — *agents mandataires*, или *représentants du souverain*), вполне отчетливо устанавливает, что исполнители верховной воли за свои поступки по части службы ответственны перед этой же верховной властью. В виде образца того, „до какого совершенства может быть доведена администрация“², в виде достойного всяческих подражаний примера „благого и мудрого управления“, Бодо с полным восторгом указывает на египетских фараонов и других представителей древневосточного абсолютизма. При этом абсолютизме создавались плотины, проводились каналы, устраивались прочнейшие сооружения, обеспечивалось правильное орошение земли, прокладывались дороги, а потому и управление, существовавшее в этих странах в древности, должно быть признано идеальным. В Месопотамии, в Египте, в древнеамериканском Перу, в Китае, — вот где нужно искать идеал государственной мудрости. И идея о величии этого управления „есть коренная идея, которую необходимо прочно запечатлеть в уме всем тем, кто желает заниматься экономической философией“. Бодо поэтому недоволен излишним увлечением классическими народами, которых столь чтит „педантизм“, царящий в коллежах. Нужно восхищаться не греками и римлянами, а „четырьмя нациями, истинно славными: халдеями, египтянами, перуанцами и китайцами“³. Беспристрастный Бодо хвалит за хорошее управление и Голландию, но все же, по его мнению, эта страна только „приблизилась“ к вышеназванным четырем нациям.

Возвращаясь уже совсем в другой связи и в другом месте своего обширного трактата к вопросу о формах правления, Бодо, не колеблясь, признает лучшей из них „теократию“, в пример каковой берет монархию китайского императора, „сына неба“⁴. Принцип, по которому государь есть

¹ Abbé Baudeau N *Introduction à la philosophie économique* P 670 „Le chef de la grande famille qui est le souverain “ (Государь есть глава большого семейства).

² Abbé Baudeau N *Op cit* II—2, 680

³ Ibid P 681.

⁴ Abbé Baudeau N. *Introduction à la philosophie économique*. II—2, 798

представитель бога на земле и выразитель воли божьей, есть принцип „святой и возвышенный“, и Бодо с любовью останавливается на том, с каким обожанием и покорностью китайцы относятся к повелениям своего властителя. Но вот зато к республикам Древней Греции, „которые никогда не знали законов природы“, наш автор относится с явным недоброжелательством и находит, что „их летописи представляют лишь непрерывное зрелище ужасных посягательств против мира и счастья человечества“¹. И хотя он, в конце концов, склонен признать право на существование и иных форм правления, но наследственный абсолютизм, вроде китайского, самым явным образом имеет на своей стороне все симпатии аббата Бодо. Нечего и говорить, что, подобно всем другим физиократам, он все время силится отделить от этой формы правления понятия „произвола“ и „деспотизма“, но, как и они, ограничивается в этом смысле лишь декламацией о сообразности благодетельной власти с „законами природы“ и т.д. О психологической сущности этой декламации, столь пустой и ненужной на первый взгляд, у нас речь пойдет несколько дальше: этот предмет тесно связан с идейным разрывом между *tiers état* (третье сословие) и абсолютизмом Бурбонов, а самый разрыв этот совершенно неуясним без анализа исторической роли Тюрго. К Тюрго, этому выдающемуся физиократу-теоретику и самостоятельному физиократу-практику, мы теперь и обратимся.

VIII

Конечно, Тюрго нас здесь интересует исключительно с точки зрения отношения к абсолютизму, все остальное в этой сложной и разносторонней индивидуальности будет оставлено нами в стороне. Исторические судьбы как будто нарочно захотели в лице явившегося во дворце физиократ-министра свести лицом к лицу абсолютизм с „третьим сословием“, с представителем самой законченной доктрины, какую только создало за весь XVIII в. классовое чувство имущих средних кругов Франции. Ибо физиократическая

¹ Abbé Baudeau N. Op. cit. P. 800.

доктрина владела всецело этим замечательным человеком, и еще его служба в качестве лимузенского интенданта была одной долгой попыткой применять на практике экономические заветы Кенэ и его учеников. Типично для Тюрго (как и для всей этой школы), что во всех своих действиях он исходил из убеждения в универсальной благодати рецептов физиократизма. „Облегчение страждущих людей есть общий долг и общее дело“, — так начинается одна его инструкция к подчиненным благотворительным учреждениям¹. К королевской власти он с молодости относился с благоговением. „О Людовик! — восклицал он, обращаясь риторически к тени Людовика XIV, — какое величие тебя окружает! Какой блеск распространила твоя рука в области всех искусств! Твой счастливый народ стал центром изящества“². Даже и Людовик XV иной раз кажется ему на самом деле достойным названия „bien-aimé“³ (возлюбленного), и, обращаясь к этому человеку, он с жаром настаивает, будто сердце „возлюбленного монарха“ ценит трон лишь как средство делать людей счастливыми...

И вот в 1774 г. Тюрго зовут в королевский кабинет, и он выходит от Людовика XVI, облеченный властью делать то, что найдет нужным для спасения страны от разорения и банкротства. Никогда ни один абсолютизм не находил в трудную для себя минуту таких бескорыстных и умных помощников и слуг. Прусский абсолютизм 1848 г. имел, правда, при себе в качестве верного рыцаря фон Радовица, но фон Радовиц, отличаясь бескорыстием, — умом отнюдь не блистал и ни малейшего представления об исторической сущности своей эпохи не имел (и так и скончался, ни разу „не придя в сознание“, если можно употребить здесь подобное выражение); абсолютизм в других странах в последние свои минуты не имел даже и таких людей, как Радовиц. Были алчные и свирепые дельцы, неразрывно связавшие свою судьбу с судьбой защищаемой ими формы правления; были

¹ Notice historique. P. XLIV, vol. III (указ издан в Principaux Economistes)

² Turgot J. Oeuvres diverses. *Discours en Sorbonne*. Vol. III. P. 611.

³ Turgot J., *ibid.* Vol. III. P. 597.

воры и грабители, оборонявшие свой притон; был иногда полный комплект лиц, как бы взятых непосредственно из альбома Ломброзо; были иной раз курьезные литературно-политические археологи, силившиеся подыскать сентиментально-„историческое“ оправдание и возвести в культ деспотическую власть, но толку и истинной помощи абсолютизму от них всех было довольно мало. Все они наперебой, с уторопленной ретивостью, крали, лгали, убивали и думали, что этим задержат революцию или, еще лучше, уничтожат ее окончательно. Но Тюрго рядом с ними не было.

Тюрго был силен тем, что для него спасение абсолютизма было делом второстепенным, а делом первостепенным и, по его мнению, преддрешающим спасение абсолютизма — было уничтожение тех пут и препятствий, которые мешали правильному развитию новых экономических отношений. На самом деле социально-экономическое преобладание буржуазии неминуемо должно было привести и к политическому ее владычеству и, следовательно, к крушению абсолютизма, — но сделать менее болезненным процесс этот могла бы только мирная ликвидация старого гражданского права и старых пут, лежавших на экономической жизни страны, та ликвидация, первые шаги к которой сделал Тюрго в короткое свое министерство. Его сила, повторяем, была в постановке вопроса, в том, что он понял *непосредственные* требования жизни, предъявленные к абсолютизму, и попытался эти требования удовлетворить; а его слабость заключалась в том, что Тюрго, как и все физиократы, рассчитывал без хозяина, не принимая вовсе в расчет генетических свойств абсолютистского организма и полагая, что абсолютизм с требованиями жизни примирится и подчинится без предварительной пробы сил в борьбе.

Мы не полагаем, чтобы возможно было физиократической школе приписать, хоть в самом условном смысле, материалистическое истолкование истории; у этой школы вполне выработанной и определенной историко-философской системы вообще было бы напрасно искать. Но они до такой степени колоссальное, всеобуславливающее значение придавали постановке земледельческой культуры, так много

связывали с вопросом о землевладении, этой преобладавшей в тогдашней Франции форме капитала, так всецело строили всю свою систему на краеугольном камне святости частной собственности и ее охраны, — что иной раз чтение их трактатов может внушить мысль о близости их мышления к историко-материалистическому *методу*. Во всяком случае Тюрго, как и прочие физиократы, от последовательного применения этого метода были далеки; они знали, что нужно землевладельцам, но они упорно отказывались признавать реальность факта, стоявшего у них перед глазами: обособленности интересов абсолютизма от интересов растущего капитала и его представителей. Кучка людей, управлявшая Францией, бравшая себе и оделявшая своих слуг всем тем, что можно было взять и чем можно было одарить, эта кучка, жившая привилегиями и своим унаследованным исключительным положением, — не хотела и не могла расставаться с существующими порядками. Нельзя даже сказать, что абсолютизм был окружен всем дворянством и всем духовенством. Нет; это было бы не вполне точно. Революция показала даже, что очень многие члены сельского духовенства, как и многие члены дворянского сословия, были вовсе не на стороне абсолютизма. При дворе и от двора питались высшие аристократические роды, всеми богатствами церкви пользовались высшие духовные лица, абсолютизмом держалась рать высших административных лиц военного и гражданского ведомства, откупщики государственных налогов, наконец, просто мириады авантюристов обоего пола, получавших пенсии или еще только мечтающих получить таковые. Все это вместе составляло как бы отдельный класс, пополнявшийся представителями большей частью из двух высших сословий, но имевший, кроме общесословных, свои обособленные интересы. *Этот* класс твердо знал, что уж ему-то, — гибель от всякой серьезной попытки изменить порядок вещей. Это были из привилегированных привилегированные, абсолютизм для них был не только жандармоохранителем привилегий, как для общей массы дворянства и духовенства, но и непосредственным источником доходов, подателем средств к существованию. Для *этого* класса при-

мириться с реформами Тюрго было совершенно невысказано, и Тюрго, еще не приступая к деятельности, знал а priori, что борьба предстоит с этими людьми жесточайшая. Он только ошибся, полагая, что сможет их победить, и надеясь, что возможно будет направить абсолютизм против интересов того класса, который был с этим абсолютизмом связан многовековыми теснейшими материальными и моральными узами. Подобно всем физиократам, Тюрго мыслил абсолютизм в виде какого-то острого меча, которым свободно можно рассечь запутанные узлы социальной жизни: стоит только, чтобы какой-нибудь подходящий *l'homme de la vertu* (доблестный муж) взялся за рукоятку. Что это вовсе не так, что абсолютизм на самом деле превратился в своеобразную компанию на паях, эксплуатирующую экономические силы Франции, что абсолютизм уже не отделится от тех, которые около него питаются и из среды которых он вербует себе слуг и помощников, — это Тюрго окончательно узнал не в 1774 г., когда он вступал в должность, а в 1776 г., когда король отпустил его с неудовольствием. Искренняя фантазия или „условная басня“, по теории физиократов о мудрой монархии, не похожей, невзирая на свою неограниченность, на монархию „произвольную“, — эта теория физиократов, посредством которой они как бы давали урок и увещание французскому абсолютизму, владела и умом Тюрго, когда он начинал свою деятельность. Он отделял абсолютную монархию от той реальной почвы, на которой она высилась, и полагал, что ее с этой почвы сдвинуть, не разрушая, будет возможно. Монархия с этой почвы была сдвинута и разрушена — уже революцией, а план Тюрго остался невыполненным.

Тюрго, трезвый и методический Тюрго, в 1774 г. был еще мечтателем, носившим в своем воображении физиократическую сказку о мудрой монархии. Возвратясь от короля после того свидания, когда Людовик XVI вручил ему власть, Тюрго написал королю письмо, имеющее большой исторический интерес¹. В этом письме, написанном, как он призна-

¹ Lettre de Turgot au roi contenant ses idées générales sur le ministère des finances qui venait de lui être confié. Actes du ministère de Turgot Vol IV. P. 165—169

ется королю, в первом волнении после принятия своего многотрудного поста, Тюрго категорически заявляет о необходимости ввести строгую экономию и не расточать деньги в пользу тех, которые об этих милостях просят короля и вечно получают искомое.

Тюрго прямо называет это множество просьб „одним из величайших препятствий“ к экономии. „Нужно, государь, Вам вооружиться против Вашей доброты — Вашей же добротой; нужно рассмотреть, откуда приходят к Вам деньги, которые Вы можете раздавать Вашим придворным, нужно сравнить нищету тех, у которых приходится иногда эти деньги вырывать при помощи самых суровых мероприятий, — с положением лиц, предъявляющих больше всего прав на Ваши щедроты“. Тюрго знает, что он обидит огромную, могущественную и алчную толпу, кормящуюся около абсолютизма, и надеется при этом на... абсолютизм.

„Принимая должность, — пишет он королю в том же письме¹, — ... я чувствовал всю опасность, которой я подвергал себя. Я предвидел, что мне придется одному бороться против злоупотреблений всякого рода, против усилий тех, которые пользуются выгодами от этих злоупотреблений, против массы предрассудков, противящихся всякой реформе и являющихся столь могущественным средством в руках тех людей, которые заинтересованы в увековечении беспорядков. Мне придется бороться даже против природной доброты, против благородства Вашего Величества и лиц, наиболее Вам дорогих. Меня будут бояться, я буду ненавидим большей частью двора, всеми теми, кто хлопочет о милостях. На меня будут сваливать вину за все отказы, меня будут изображать суровым человеком, потому что я буду представлять Вашему Величеству, что Вы не должны обогащать даже тех, кого Вы любите, за счет народных средств“.

Так писал Тюрго в 1774 г. А в 1776 г. он уже был сломлен, и почти тотчас же главнейшие его реформы были взяты назад, и старые злоупотребления и хищения возобновились. Все попытки хоть немного справедливее разложить подати и

¹ Actes du ministère de Turgot. Vol. IV. P. 168.

повинности, уничтожить цехи, облегчить внутренний торговый обмен, все (первые только) приступы к осуществлению задуманного плана — превратить абсолютизм Бурбонов в мудрую „экономическую монархию“, о которой мечтали физиократы, — все это погибло после падения Тюрго почти всецело (за вычетом несущественных, непринципиальных частных); погибли и планы экономии в расходовании сумм на аристократических просителей. И впоследствии, в министерство Неккера, эти суммы расшвыривались еще шире и опрометчивее, чем даже при Людовике XV; когда же в 1781 г. пал и Неккер и воцарилась уже откровенная, ничем не прикрытая реакция, это расхищение народных денег стало практиковаться поистине в грандиозных размерах.

Новый класс — класс, которому суждено было будущее, который уже был силен экономически и должен был стать силен в политическом отношении, послал парламента — Тюрго — в стан абсолютизма. Сделка не состоялась; абсолютизм от всего старого строя жизни оказался неотделимым. Политическая часть теории физиократов оказалась легендой, утопическим вымыслом. И вся масса привилегированных, и особенно небольшой, но могущественный класс людей, кормившихся непосредственно при абсолютизме, — явились непреодолимыми для Тюрго врагами и победили его.

Как нами было отмечено еще в первой главе этого очерка, неизбежность политической революции массой общества, даже оппозиционной, вовсе не была понята ни после падения Тюрго, ни после отставки Неккера, ни в эпоху реакции 1780-х гг. И, тем не менее, революция стала на очереди дня. Абсолютизм загородил собой путь к разрушению старых феодальных пережитков, старого уклада жизни, — и этим самым принял на себя первые удары. Участь Тюрго и его реформ являлись наглядным доказательством всей тщеты и искусственности физиократических воззрений на абсолютизм. И понадобилось всего несколько лет, чтобы мысль о возможности употребить абсолютную власть короля себе на пользу сменилась у имущих кругов общества мыслью о непригодности и архаичности этой власти и сознанием необходимости за нее приняться и ее уничтожить. Эта мысль

распространялась постепенно, и только уже после созыва Генеральных штатов и явно выраженной королю тенденции стать на сторону привилегированных сословий — вопрос об уничтожении абсолютизма стал окончательно в центре общественного внимания, наряду с вопросом об уничтожении сословных привилегий.

IX

Если история Франции во второй половине XVIII в. показывает, что заинтересованные в реформе социально-правового строя имущие круги стремятся, насколько возможно, избежать конфликта с государственной властью и, напротив, чуть не до последней минуты надеются сделать эту власть орудием нужной им реформы, если, как уже было упомянуто, история Англии в XVII столетии показывает, что даже в разгаре революции имущие классы с опаской относились к уничтожению старого политического строя и всеми силами постарались его реставрировать, как только к этому представился случай, — то аналогичные факты дает нам история и иных западноевропейских стран. Буржуазия всюду в Западной Европе толкалась к политической революции как бы против воли, потому только, что абсолютизм явственно становился в положение защитника всех основ старого социально-юридического порядка и делал, таким образом, свое низвержение логической предпосылкой ко всякому маломальски существенному изменению общественного быта. История Пруссии и Австрии, например, дала в 1848 г. образец того, до какой степени именно эта сторона дела — *политическая часть* революции — беспокоит буржуазию в моменты острых кризисов: реакция 1850-х гг. слишком ясно показала, до каких размеров может дойти этот испуг имущих классов перед делом, которое они только что готовы были с гордостью называть делом рук своих, — перед низвержением абсолютизма, если только имущие круги видят на арене борьбы угрожающее присутствие еще и „третьих лиц“, т.е. пролетариата. При свете истории 1848—1849 гг. особенно ясной становится и психология лондонского Сити, ликовавшего по поводу гибели республики в 1660 г., и психология

физиократов, так убедительно и настойчиво предлагавших абсолютной монархии перейти на сторону их идей, — не утрачивая прерогатив своей неограниченности. Таковы факты. Психология их весьма проста и понятна: потрясение политической власти колебало все государственное здание, грозило долгой смутой, было чревато опасностями для существовавшего распределения имуществ. Миновать „чашу сию“, приспособить мирным путем правительственный организм к своим потребностям в коренной общественной реформе — вот что было всегда и всюду мечтой имущих классов в предреволюционный период; эта же психология обуславливала в серьезнейшей степени наступление политических реакций и реставраций в период послереволюционный.

В противоположность Франции *перед* 1789 г., буржуазия в России борется против абсолютизма не только потому, что он поддерживал „привилегированных“ и старые социально-юридические пережитки, а потому, что он сам по себе есть в ее глазах главное, коренное *экономическое бедствие*, от которого нищает внутренний рынок, утрачивается надежда на внешние, от которого стране грозит опасность попасть в экономическое рабство к иностранцам; вот почему буржуазия с абсолютизмом никак торговаться не могла бы, и никакие Тюрго наш абсолютизм даже и не тревожили своим появлением. В противоположность Пруссии и Австрии 1848—1849 гг., буржуазия в России благодаря несравненно большей интенсивности в современном международном соперничестве, благодаря гораздо большему развитию капитализма совершенно лишена возможности, не совершая своего рода классового самоубийства, мириться хотя бы временно с нынешним абсолютизмом и спасти его от уничтожения, ибо абсолютизм в том виде, как он еще силится удержаться, по существу своему есть полное отрицание всех тех условий, которые капиталистическому производству необходимы, как воздух. Мы только что сказали, что „роскошь“ сохранения абсолютизма капиталистическая страна теперь позволить себе уже не может; прибавим, что столь же теперь недоступна и роскошь десятилетней реакции и фактической реставрации абсолютизма, вроде германской или австрийской ре-

акции 1850-х гг. Предполагать, что, в конце концов, в дальнейшем развитии движения капиталистическая буржуазия не „предаст“ революцию и не встанет стеной перед стремлениями пролетариата, есть, конечно, социологический абсурд; но такой же социологический абсурд — предполагать, что это предательство совершится теперь и в пользу нынешнего абсолютизма. Капиталистическая буржуазия, быть может, и много рабочей крови прольет, но не в союзе с нынешним абсолютизмом, а в других комбинациях. Такова одна сторона дела, позволяющая утверждать, что кризис у нас еще далек от своего конца. Есть и другая сторона, на которой также нужно остановиться.

Французский абсолютизм, вплоть до своей гибели, аграрного вопроса решить не мог и не хотел; он погиб, не сделавши попытки привлечь на свою сторону крестьян уничтожением сеньориальных прав. Мало того. Даже первые, победоносные времена революции этот вопрос сразу не удалили, и, несмотря на якобы „великодушное“ и несколько театральное принесение привилегированными сословиями на алтарь отечества своих преимуществ в ночь на 4 августа 1789 г., крестьянству понадобилось много упорства и самостоятельности, чтобы фактически покончить с феодальными пережитками¹. Абсолютизм в Пруссии и Австрии в эпоху 1848 — 1849 гг. успел дать крестьянству ряд уступок, которые, облегчая юридическое и экономическое положение крестьян в серьезной степени, вдохнули в правительственный организм новые силы, и, вместе с испугом имущих классов перед пролетариатом, это обстоятельство чрезвычайно содействовало длительной реакции 1850-х гг. Что же может сделать русская бюрократия в нашем аграрном вопросе?

Центр тяжести нашего аграрного вопроса в малоземелье или безземелье крестьян, — и в этом главное несчастье правительства. Капитал возможных для него уступок уже истощился в 1861 г. Реформа 19 февраля, действительно, подкре-

¹ Cp. Jaurès J. *Histoire de la Constituante*. Vol I. P 759. „... sans la tenacité profonde du paysan, la féodalité durerait peut-être encore en partie malgré l'éblouissante nuit du 4 Août. L'expropriation de la féodalité s'est faite par morceaux même en pleine période révolutionnaire“.

пила, выражаясь словами Герцена, „подкладкой пугачевского кафтана“ такое одеяние, которое бюрократия в целом виде долго бы уже не проносила. Это была прежде всего и больше всего (рассматривая дело с точки зрения абсолютизма) умная и своевременная реформа. Умная, потому что абсолютизм в данном случае решил посторониться, решил не принимать на свою грудь ударов неизбежной классовой войны, мало того, решил вообще эту войну сделать на известное время ненужной — единственным средством, которое являлось целесообразным. Своевременная, потому что абсолютизм принял за эту реформу, когда он сам, несмотря на Крымскую войну, вовсе еще не был затравлен, когда он еще имел под собой крепкую почву, когда соотношение общественных сил делало его господство непоколебимо сильным и полным. Была предотвращена возможность в близком будущем крестьянской революции (освобождение „снизу“, как выразился Александр II в речи к московскому дворянству), правовое положение самого многочисленного слоя населения было приведено в соответствие с требованиями все более развивавшейся промышленной жизни, прежде всего с требованием на свободный труд, на рабочие руки, — и абсолютизм на долгие десятилетия оказался обеспеченным в своем существовании. Но что же мог он дать крестьянам теперь, когда для них речь шла не только об устранении еще остающихся юридических пут, а прежде всего и больше всего о земле, о том или ином изъятии земель от помещиков, о более или менее насильственном, принудительном отчуждении частной земельной собственности? Разве правящая бюрократия не являлась собранием крупных земельных собственников? Разве крестьянам нужно еще знакомиться с подсчетами г-на Рубакина, математически это доказывающими, и с другими данными в этом роде, разве они это не чувствовали по злобной и отчаянной обороне, которая противостояла всем их попыткам найти выход из заколдованного круга? Разве самодержавнейшую власть, являвшуюся мечом и щитом крупного землевладельческого класса, не окружал и не поддерживал всеми силами этот класс, и разве неверно рассчитывала бюрократия, что если и

этот класс от нее отойдет, то она останется окончательно одинокой? Она не могла приняться за добровольную экспроприацию себя самой и всего своего класса, и притом за экспроприацию в тех размерах, которые мало-мальски серьезно удовлетворили бы крестьянский голод по земле, даже если бы по каким-нибудь расчетам это сулило бы ей продление ее власти. Ибо ей больше власть была нужна для удержания земли, нежели земля для удержания власти, а кроме того, уже крестьянские депутаты в 1-й и 2-й Думе заявляли, что им, кроме земли, нужна „воля“ и нужны права, хотя бы уже затем, чтобы эту будущую землю за собой закрепить. Значит, и в неминуемой все-таки борьбе за власть между самодержавной властью, с одной стороны, и неудовлетворенной буржуазией и городским пролетариатом, с другой стороны, власть, *даже* решившись на экспроприацию своих земель и земель своих близких, все-таки могла очень сильно ошибиться, рассчитывая, что крестьянство непременно будет на ее стороне. Взвесив все, она и не уступила. Логика истории с фатальной неизбежностью давала классовым стремлениям крестьянства, как и классовым интересам буржуазии, одно направление, один вид: направление, враждебное фактически господствующему еще правительству, вид борьбы за уничтожение старого политического строя. И та же логика истории не позволяла этому политическому строю предпринять с надеждой на успех те шаги, которые создали бы настоящую и мало-мальски длительную общественную реакцию.

Чем больше зажился на свете абсолютизм, чем развитее капиталистическое хозяйство в той стране и в ту эпоху, где и когда ему доводится погибать, тем быстрее протекает процесс преобразования классовой борьбы в борьбу против абсолютного строя. Широкий успех доктрины, вроде физиократической, был бы немыслим ни в Средней Европе перед 1848 г., ни, тем менее, в России перед 1905 г. После только что сказанного это понятно. В атмосфере капитализма жизнь течет шумнее и быстрее, и все приобретает, как будто в увеличительном стекле, отчетливые формы и грандиозные размеры. Абсолютизм, как экономическое бедствие, перед 1848 г., разглядели и оценили быстрее, нежели перед 1789-м,

а перед 1905 г. — быстрее, нежели перед 1848 г. Мы говорили до сих пор об имущих классах в Западной Европе и России и коснулись также крестьянства. Обратимся теперь к городскому пролетариату.

Х

Никогда не существовало класса, который так скоро, почти непосредственно после выступления своего на историческую арену, связывал бы борьбу за свои классовые интересы с борьбой за политическую власть, как класс рабочий, такой, каким создал его современный капитализм. Это обстоятельство давно уже было отмечено и вызвало ряд яростных комментариев, особенно в первые три четверти XIX в., когда даже в так называемой научной литературе принято было, говоря о рабочих и социализме, делать преувеличения и пугать читателя указаниями на грядущее уничтожение культуры и т.д. В особенно острые моменты, например, после июньских дней 1848 г. или после Коммуны 1871 г., это становилось на некоторое время прямо правилом хорошего литературного тона. В лучшем случае, распространялись о сумасшествии, эпидемически овладевающим рабочими вследствие скученности и нездоровой жизни и т.п., и этим сумасшествием объясняли отчаянные попытки рабочих масс. Что ж, по поводу этого курьеза можно только вспомнить слова, повторяемые Сигеле вслед за Сеттембрини: „Во всякой революции нужны сумасшедшие и разумные, как во всех великих делах нужны смелость и благоразумие; но вначале всегда нужны сумасшедшие“¹. Эти периодические „сумасшествия“, овладевающие рабочим классом, были ли они „нужны“? Социологический метод требует, чтобы прежде всего был поставлен вопрос не о том, „нужно“ ли для чего-либо известное явление, а чем оно вызывается.

Мы говорили, что буржуазия давала своим классовым стремлениям форму борьбы за политическую власть, после

¹ Sighele S. *La delinquenza settaria* P 84 „Ma in ogni rivoluzione ei vogliono i pazzi e i sagi, come in tutte le cose grandi ci vuole l'ardire il sonno, al cominciare però, ci vogliono sempre i pazzi“.

того, как убеждалась в невозможности приспособить уже существующую политическую власть к своим нуждам; что при этом, чем выше бывал уровень капиталистического развития страны, тем скорее это убеждение среди буржуазии появлялось и превращалось в *idée-force* (господствующую идею). Но это свойство превращения классовой борьбы в политическую наблюдается в истории решительно всех классов, вообще игравших хоть какую-нибудь историческую роль. „Уже это свидетельство истории, — читаем мы по этому поводу у одного из знатоков психологии классовой борьбы¹, — должно было бы predispose нас к той мысли, что не ошибочная теория, а верный практический инстинкт лежит в основе политических тенденций различных общественных классов. Если, несмотря на полное несходство в других отношениях, все классы, ведущие сознательную борьбу со своими противниками, начинают на известной стадии своего развития стремиться обеспечить себе политическое влияние, а затем и господство, то ясно, что политический строй общества представляет собой далеко не безразличное условие для их развития. А если мы видим, кроме того, что ни один класс, добившийся политического господства, не имеет причин раскаиваться в своем интересе к „политике“, если, напротив, каждый из них достигал высшей, кульминационной точки своего развития лишь после того, как он приобретал политическое господство, то мы должны признать, что политическая борьба представляет собой такое средство социального переустройства, годность которого доказана историей. Всякое учение, противоречащее этой исторической индукции, лишается значительной доли убедительности, и если бы современный социализм действительно осуждал политические стремления рабочего класса, как нецелесообразные, то уже по одному этому он не мог бы называться научным“.

Рабочий класс и не составил исключения и, подобно всем другим классам, сознав себя, устремился на борьбу за политическое влияние. Но, как уже было сказано, в отличие

¹ Плеханов Г.В. *Социализм и политическая борьба*. СПб., 1906. С. 3.

от буржуазии, у рабочего класса первые же моменты пробуждения классового самосознания сопровождались выступлением на поприще политической борьбы. В частности, там, где их проснувшееся самосознание заставляло еще абсолютизм, революционное развитие рабочих совершалось поистине гигантскими шагами. Характерно, что абсолютизм в эпохи, даже самые далекие от настоящего политического выступления рабочих, начинал их инстинктивно подозревать, бояться и ненавидеть. Французское правительство в течение всего XVIII в., свирепствуя при сборе податей в деревнях, разоряя жесточайшим образом целые деревни для удовлетворения фиска, избегало чинить эти притеснения и неистовства в городских рабочих кварталах, где жили пролетарии, составлявшие ту же податную массу, что и крестьяне. Уйти в город и там поселиться означало для крестьянства в очень серьезной степени укрыться от агентов фиска. Боясь обращаться с рабочими вполне так, как с крестьянами, старый режим пробовал весьма аляповато бороться со злом, стараясь по мере сил ограничивать разными искусственными мероприятиями рост рабочего населения городов, мешая росту промышленных заведений (вроде, например, запрещения фабрикам употреблять более известного количества топлива и т.д.). Хотя рабочие ассоциации были и редки, но скопление рабочих в одном и том же месте — за работой — позволяло им сговариваться относительно защиты своих интересов¹, а это-то и казалось „опасным“, несмотря на то, что речь шла тогда исключительно об отстаивании интересов экономических и что ни о каком мало-мальски отчетливом классовом сознании рабочих не было и помину. Так же рано начинал бояться и подозревать рабочих абсолютизм и в других местах. При Николае I, например, некоторые правительственные лица (вроде Канкрин) весьма неблагосклонным оком взирали на еще только зародившийся, в сущности, русский рабочий класс. Инстинкт их не обманывал, если не относительно настоящего, то относительно будущего; абсолютизм и сильный рабочий класс суть вещи несовместимые,

¹ Cp.: Martin G. *Lois, édits, arrêts et règlements sur les associations ouvrières au XVIII siècle*. Paris, 1900. P. 86.

„сесі tuera cela“ (это убьет то) можно сказать о них. Несовместимые прежде всего потому, что многочисленный рабочий класс логически предполагает существование крупного капиталистического производства, которое уже само по себе требует для нормального и свободного своего развития более усовершенствованного аппарата, нежели представляемый абсолютизмом; но несовместимы абсолютизм и многочисленный рабочий класс еще и потому, что для борьбы за свои насущнейшие классовые интересы рабочие самым гнетущим образом нуждаются в правовом строе, в известной степени политической свободы. Буржуазия *всегда* — и во Франции, и в германских государствах, и в России — имела возможность и при абсолютизме оказывать известное давление на власть своим экономическим могуществом и значением в государстве; и как ни было слабо это давление, оно все-таки существовало; рабочие же при абсолютизме связаны по рукам и ногам, и для них вплоть до свержения абсолютизма не существует и не может существовать ни малейшей надежды на прочное улучшение своего положения, на *возможность* какой бы то ни было систематической борьбы за свои интересы. Вот почему свержение абсолютизма так быстро становится всегда у них очередной задачей. Их классовая борьба переходит в политическую, повторяем, быстрее, нежели борьба буржуазии, и особенно там, где их самосознание проснулось при абсолютизме. Они никогда и нигде не шли к абсолютной власти с предложением компромисса, ибо слишком уж отчетливо била в глаза логическая несовместимость абсолютизма с их стремлениями, — а власть сама шла к ним с подкупом и заманиванием, не понимая всей тщеты своих мечтаний о сделке. Вот почему для попыток компромисса между буржуазией и абсолютизмом характерны физиократы и Тюрго, а для попыток компромисса между абсолютизмом и рабочими характерны покойный подполковник Судейкин и статский советник Зубатов.

Абсолютизм перед гибелью бывает склонен к мечтаниям и утопиям, особенно если исторические обстоятельства дают ему для этого достаточно времени. И все эти утопии, обыкновенно, основываются на вере в возможность пере-

хитрить и обмануть, купить и перепродать. Но перехитрить чужой голод, не давая хлеба, обмануть чужие раны, чтоб они не болели, купить, ничего не давая, — все это возможно на бумаге за номером, подаваемой в виде проекта одним политическим авантюристом другому политическому авантюристу, — и все это до бессмыслицы невозможно в действительности. Это абсолютизму никогда не удавалось, хоть и удавалось ему на его веку очень многое, на первый взгляд, затруднительное: удалось же ему приспособить к себе, например, христианскую церковь. „Не Константин был обращен в христианство, но христианство было испорчено Константином“, — читаем характерную фразу у одного современного ученого¹. Но если Константину нужно было христианское общество начала IV в., то и сам Константин, т.е., точнее, римский государственный организм, был очень нужен и важен для руководящих кругов христианских общин. Принцип „do ut des“ (даю, чтобы ты дал) был тут соблюден, обе стороны остались довольны, обратная же сторона дела — борьба с возникшими сектами, не желавшими мириться с господствующей церковью, — не перевешивала для обеих сторон выгод достигнутого соглашения. Но что может дать погибший абсолютизм рабочему классу, которому устранение абсолютизма нужнее и полезнее всех его даров? Он не может дать рабочим даже того законодательства о рабочем труде, которое дала бисмарковская Германия, — страна, где правительство сумело согласиться с имущими классами на скупой, но ни разу не нарушенной конституции и сплотить империю всеобщим избирательным правом. Даже такая скромная социальная работа на пользу рабочих (хоть и из корыстных видов) под силу только крепкому правительству, а не погибающему. Погибающее же все больше надеется на „идеологию“, на свои словесные внушения и демагогическую агитацию, но никак не на реальное исполнение хотя бы части обещанного. Все эти старания, конечно, не приводят ни к чему, кроме разве ускорения политического воспитания и развития рабочих: ибо абсолютизм этими своими похода-

¹ Kelly E. Government or human evolution. New-York. P. 49.

ми окончательно себя обнажает, и подобная рекомендация самого себя со стороны абсолютизма иногда бывает для малокультурной части рабочей массы довольно полезна, так как нагляднее всякой пропаганды иллюстрирует всю нелепость каких бы то ни было надежд на эту форму правления.

Соглашение с рабочими для абсолютизма *социологически невозможно*: не понимает же он этого потому, что ко времени своей гибели вообще он многое перестает понимать. „Виг *может* быть дураком, а тори *должен* быть таким“, — сказал английский остроумец в XVIII в.¹ Он хотел этим выразить, что позиция и принципы, на которых стояли и которые отстаивали тори, в его время уже не могли привлечь к себе умного человека. Вернее не это, вернее то, что отжившие свой век принципы внутренне бессильны использовать полностью ум тех умных людей, которые по разным соображениям хотели бы этим принципам послужить. Вот почему умные люди, попадавшие еще в кадрах служителей абсолютизма перед его падением, говорили и делали так много неумных вещей. К числу этих вещей и принадлежат опыты с рабочими.

XI

Итак, и у имущих классов, и у неимущих — классовая борьба неизменно переходит рано или поздно — у первых позже, у вторых раньше — в борьбу политическую, и едва ли какая-нибудь иная форма правления оказывалась способна так быстро и естественно создавать в моменты кризиса враждебную себе кооперацию нескольких классов, как именно абсолютизм. Он, по сущности, по идее своей отрицает всякую динамику, всякое движение, всякую эволюцию в истории. Всякую пуговицу всякого камер-лакейского фрака он склонен провозглашать незыблемой, исконной, непоколебимой и т.д. Он возводит себя не только в закон истории, но и в нечто „высшее“, в закон природы, не подлежащий упразднению или изменению. Когда мы вспоминаем, что

¹ „A whig may be a fool, a tory must be so“. Из письма Уолпола к Уильяму Мессону // *Lettres of Horace Walpole*. Oxford, 1904. Vol. X. P. 273.

управляющий делами печати Михаил Лонгинов воспретил было Дарвина и дарвинизм, то должны признать, что этот поступок, несмотря на всю нелепость свою, а точнее, благодаря своей нелепости является в высшей степени „символическим“: *идея* эволюции с *идеей* абсолютизма совершенно непримирима¹.

Это обстоятельство, как и другие умственные привычки абсолютизма, конечно, есть факт второстепенный сравнительно с социологической возможностью для абсолютизма удовлетворить требованиям времени иначе, как самоустранением, и сравнительно с огромной трудностью для него добровольно совершить это дело (о чем у нас шла речь в первом очерке). Но эти умственные привычки тоже накладывали, обыкновенно, свою характерную печать на предсмертные поступки и слова абсолютизма. Французский абсолютизм, созывающий Генеральные штаты в 1789 г., полагающий, что и они будут действовать в рамках и формах доброго старого времени; Фридрих Вильгельм IV, заявляющий в 1847 г., что он никогда не позволит, чтобы исписанный лист бумаги (т.е. конституционный акт) стал между ним и его народом; Меттерних, пишущий о себе самом, что добро победило зло, и революционная гидра навсегда уничтожена, и что в потомстве достойные люди высоко оценят работу австрийского канцлера; министры Франциска II Неаполитанского, говорящие иностранным посланникам в 1859 г., за несколько месяцев до того, как Гарибальди навсегда выгнал вон из королевства и Франциска, и всех его слуг²: „нужно начинать с давления, чтобы заставить уважать власть“, — все эти и им подобные люди отчасти оттого и произносили и делали так много самых жалких нелепостей перед самым концом своей системы, что эта система приучила их смотреть на себя как на носителей вечного (и чуть ли не предвечного) начала в жизни человеческих обществ. Вся пышная, часто нелепая, всегда смешная словесность,

¹ Этот „символизм“ создан сам собой. Дарвин должен был страдать лишь за „антирелигиозность“

² „Il faut commencer par reprimer pour faire respecter l'autorité“. Rey R. *Histoire de la renaissance politique de l'Italie*. Paris, 1864. P. 421.

пускавшаяся в ход погибавшим абсолютизмом, в очень значительной мере была основана на этой привычке считать себя категорией вечной. И когда темп эволюции ускоряется, абсолютизм, в конечном счете, вступает в коалицию со всеми классами, которые вообще с исторической эволюцией хотят так или иначе считаться.

Свержение абсолютизма становится очередной задачей всех тех, кто желает получить возможность осмыслить громогласящие факты, перевести язык стихии на членораздельную человеческую речь. И все классы, кроме того или тех, которые чувствуют, что историческая эволюция сметает их прочь вместе с их интересами и былыми выгодами, начинают в такой момент понимать, что абсолютизм превратился в социальное бедствие, от которого необходимо избавиться прежде всего. Если имущие классы приходят к этому заключению не так скоро после пробуждения классового самосознания, как рабочий пролетариат, то абсолютизму от этого не легче: враждебная против абсолютизма коалиция классов все же образуется и решает его судьбу. Во Франции пролетариат достиг известной высоты классового сознания лишь в XIX в., когда абсолютизм уже был низвержен, но уже в эпоху Великой революции, еще не вполне осмысливая обособленность своих интересов, он помогал весьма деятельно буржуазии в ее победоносной борьбе; в Германии и Австрии в 1848 г., в России в 1905 г. буржуазия после долгого периода развития самосознания, рабочий пролетариат, после очень и очень короткого, — вступили в коалицию с абсолютизмом и до известного момента, до формальной капитуляции врага, шли вместе. Затем в германских государствах и в Австрии капитуляция фактическая несколько замедлилась и завершилась позже, осложненная внешними войнами, удачными для Пруссии, неудачными для Австрии, но и в том, и в другом случае посодествовавшими окончательному упразднению бывшего абсолютизма в средней Европе. У нас фактическая капитуляция тоже замедлилась, и тоже в известной, хотя и более слабой, степени по той же причине, как в Пруссии, так и в Австрии в 1848 г.: вследствие опасений и колебаний имущих классов, убоявшихся усиления рабочего пролета-

риата; были у нас и иные причины, анализ которых был бы тут пока не к месту. Что самое предположение, будто эта фактическая капитуляция может совсем не воспоследовать, есть социологический абсурд, что даже *продолжительность* замедления этой капитуляции у нас ни в каком случае не могла быть такой, как в 1849—1859 гг. в средней Европе и что этому прежде всего противоречит более высокая степень капиталистического развития России, — обо всем этом было уже сказано.

У нас, как и везде, классовая борьба приняла форму борьбы политической и направилась против абсолютизма; у нас, как и во Франции, в государствах средней Европы, державах Апеннинского полуострова перед объединением — абсолютизм на добровольное самоустранение не пошел и вызвал революцию. Но нигде абсолютизм не оказал такого отчаянного, яростного сопротивления наступившей у него революции, как у нас в 1905 г. и следующих годах. После всего сказанного в предшествующих двух очерках незачем повторять, что эта разница обуславливается вовсе не какими-либо психологическими особенностями нашего абсолютизма сравнительно с абсолютизмом в других странах, а прежде всего неизмеримо лучшей „боевой готовностью“, обилием и совершенством технических средств к самозащите. Нигде и никогда борьба государственно-самостоятельного народа против своего правительства до такой степени не напоминала восстания какой-либо покоренной страны против чужеземных завоевателей, как борьба России против абсолютизма.

Но вопрос этот — о средствах абсолютизма к самозащите, вместе с другими связанными с ним вопросами, — уже выходит из рамок настоящей главы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Самозащита абсолютизма

I

В предшествующем изложении мы видели, что классовая борьба, переходя неизбежно в борьбу политическую, направляется против абсолютизма, что абсолютизм более всякой иной формы правления способен создать враждебную себе кооперацию классов и довести кризис до революционного взрыва. Мы имели также случай указать, что для абсолютизма в финальный момент его существования особенно характерно стремление перевести дело поскорее на язык пушек и ружей, — там, где это еще для него возможно. Теперь нам нужно коснуться вопроса о том, каким образом, в конечном счете, пушки и ружья переставали иногда стрелять во врагов абсолютизма и окончательно решали этим его участь.

Австрия — почти, а Пруссия совершенно не знала момента колебания воинской „преданности“ престолу в 1848—1849 гг.; в предшествующих очерках мы уже говорили, что страшный удар, понесенный абсолютизмом в 1848 г., повлек за собой его смерть не сразу, а лишь в шестидесятых годах, причем эта окончательная его гибель была осложнена массой разнородных обстоятельств (прежде всего — внешними войнами). В этих странах переход к конституционализму совершался постепенно, с долгими перерывами без возобновления революционных вспышек, а не в процессе единой длительной революции, как это происходило в конце XVIII в. во Франции и происходит в настоящее время в России, — и в обеих странах, как в Австрии, так и в Пруссии, верность войск абсолютизму не подвергалась мало-мальски

длительному искусству. И в Пруссии, и в Австрии революционная вспышка 1848 г. была, вне всякого сравнения, слабее и мимолетнее, нежели во Франции 1789 г. или в России 1905—1906 гг., и хотя эта вспышка ясно показала, что абсолютизм себя изжил, но и Гогенцоллернам, и Габсбургам удовлетворение части крестьянства, испуг буржуазии перед „красным призраком“, и слабость и неорганизованность пролетариата дали отсрочку и передышку, чем обе династии и воспользовались. Ценой отказа от абсолютизма, конечно, тоже не „добровольного“, и уже *после* революционных вспышек¹, — они не только спасли себя от гибели, но и укрепились на престоле, — приспособившись к нуждам развившегося капитализма и его политическим потребностям. Во Франции же и в России революция сразу приняла огромные размеры и уже не прерывалась, пока абсолютизм от себя не отрекся, — во Франции *de jure* и *de facto*, в России — пока только *de jure* (причем, и процесс революционный у нас еще не кончен). Поэтому на истории Франции и России удобнее можно наблюдать, как борется абсолютизм за собственное существование там, где он предоставлен своей участи, где на близкое исчезновение вражеского лагеря надежд основательных у него нет, где революция душит его мертвой хваткой и где, значит, ему остается защищаться всеми остающимися в его руках физическими силами.

Весной 1906 г. один французский военный авторитет, пишущий под псевдонимом „Bernet“ (Берне) в газете „Temps“ („Тан“), заявлял, что революция может достигнуть победы лишь там, где армия не против нее, — и, в этом смысле, приписывал победы Французской революции чуть ли не больше всего поведению французской армии в ту эпоху, а поражение русской революции в конце 1905 г. — поведению русской армии. Так ли это?

Нет спора, что революционный порыв России в 1905—1906 гг. не был много слабее революционного порыва во Франции в 1789 г.; нет спора, что самое требование уничтожения абсолютизма ставилось перед 1905 г. несравненно

¹ Хотя и не непосредственно после этих вспышек.

отчетливее и решительнее, нежели перед 1789 г.; и если фактическая капитуляция абсолютизма во Франции произошла через каких-нибудь несколько недель после начала революции, а у нас ее еще не было налицо к собранию 2-й Думы, т.е. спустя два года после начала почти непрерывных кровопролитий, — то, значит, разница обусловлена неодинаковостью сопротивления, встреченного революцией в 1905 г. и в 1789 г. В *этом* смысле, в смысле продления или ускорения кризиса, неодинаковое поведение армии в том и другом случае, бесспорно, сыграло решающую роль. Но если мы хоть на минуту припишем армии роль решающего судьи вообще в деле самого исхода революции, роль Иисуса Навина, останавливающего время, поворачивающего историческую эволюцию в другую сторону, — тогда мы обнаружим не историческое понимание, а склонность к историческому фетишизму, — и ту лень мысли, которая заставляет людей прятаться за слова, чтобы не объяснять себе явлений. А именно это и делает Bernet, не доводя до логического конца свои рассуждения.

Почему поведение французской и русской армий в соответственные моменты истории обеих стран было неодинаково? Едва мы зададим себе этот вопрос, как уже сделаем шаг вперед в понимании событий, ибо это понимание всегда будет скрыто от нас за семью печатями, если мы удовольствуемся словами: „армия была за“, „армия была против“, „армия действовала вяло“, „армия действовала лихо“ и т.д. Армия в истории нигде не была „беззаконной кометой в кругу расчисленных светил“, и ее поведение социологически так же уследимо, как поведение других больших общественных групп. „Cent mille hommes et la loi martiale“ (Сто тысяч человек и военное положение), — вот какой рецепт давала Екатерина II для уничтожения Французской революции, забывая, что „сто тысяч человек для подавления революции“ не выкопаешь в 1791—1793 гг. из-под той самой земли, которая не дала их королю в наиболее нужный для него момент, — весной и летом 1789 г., и что „военное положение“ может легко прийти в голову, когда сидишь в качестве государыни в Зимнем дворце, а не в качестве пленника в Тюильри или Тампле. Никаких мускулов Алексея Орлова не

хватило бы для удушения Конвента, и свирепейшие усмирители Пугачева не усмирили бы революцию, — вот о чем слишком часто забывали в Петербурге и тогда, и впоследствии.

„Сто тысяч“, „военное положение“ — вот альфа и омега мудрости абсолютизма в борьбе с революцией, и чуть первых не оказывается, а второе невозможно, — так и приходит гибель.

Французский король имел в момент начала революции в своем полном (*de jure*) распоряжении даже не сто, а полтораста тысяч человек (на бумаге было еще больше — 182 тыс., но войсковые части никогда не были в законном комплекте); кроме этих 150 тыс., у короля для несения внутренней службы было 120 тыс. человек провинциальной милиции, т.е. войско, которое было вооружено и обучено хоть и хуже линейных войск, но лучше революционных народных масс. И вся эта сила выдала головой своего повелителя надвинувшейся революции и даже не сделала мало-мальски существенных попыток задержать или отсрочить гибель старого строя. Таков бесспорный факт: революция победила абсолютизм, не наткнувшись ни разу на сопротивление, сколько-нибудь значительное, со стороны вооруженных сил, которыми еще располагал в начале 1789 г. старый режим.

Случилось это прежде всего потому, что армия отражала в себе всю ту глубокую и непримиримую классовую рознь, ту закоренелую ненависть непривилегированных к привилегированным, которая составляла душу революции 1789 г. Для солдат и унтер-офицеров доступ к офицерским чинам был окончательно закрыт еще с 1781 г., когда королевским указом повелено было требовать от всякого аспиранта, желающего попасть в офицеры, прежде всего доказательства, что уже за четыре поколения предки его принадлежали к дворянскому сословию. Этот указ резкой и непродоходимой гранью делил армию на две части: привилегированную, которой доставались все почести и материальные выгоды, и непривилегированную, которая должна была подчиняться, терпеть, голодать и холодать, не мечтая даже об улучшении своей участи. Но и привилегированная часть,

комплектовавшаяся исключительно из дворянского сословия, была проникнута далеко не однородным настроением. Генералитет и вообще высшие места пополнялись обыкновенно из рядов высшей придворной знати. Эти аристократы в военном деле смыслили в подавляющем большинстве случаев весьма мало, занимались охотой, придворными развлечениями, поездками на потсдамские маневры в Пруссию и на лошадиные скачки в Англию (то и другое требовалось хорошим тоном их круга) и во вверенных им частях появлялись крайне редко, в виде случайных гостей, со своей особой штатской свитой лакеев, дворецких, поваров и т.п., — появлялись только мимолетно, чтобы снова надолго исчезнуть. Король Людовик XVI пытался бороться с невероятной распущенностью военной золотой молодежи, но и в этом намерении не преуспел. Один из историков французских военных установлений прямо утверждает, что первые посягательства против дисциплины, первые примеры неповиновения произошли именно из этого высшего слоя армии¹. От начальников систематический абсентеизм переходил и распространялся среди офицерства, не столь щедро взысканного судьбой и составлявшего менее знатную категорию военного дворянства: те, которые имели материальную возможность, также старались при первом удобном случае отлучиться от полка. В подавляющем большинстве офицерские должности покупались (имевшими вышеозначенные генеалогические права) за деньги, причем, по стародавнему обычаю, еще со времен Людовика XVI утвердившемуся, — когда правительству нужны были деньги и их неоткуда было непосредственно получить, — создавались и в военном (как и в гражданском) ведомстве новые и новые совершенно ненужные должности для продажи. На полтора-два тысяч человек солдат приходилось больше одиннадцати с половиной тысяч офицеров (собственно — 11 672, т.е. по одному офицеру приходилось на каждых 13 солдат)². Офицерская масса завидовала высшей

¹ См. Sainte Chapelle. L'armée et la patrie ou Histoire générale des institutions militaires de la France pendant la révolution V I P 9

² Blume W. *Die Armée und die Revolution in Frankreich von 1789—1793*. Brandenburg, 1863. S. 13.

военной аристократии и ненавидела ее за слишком быструю и легкую карьеру, за то, что аристократы никакого дела не делали, в полку не бывали, а между тем заполняли лучшие места, но эти чувства все-таки не могли сблизить офицерскую массу с подчиненной ей непривилегированной частью армии. Унтер-офицеры, навсегда и безнадежно отделенные от офицеров указом 1781 г., были поставлены в такое положение, что для них мечта об избавлении от жизни впроголодь, мечта о повышении логически должна была сопрягаться с мечтой о крушении всего существовавшего режима, основанного на привилегиях рождения и на неравенстве. А в настоящем жизнь их сулила им мало радости. Капралы, сержанты и сержант-майоры (за вычетом 3—4 должностей в полку) получали от 9 до 14 су в день, тогда как рабочие на фабриках получали тогда нередко 20—30 су в день. Работа на них вваливалась тяжелая, уже вследствие систематического безделья среди офицеров, обращение же с ними было немногим лучше, нежели с простыми солдатами. Что касается солдат, то их положение было еще хуже и безнадежнее. Вербовались солдаты отчасти из крестьян, отчасти из отбросов городского населения, которым некуда было деться и которые решили поэтому закабалить себя на восемь лет за 80 франков единовременного вознаграждения при поступлении на службу и за 7—8 су ежедневного жалованья. Это была голодная и беспорядочная жизнь, с вечными побоями, ибо телесные наказания составляли душу дисциплины, с постоянным попиранием человеческого достоинства, без всякого просвета в будущем. Для них еще больше, нежели для унтер-офицерского состава, революция явилась избавлением и счастьем. Таков был состав всей французской армии, поделенной классовыми перегородками, разъединенной противоположными интересами. Она решительно не могла стать „опорой трона“, когда трон в ней ощутил надобность; но были еще обстоятельства, которые способствовали особенно быстрому разложению этой армии, распадению ее и сведению к нулю ее силы перед лицом надвинувшейся революции.

Ибо сказать, что солдаты и унтер-офицеры страдали, а офицеры отличались невежеством и бездельем, друг другу завидовали, и высшие из них почти вовсе не бывали в полку и ничего о полке не знали, сказать все это — значит указать на коренные причины, способствовавшие беспрепятственной передаче революционного настроения из недр народа в войсковую массу, но вместе с тем нужно кое-что добавить, так как всего этого недостаточно, чтобы объяснить столь *быстрое* разложение армии перед лицом революции, как то, что произошло в 1789 г. Тут действовали и еще чрезвычайно важные причины. Французскому абсолютизму никогда не удавалось сделать то, что долго удавалось делать абсолютизму русскому: прочно загипнотизировать если не всю армию, то хоть избранную часть ее личной близостью к власти, лучшим материальным положением хоть этой избранной части, сравнительно с состоянием всей народной массы, наконец, — и это не менее важно, — французский абсолютизм и приблизительно не предвидел своей участи, не взвешивал опасности и не сделал даже попытки на первые же революционные проявления ответить *систематической* вооруженной борьбой, ибо нельзя назвать такой попыткой призыв к оружию 23 июня, сделанный помимо короля и не поддержанный никем. Конечно, он скоро спохватился, но этот первый момент нерешительности окончательно разложил военную силу и уже сделал ее неспособной для той роли, которую двор страстно хотел бы навязать армии ко времени взятия Бастилии и после этого события. Разумеется, если бы в июне и июле 1789 г. какой-нибудь еще оставшийся за правительством полк и стрелял бы даже усиленно в народ, абсолютизм все равно спасен бы не был, но армия в его руках, вероятно, еще на некоторое время осталась бы, как об этом справедливо писали некоторые наблюдатели. Ибо в революционную эпоху армия должна была без перерыва убивать революционеров, чтобы самой не перейти к революции: середины тут нет и быть не может. Только обособляя армию от нации активной вооруженной борьбой, только отъединяя

войско в военный лагерь, стоящий среди чужой враждебной страны, только оглушая солдат пушками, из которых им же самим приказывают стрелять, правительство, застигнутое революцией и не желающее сразу сдаваться, может (на короткий, правда, исторический миг) отсрочить свою гибель. Французский абсолютизм, подобно русскому, желал оружием себя спасти, когда понял, что дело идет о его жизни и смерти, но в то время как русский был *подготовлен к решимости* в деле самообороны всей долгой предшествовавшей борьбой, абсолютизм французский все еще вплоть до взятия Бастилии ясно *не понимал*, что вокруг него творится, и не решался, а когда сообразил и решился, то армии у него уже не было, — она, и без того враждебная старому строю, растаяла в момент колебаний. И пришлось ограничиваться скрежетом зубным, собиранием волонтеров-эмигрантов в Кобленце, мольбой о присылке армий чужих, иностранных, ибо своей уже не существовало. Русский абсолютизм, собственно, ни одной минуты не колебался, но он попытался только осенью 1905 г. несколько меньше стрелять, нежели это необходимо для удержания (хотя бы на время) за собой стреляющих, — и по всей России прокатилась небывалая волна военных бунтов. Но когда абсолютизм с декабря 1905 г. стал усиленно вознаграждать себя за момент воздержания, бунты эти прекратились, и начавшееся было разложение армии приостановилось, чтобы возобновиться в мае 1906 г., когда стрельбы стало чуть-чуть меньше, нежели было в декабре, январе и феврале. Эта необходимость стрельбы для абсолютизма погибающего есть необходимость не „стратегическая“, а социологическая. *Нужно* стрелять — в людей, в пень, в карету Красного Креста, в типографию Сытина, во что угодно, — но только стрелять, не переставая, — ибо процесс стрельбы тут важнее, нежели ее непосредственные „стратегические“ результаты. Думать, что армия, которая хоть на минуту в революционную эпоху перестанет себя чувствовать военным лагерем среди завоеванной страны, что такая армия останется спокойной и далекой от брожения, есть, конечно, утопия. Еще большая утопия, однако, думать, что если революционный кризис затягивается на годы, то и

армию можно годами держать на положении враждебного лагеря. Тут дело именно только в отсрочке, в замедлении процесса разложения военной силы абсолютизма, а не в том, что этот процесс *à la longue* (в конце концов) может быть избегнут. Французская армия и, в частности, гвардия были совершенно чужды королю¹ и королевской семье, внимания на них со стороны абсолютизма не обращалось никакого, и вообще не делалось ровно ничего для создания из армии или хотя бы из гвардии обособленной и расположенной к монарху общественной группы. Мы рекомендуем всякому, интересующемуся психологией абсолютизма, готовящегося к самозащите, постоянно думающего о самозащите, почитать внимательно хотя бы „Русскую старину“, „Русский архив“ и обратить внимание на литературу воспоминаний генералов и адмиралов наших, как бы эти адмиралы и генералы сами по себе незначительны ни были; и пусть при этом читатель не ограничивается улыбкой и иронией, читая о сердечных любезностях к пажам, юнкерам, „фельдфебелям“ военно-учебных заведений, — о внимании и участии Олимпа к мелочам полкового быта, о дружеском, теплом тоне отношений Олимпа к приближенному офицерству, о демонстративной любви к тому или иному мундиру, об аффектированной близости и фамильярности Олимпа к гвардейцам — словом, обо всем том комплексе чувств, который герценовский доктор Крупов назвал „марсоманией“. „Rira bien qui rira le dernier“ (хорошо смеется тот, кто смеется последним), — может сказать абсолютизм всем, кто будет смотреть на всю эту проделанную им в XIX в. работу в армии только на как нечто курьезное, заслуживающее оценки с точки зрения юмористической. И долго „смех“ оставался еще не за его врагами, хотя, может быть, нужна была склонность к оптимизму слуг абсолютизма, чтобы верить в долговечность этого „пока“.

Всех этих ласк, ухаживаний, привлечений, очарований и обольщений не знали ни армия, ни гвардия Бурбонов, и все по той же причине: французская династия понятия не имела

¹ Хотя, как увидим дальше, солдаты, подобно буржуазии, в начале революции идеализировали короля, противопоставляя его аристократам и „дурным советникам“.

об опасности, над ней висевшей, а абсолютизм русский получил 14 декабря 1825 г. такой предостерегающий окрик (и как раз из военной среды), что он даже в самые блаженные времена уже *никогда* не забывал о необходимости обеспечить за собой достодолжную силу на всякий случай.

Итак, отсутствие моральной и материальной заинтересованности хотя бы части армии в продолжении существования абсолютизма, отсутствие связи и близости между гвардией и королевской семьей уже само по себе необычайно затруднило бы все попытки высшего военного начальства заставить солдат оказать в столице и в Версале энергичное сопротивление толпе. Вышеотмеченная классовая рознь и ненависть непривилегированных к привилегированным, царившие в армии, ничем, таким образом, не умерялись и не смягчались даже в самом важном для правительства разряде войск — в гвардии, стоявшей в столице и Версале. Растерянность же и нерешительность абсолютизма в начале революции окончательно потрясли дисциплину и ускорили переход войск на сторону восставшего народа. Отметим тут в нескольких словах главные моменты, когда этот губительный для абсолютизма процесс в войсках проявился.

Еще незадолго до открытия Генеральных штатов в Париже, где тогда, в общем, на улицах еще было сравнительно спокойно, обратил на себя внимание следующий случай. Рабочие Сент-Антуанского предместья, обманутые слухом, будто фабрикант Ревельон сказал, что рабочим достаточно жить на 15 су в день, напали на его дом и разграбили его. К концу действия подоспели войска и перестреляли очень многих из нападавших. Дано было несколько залпов, среди пострадавших были и женщины. Эпизод был скоро забыт, потому что открытие Генеральных штатов и начавшаяся борьба буржуазии со старым строем заслонили собой совершенно одинокий случай проявления пролетарского раздражения против одного из представителей той же буржуазии, героини исторического момента. Но для изучения настроения войск этот эпизод интересен: он показывает, что войска перед самым началом революции без всяких колебаний стреляли в рабочих. Их жертвы, убитые у дома Ревельо-

на, являлись для них, несомненно, грабителями — и только. Во всяком случае, если мы примем во внимание, что у самих рабочих в 1789 г. классового самосознания вовсе не было в сколько-нибудь определенной форме и что громадное большинство нации считало своими смертельными врагами именно „привилегированных“, „аристократов“ и высшее духовенство, то не будем удивляться, что люди, спокойно расстреливающие себе подобных 27 апреля в Сент-Антуанском предместье, не выказали никакой склонности противодействовать тем же парижским рабочим, когда те вместе с людьми других слоев брали спустя одиннадцать недель Бастилию. Случай с домом Ревельона особенно оттеняет поэтому дальнейшее поведение войск. Характерно, что среди слухов, ходивших в Париже по поводу этого инцидента, была и такая версия: правительство будто бы нарочно позволило грабежу начаться и развиваться, чтобы „показать пример“ и на кровавом усмирении дать упражнение войскам, т.е., с одной стороны, испугать оппозицию перспективой беспорядков, а с другой — испытать верность солдат. Если бы подобная мысль и была у придворных кругов, то поведение войск перед домом Ревельона ничего им не дало для понимания ближайшего будущего.

В первый раз революция и армия стали лицом к лицу 20 июня 1789 г., когда члены третьего сословия во главе с Байи нашли запертой залу заседаний в Версальском дворце, а перед дверьми — гвардейцев. Офицер почтительно отнесся к пришедшим, так что, хотя в залу и не пустил, но Байи упрямил депутатов силой не врываться и уйти вместе с ним в зал для игры в мяч, а офицер снискал себе даже похвалу за сдержанность своего поведения. Когда раздались голоса наиболее крайне настроенных, что нужно идти пешком в Париж и там возобновить заседания, то большинство отказалось от этого плана, потому что по дороге опасались встречи с вооруженной силой. И знаменитая клятва состоялась в Версале, в зале *jeu de raume* (для игры в мяч). Это все показывает ясно, что еще насчет армии никто толком не знал, как она себя поведет, не окажется ли исправным и послушным орудием в руках двора. День 20 июня, таким образом, еще

ничего не показал обеим враждующим сторонам. Но через три дня, 23-го, после знаменитого королевского заседания, когда, по уходе короля, дворянства и духовенства, третье сословие осталось, а церемониймейстер де Дре Брезе предложил оставшимся покинуть зал, наступил один из решающих моментов борьбы: депутаты отказались исполнить требование, а „штыки“, силе которых только они и уступили бы, не явились. Двор не решился пустить в ход насилие, а спустя несколько часов уже наткнулся на неповиновение. Когда вечером толпа раздраженного народа, узнавши о поведении короля и двора, окружила дворец, то в 11 часов вечера было решено пустить в ход оружие, но гвардейцы отказались исполнить приказание. Перед нами лежат документы и летучие листки, прямо относящиеся к этому поступку солдат: эти сырые материалы лучше всяких историков говорят о смысле происшествия. „Вся толпа, — читаем мы в одном из сейчас же вышедших после 23 июня памфлетов,¹ — помчалась ко дворцу и окружила его: кричали, угрожали, наконец, в 11 часов вечера показались принцы и закричали команду к оружию, но... (многоточие в подлиннике. — *Е.Т.*) — французские гвардейцы не могли забытья; они почувствовали, что они французы и что они не должны бесчеловечно проливать кровь своих братьев и своих отцов... Ах, благородные и храбрые солдаты, какой прекрасный поступок вы совершили... Этот один день принесет вам больше славы и чести, чем самая лучшая победа, какую только вы могли бы одержать над врагами... *Мы вам обязаны спасением Франции...*“ Указывая далее, что на другой же день король уступил всем требованиям собрания и что привилегированные стали „кротки, как барашек“, автор памфлета говорит: „О храбрые и славные солдаты!.. Этот момент, столь желанный, есть ваше дело!“ Снова и снова он повторяет эту благодарность, распространяя ее и на провинциальные части армии: „Я не перестану повторять, что мы обязаны всем войскам королевства, раскинутым во всех провинциях, войскам, ко-

¹ Bravoure des Gardes—Françaises (анонимн.), 1789 г. (№ Нац. б-ки Lb. 39—1866). С 6 и след.

торые, не сговариваясь¹, единодушно проявили те же чувства и выказали на пользу отечества ту же храбрость и ту же преданность“. Автор с горячим чувством настаивает, что гвардейцы своим поведением избавили страну от страшнойшей междоусобной войны. Ни одна история революции, начиная от старых Луи Блана, Минье и Тьера и кончая новыми Оларом и Жоресом, не может дать такое ясное представление о том восторге, какой пробудило в оппозиции поведение войск в эти первые решающие мгновения великого кризиса. Нужно было жить и писать в 1789 г., чтобы так выразить свое счастье, как автор цитированного памфлета. Историки слишком много писали о словах Мирабо „*allez dire à votre maître etc*“ (идите к вашему господину и т.д.)², но слишком мало — о том обстоятельстве, которое сделало эти слова для двора не смешными, а страшными: о поведении гвардейцев. А современники яснее чувствовали, в чем истинное значение рокового для старого режима дня 23 июня. Вот другое изъяснение благодарности гвардейцам³: „Осмеливались надеяться, что французский солдат забудется до того, что обратит оружие против отечества. Все граждане были погружены в ужасающее оцепенение... Деспотизм уже подал сигнал к резне. Желали, чтобы вы стали орудиями его ярости и чтобы вы вонзили кинжал в грудь ваших братьев и представителей славной нации. Эти кровавые приказания возмутили вас. Вы оказали им благородное сопротивление, которое восстановило порядок и породило надежду на более счастливое будущее“. Дальше идет знаменательная фраза: „Вы ниспровергли преступные заговоры министров тирании, вы заставили их дрожать; вы потрясли их наглую гордость; и то, чего не могли получить от этих развращенных сердец ни сила

¹ Sans s'être entendues *ibid*, с. 13

² Начало знаменитого ответа Мирабо (Оноре Габриель Рикети, граф де Мирабо) 23 июня 1879 г. придворному церемониймейстеру де Дре Брезе, который именем короля потребовал освободить зал для игры в мяч, где заседала Национальная ассамблея „Идите к Вашему господину и скажите ему, что мы находимся здесь по воле народа и нас нельзя отсюда удалить иначе, как силой штыков“ (*Ред.* 2010)

³ Lettre à messieurs les Gardes Françaises et Gardes-Suisses (Нац. б-ка. № по кат. Lb 39—1865, имени автора и места издания нет), с. 4

разума, ни всемогущий голос природы и философии, то произвели ваша храбрость и ваш патриотизм. Вы вернули народу его права. Вы спасли Францию... Ни столь прославленные римские солдаты, и даже те, которые помогли Александру покорить Азию, не представили равного тому героическому поступку, который вы только что совершили, когда, тронутые нашими несчастьями, вы отказались предоставить ваши руки в распоряжение тирании... О солдаты-граждане! благодарность, которой вам обязаны, вечно будет жить в сердцах французов“. На это письмо последовал ответ гренадера гвардии следующего содержания: „Когда французская гвардия и швейцарская гвардия отказались повиноваться кровавым приказаниям, они советовались только с голосом чести. Вся французская армия была бы одушевлена тем же самым чувством. Я не боюсь поклясться от ее имени, что каждый воин готов пролить свою кровь до последней капли в защиту короля и отечества, но что он никогда не поднимет оружия для поддержки надменной аристократии и проклятого угнетения, которое она применяет к наиболее многочисленной части самой несчастной и самой добродетельной нации“. Тут одинаково ярко сказывается и дружелюбное к народу настроение солдат, и то нежелание (характерное для первых лет революции) смешивать короля с остальным „старым строем“, о котором у нас шла речь в предшествующих очерках. Те же чувства проникают и другие солдатские отклики по поводу 23 июня. Вот что, *по уполномочию всех своих товарищей*, пишет другой гренадер своему полковнику герцогу дю Шатлэ¹: „Мои храбрые товарищи и я — мы далеки были от мысли, что нам придется оправдываться в своем поведении. На нас клеветают, к нам относятся как к бунтовщикам, нам даже угрожают: но люди, руководимые честью и любовью к своим братьям, мало боятся несправедливой власти и предпочитают самое суровое обхождение позору и низости вооруженной борьбы против своей собственной семьи. Да, г-н герцог, какие бы подлые и корыстные мотивы за нами ни предполагались, мне поручено всеми моими товарищами

¹ Lettre d'un grenadier des Gardes-Françaises à M. le Due du Châtelet. (№ Нац. б-ки. Lb. 39—1868).

уверить вас, что всякий раз, как вы прикажете нам быть преступниками, вы найдете нас непослушными. Умереть за нашего короля и отечество — вот наш долг, другого мы не знаем; и звание французского гвардейца не налагает на нас необходимости обагрять руки в крови сограждан по малейшему сигналу тиранов, которые окружают наилучшего и добрейшего из королей; военная субординация, которую вы нам справедливо проповедуете, не может принуждать нас к братоубийству; и наше неповиновение не только далеко не есть преступление, но покрывает нас честью, а на вас ложится укором. И как, г-н полковник, осмелились вы требовать от нас страшной клятвы резать тех, которые платят нам, чтоб мы их защищали? Если бы мы на вас походили, если бы убийство не стоило нам больше, нежели вам, то мы ответили бы на это ужасное предложение не молчанием нашим, а тем, что расстреляли бы вас. Неужели вы воображаете, приказывая нам убивать, что ваша жизнь будет для нас более священна, чем жизнь наших сограждан? Чтобы мы убивали тех, кто поливает своим потом хлеб, который мы едим! Тех, кто поддерживает наше существование затем, чтобы мы их защищали!“ Дальше идут горькие жалобы на солдатскую жизнь, подтверждающие то, что сказано было выше: что французский абсолютизм, гораздо менее предусмотрительный, нежели русский, не позаботился даже сделать жизнь хотя бы одних гвардейцев мало-мальски сносной, — и этим не обеспечил за собой той небольшой, исторически неважной, но для самого абсолютизма весьма существенной отсрочки, которая обеспечивается за всяким падающим строем, если армия не сразу его покидает. Солдат, пишущий к герцогу, сам сознается, что уклоняется от предмета¹, но „негодование внушает ему“ эти жалобы. „Вы обходитесь с храбрыми молодцами как с американскими неграми, но эти несчастные — рабы, а мы свободны. Вы бьете людей, которые вам братья, равны вам, часто превосходят вас храбростью и которые избавились бы от этой обиды, если б они не рисковали быть повешенными, меряясь с вами“. Далее ука-

¹ Lettre cit. С. 4 и след.

зывается, что полковник выгнал со службы старого сержанта, прослужившего 30 лет, за то, что тот „отказался быть убийцей“ (еще до 23 июня, по другому поводу; но на что намекает тут письмо, сказать трудно). Вся корпорация сержантов обложила себя взносами, чтобы старик не остался без куса хлеба; это известие иллюстрирует то, что выше было сказано о настроении унтер-офицерства. „Если вы осмелитесь нас наказать, — продолжает письмо, — то это наказание не запятнает людей, которым рукоплещет нация, и эти рукоплескания наших сограждан более лестны для нас, нежели все награды, которые вы бы нам дали за стрельбу по согражданам. Вы нам также грозите гневом нашего короля; но разве он не лучший из отцов? Вы его представляете таким же злым, как вы сами, но мы вам не верим. О г-н герцог, если бы какой-нибудь отец приказал одним своим детям зарезать их безоружных и незащищенных братьев и если бы его дети отказались повиноваться столь варварскому приказу, то разве были бы они преступниками, были бы они бунтовщиками, если, вместо взаимного избиения, они бы все пришли и бросились к ногам их общего отца и сказали бы ему: „Не делай нас палачами тех, кого долг и сама природа заставляет нас любить и защищать! Если мы сегодня вас слушаемся, то завтра вы с основанием будете бояться за себя самого, ибо дурной брат не может быть хорошим сыном“.

В еще более энергичных, часто бранных, выражениях составлена была резолюция гвардейцев на другой день после памятных событий, т.е. 24 июня 1789 г. Эта резолюция, *единогласно* принятая на собрании в кордегардии первой роты, также сохранилась в Национальной библиотеке¹. В этой резолюции, между прочим, читаем: „... мы клянемся и обещаем отечеству не повиноваться никакому приказу, все равно, от кого бы он ни исходил и кем бы он ни был нам дан, который клонился бы к тому, чтобы лишить нашего доброго короля хоть единого из его верноподданных; в случае же, если бы нам приказали стрелять в народ, *nom d'un diable!* мы кля-

¹ Под № Lb 39—7314 Arrêté des grenadiers aux Gardes-Française, fait et arrêté unanimement au corps-de-garde de la première Compagnie des G.-F, le 24 Jun, 1789.

немся бросить на землю наше оружие и затем отдаться под покровительство г-на Неккера, который никогда не потерпит, чтобы храбрые солдаты сражались против своих отцов, братьев и друзей“. Резолюция дальше бранит непечатными словами дурных советников короля, клянется, что ничего не предпримет против дворца, где заседает Национальное собрание, „на которое мы смотрим... как на отцов отечества, как на друзей третьего сословия“, наконец, заявляется в конце, что „изменник чести, изменник гвардейскому полку и не способен служить в королевских войсках тот солдат этого полка, который откажется подписать настоящее постановление или который, подписывая его, не выпьет за здоровье короля, Неккера и Генеральных штатов“.

Ясно было, что для абсолютизма эти солдаты потеряны. 25 июня в Париже тремя тысячами солдат была произнесена клятва „защищать отечество, свободу, государя, обойденного маленькой кучкой злодеев, — защищать против всяких насилий сограждан вообще и каждого из членов Национального собрания в особенности; и не потерпеть, чтобы кто-либо из них, солдат, был арестован или наказан за этот патриотический акт“¹. Новые взрывы восторга приветствовали это известие, открывавшее перед революцией грандиозные и светлые перспективы. Но тут же разнеслось известие, что двор сначала колебался: не призвать ли на помощь другие войска для усмирения войск ненадежных, или лучше воздержаться от насильственных действий. Возобладало последнее мнение. На самом деле, король и Неккер были решительно против кровопролития, а принцы и королева, настроенные гораздо более агрессивно, тоже не могли чувствовать особенной самоуверенности после поведения солдат 23—25 июня; хотя все-таки значительная часть двора склонялась к крутым мерам. Эти колебания окончательно убили в армии всякую мысль о возможности в близком будущем каких бы то ни было решительных столкновений с революцией, — и новое течение, обнаружившееся в гвардии, рас-

¹ Avis aux grenadiers et soldats du tiers-état, с. 16. (Нац. б-ка. Lb. 39—186).

пространялось все шире и шире. Каждый день колебаний уменьшал число еще верных абсолютизму солдат.

III

Революционно настроенные люди после событий 23 июня взялись за активную пропаганду в войсках, стоявших в Париже. Все поведение двора говорило о том, что борьба не кончена, а, может быть, только еще начинается; обеспечить за собой армию, увериться в ней окончательно являлось весьма серьезной заботой для оппозиции. „Солдат водили в сад Пале-Рояль, место наиболее многочисленных собраний и пункт, где сходились крупнейшие агитаторы; и здесь их осыпали ласками и подарками; спрашивали у них, будут ли они иметь несчастное мужество омочить свои руки в крови сограждан, друзей, братьев. Солдаты, растроганные, отвечали криками: „Да здравствует нация! Да здравствуют парижане!“ — и возвращались в свой полк, чтобы приобрести новых сторонников народного дела“¹. В это же время и в памфлетной литературе, читавшейся нарасхват, указывалось на все ужасы солдатской жизни, на розги, палки, всевозможные издевательства и притеснения офицеров и т.д. „Не принадлежим ли и мы (солдаты) к тому третьему сословию, которое унижают, оскорбляют и которое дворяне хотели бы теперь раздавить?“ — спрашивает в одном таком памфлете один старый ветеран². Распространялся листок с выгравированной частью резолюции гвардейцев, стоявших в Париже³: „Мы — рабы чести и родины, наша клятва связывала нас с корпорацией, которую мы составляем. Но злоупотребление властью, которую над нами имели, только что нас освободило. Никогда мы не поверим, что мы можем лучше доказать повиновение нашему доброму королю, как объявивши себя солдатами нации. Это имя, которое мы просим, чтобы нам дали, хотя оно немного и отличается от того имени, которое

¹ Journées mémorables de la Révolution, 12—13 juillet, с. 7. Paris, 1826.

² Нац. 6-ка Lb 39—1867 Avis aux grenadiers, с. 5

³ Extrait de la Motion des Gardes-Françaises (№ Нац. 6-ки. Lb. 39—7338)

мы носим. Кроме того, мы требуем смягчения военной дисциплины, уничтожения наказания сабельными ударами плашмя, увеличения жалования, чтобы оно равнялось жалованью иностранных полков¹, и чтобы повышения давались по заслугам и по старшинству лет, а не по благоволению“.

Парижане во французских гвардейцах были более или менее уверены; они больше боялись тех полков „швейцарских гвардейцев“ и „королевско-немецкого полка“, которые были дальше от народа и среди которых дисциплина была гораздо тверже. Кроме того, носились беспокойные слухи, что двор стягивает войска из провинции к Парижу. Убрать из Парижа войска — стало лозунгом дня в последних числах июня. Сообразно с общим тоном этих дней, с просьбой об удалении войск обращались самым умильным и верноподданническим образом к королю. „О наилучший король! — восклицает автор типичнейшего летучего листка, по этому поводу появившегося², — ты царствуешь над народом, которого верность к своим королям есть излюбленное право, а ты хочешь его раздавить под своим железным скипетром. По твоему приказу вооруженные братья двигаются против своих братьев, мирных и спокойных вследствие веры в твои обещания. Если твои намерения хороши, если они дышат соглашением, то нужны ли военные приготовления, чтобы заставить их одобрить? Если же они деспотичны и враждебны счастью людей, *то что сделает неуверенное мужество и нерешительная храбрость твоих недовольных солдат* против ярости и отчаяния двадцати трех миллионов твоих подданных?“

Как раз в эти дни общее внимание было с особенной силой приковано к вопросу об отношениях между войсками и народом следующим фактом. В своих метаниях и колебаниях двор делал одну непоследовательность за другой. Не решившись ни настоять на своем призыве к оружию вечером 23 июня, ни начать систематическое преследование солдат и розыск по поводу их собраний и резолюций в ближайшие

¹ T.e. gardes-suisses и Royal-Allemand, набравшихся из швейцарцев и немцев

² Armes bas. Conte qui n'en est pas un (анонимн.). Нац. б-ка. Lb. 39—1940, с. 3. Брошюра написана в тоне прозрачной аллегии.

дни, военное начальство сочло необходимым вдруг арестовать нескольких солдат за неповиновение властям (все по поводу отказа пустить в ход оружие 23 июня) и засадить их в военную тюрьму в Сен-Жерменском аббатстве. Приказ был отдан все тем же ненавистным для гвардии полковником герцогом дю Шатлэ, письмо к которому мы приводили выше. Во вторник, 30 июня, в 6 часов вечера толпе, собравшейся, по обыкновению, в Пале-Рояле, где ежедневно происходили огромные сборища, было сообщено, что одиннадцать гвардейцев сидят в тюрьме за то, что не стреляли в народ и что их ждет смертная казнь. Эти слова страшно взволновали народную массу, и толпа ринулась к Сен-Жерменскому аббатству. С яростными криками, быстро увеличиваясь в числе, толпа, достигнув аббатства, взломала ворота и освободила всех арестованных, которых с триумфом и радостными криками понесла в Пале-Рояль. Уже когда они шли из тюрьмы, навстречу прискакал отряд драгун, вызванный часовым, который помчался за помощью еще в начале атаки. Отряд скакал галопом, с обнаженными саблями, но толпа (ее было, по описанию очевидца, около 10 тыс.) яростно угрожала их истребить всех, если они не вложат сабли в ножны¹. Впрочем, драгуны и сами стали дружелюбно снимать свои каски, появилось вино, и драгуны вместе с толпой „выпили за здоровье короля и нации“². Экспедиция вся продолжалась около 1,5 часа и не стоила ни капли крови.

Отношение к королю, отделение короля от двора, идеализация короля — вот почва, на которой революционная толпа ближе всего сходилась с солдатами. Вот освобожденные гвардейцы и торжествующая масса их освободителей в Пале-Рояле. Какие же речи там произносятся наряду с предложениями самого бурного характера?.. „Броситься толпой к подножию трона, умолять короля о милосердии к освобожденным гвардейцам...“³ В конце концов решено было из-

¹ Récit d'élargissement forcé et de la rentrée volontaire des gardes-françaises. 1789. C. 6. (Нац. б-ка. Lb. 39—1883).

² Relation de ce qui s'est passé à l'abbaye Saint-Germain, le 30 Juin au soir. Помечен листок 1 июля 1879 г. (Нац. б-ка. Lb. 39—1882).

³ Récit d'élargissement, op. cit., c. 7.

брать из числа собравшихся 20 депутатов и отправить их в Версаль, чтобы они обратились к Национальному собранию с ходатайством об участии освобожденных гвардейцев. Чувствовалась необходимость легализовать положение этих солдат. Депутация отправилась в ту же ночь, а рано утром уже представила петицию. В этой петиции депутация просит о справедливости, которую и надеется получить „от доброты благодетельного монарха, намерения которого столь чисты и столь известны, и от энергии представителей французской нации“.

Характернейшее место петиции, по нашему мнению, составляют следующие слова: „Еще вспоминается с тревогой и умилением ужасная сцена 23 июня: быть может, покончено было бы с французской свободой (*il en était fait peut-être de la liberté française*), если бы благородные воины, которых осмелились призвать на помощь против их соотечественников, не отказались обогреть народной кровью оружие, которое они должны пускать в ход только против врагов отечества“. Собрание после долгих прений постановило, выразивши скорбь по поводу беспорядков¹, происшедших в Париже, просить обывателей столицы немедленно успокоиться, а к королю отправить делегацию, чтобы „умолять его во имя восстановления порядка пустить в ход непогрешимые средства милосердия и доброты, столь свойственные его сердцу, а также доверие, которое его добрый народ всегда заслужит“. Неккер отнесся к ходатайству с полнейшим благоволением. Он даже пригласил к себе депутацию, прибывшую от палерояльского собрания, и заявил им (в большинстве это были совсем молодые люди) следующее²: „Есть, господа, возраст драгоценный, любящий добродетель, — это ваш возраст, и я с удовольствием взираю на поступок, который он вам внушил“. Что касается до короля, принявшего уполномоченных от Национального собрания, то Людовик XVI, только что находивший мудрым не противиться решению полковника

¹ „L'Assemblée Nationale gemit des troubles“ etc

² Récit de l'élargissement, op cit 19 Эта брошюра написана Сент-Юрсэном, участником палерояльской депутации, сейчас же после события (ее № в Нац. б-ке см. выше).

дю Шатлэ, тотчас же нашел мудрым и то, что говорила ему депутация собрания.

„Ваше постановление весьма мудро, — заявил Его Величество, — я очень доволен, что знаю желания собрания, и всякий раз, как нация мне доверится, я надеюсь, что все пойдет хорошо; я сообщу о своих окончательных намерениях“. 2 июля король прислал собранию извещение, в котором сначала высказывает полное порицание толпе, взломавшей тюрьму, а затем говорит: „Однако в этом случае, когда порядок восстановится, я уступлю чувству доброты и надеюсь, что мне не придется упрекать себя из-за моего милосердия“. Письмо кончалось указанием на дурные стороны беспорядка и распушенности. После этого уклончивого ответа освобожденные гвардейцы еще прожили два дня в Пале-Рояле, где никто из властей не делал попытки их тревожить. Дело обстояло так, что требовалось, чтобы солдаты сами вернулись в тюрьму: это и было бы „восстановлением порядка“, о котором говорил король, как о предварительном условии для проявления своей милости. Члены избирательной коллегии города Парижа (со времени выборов в Генеральные штаты они остались, как очень влиятельная и продолжавшая собираться коллегия) взяли на себя дальнейшие ходатайства, но 4 июля вечером гвардейцы сами ушли из Пале-Рояля и явились в свою тюрьму, отдаваясь на милость короля, а 6 июля им было объявлено полное королевское помилование. Сейчас же появился в печати листок с благодарностью гвардейцев, адресованной королю. „О великодушный и благородный государь! — читаем мы там,¹ — Вы, кого обожает Франция, Вы, желающий только счастья Ваших народов и любви подданных!.. Великий король, как могли мы уклониться от Ваших справедливых законов и нарушить воинскую дисциплину!.. Если сердце наше могло ввести нас в неповиновение относительно Вас, то не потому, чтобы мы пошли за другими знаменами, — все наше намерение заключалось лишь в том, чтобы служить нации и, вместе с тем, нашему королю! Наше сердце, естественно, отказалось под-

¹ La grâce des Garde-Françaises accordée et leurs remerciements adressés au roi, ce 6 Juillet 1789 (Нац. б-ка. Lb. 39 — 7351).

нять оружие для убийства наших братьев, а Ваших детей, и мы не можем поверить, чтобы такой приказ мог быть дан королем таким нежным, таким добрым, показывающим одно только желание делать добро!“ Далее говорится, что „мы готовы пролить всю нашу кровь за трон и отечество“, — и что они дают „нерушимую клятву никогда не забывать того, чем обязаны августейшему монарху“. Сент-Юрсэн, член делегации, хлопотавший 1 июля в Версале о гвардейцах, накануне освобожденных, говорит с неудовольствием¹ о каком-то листке, выпущенном аристократией от имени гвардейцев, а именно, недоволен по поводу слишком „напыщенных“ выражений. Имеет ли он в виду только что цитированный нами листок, единственный подобного содержания, сохранившийся в Национальной библиотеке, или какой-нибудь другой? Во всяком случае, выражения самого Сент-Юрсэна немногим отличаются от „напыщенных“ слов, написанных гвардейцами или от имени гвардейцев. „Обожаемый монарх“, „le monarque adoré“, „отеческая доброта“ короля и т.д., и т.д. — попадаются у этого человека, бесспорно революционно настроенного, чуть не на каждой странице. В том-то, отчасти, и был секрет отношений между войском и революционной массой в начале революции, что революционеры в массе искренне верили в то, во что верили войска: что борьба идет не против короля, а против общих -- его и нации — врагов; это выдергивало из-под старого режима единственное подобие моральной силы, на которую он мог бы еще некоторое время опереться в кругах солдат, и это ускоряло и страшно облегчало дело его разрушения.

IV

История с освобождением и прощением заключенных гвардейцев нанесла новый тяжкий удар дисциплине в войсках. Смятение и колебания, борьба взглядов и планов, царившие при дворе, сказались с необычайной яркостью на всех перипетиях этого инцидента. Вместе с тем революци-

¹ Récit de l'élargissement, op. cit., с. 29.

онная мысль в Париже достигла 30 июня 1789 г. того, к чему стремилась революционная мысль в Петербурге в ноябре 1905 г., выдвигая в качестве одного из мотивов ко второй забастовке требование отмены полевого суда над кронштадтскими матросами. Связать общей порукой, сознанием дружбы и солидарности, взаимной помощью народ и вооруженные силы страны — такая задача рано или поздно становится перед революционным сознанием масс и разрешается с большими или меньшими трудностями, но, при затяжной революции, не может не разрешиться в пользу народа. Ибо сделать армию *совсем* чужой нации, мыслить ее вне времени и пространства может только та институтская наивность, сопряженная с глубочайшим невежеством, которая гнездится часто под наиболее расшитыми вицмундирами. К счастью для французской революции, подобные надежды полковника дю Шатлэ и ему подобных оказались несостоятельными сразу же, в первые моменты столкновений между народом и солдатами. Дальше предстояли в этом смысле новые разочарования.

Командующий войсками маршал герцог Брольи пробовал принимать меры против все усиливающегося общения между армией и народом, но ничего из этого не вышло. Вот голос жизни, доносящийся до нас из летучего листка,¹ помеченного 13 июля, т.е., значит, речь идет о тех критических двух неделях, которые отделяют описанное нами освобождение гвардейцев (30 июня) от взятия Бастилии (14 июля). „Маршал, — говорит листок, — решил стрелять в общественное мнение из пушек. Он боится, чтобы солдаты с этим общественным мнением не сошлись. И так как г-н маршал близорук, то он подумал, что чудеса произведет, запрещая храбрецам, которые находятся под его начальством, всякое сообщение с публикой. Это все равно, как Арлекин держал Коломбину запертой на чердаке, чтобы отнять у нее желание смотреть на улицу. В пятницу несколько солдат королевского артиллерийского корпуса, которым надоел режим, установленный г-ном генералиссимусом, весело перепрыгнули

¹ L' Armée citoyenne (Нац. б-ка. Lb. 39—1935), 13 Juillet 1789.

через стены Дома инвалидов и пришли погулять в Пале-Рояль. Там они были приняты гражданами с распростертыми объятиями. Солдаты разных полков присоединились к ним. Видели там соединенными артиллерию, инфантерию, кавалерию, французских гвардейцев, драгун. Публика предложила им прохладительные напитки. Они пили за здоровье короля и Национального собрания... Они повторили перед публикой обещание никогда не поднимать оружия против отечества, — обещание, пример которого первые имели случай представить гвардейцы. В том же духе высказались и бывшие здесь сержанты артиллерии. А что сказал на это генералиссимус? Он держал совет со своим духовником. А что решил духовник? Что нужно отослать этот полк и выписать сюда другой. Бедный человек! Позавчера сорок человек Вентимильского (вновь выписанного) полка, несколько драгун и других солдат, все перемешанные с французскими гвардейцами, явились также в Пале-Рояль для ознаменования своего патриотического появления. Они были приняты там так, как накануне их товарищи; они пошли танцевать в Елисейские Поля, как накануне их товарищи. А духовник? Он говорил те же глупости, что говорил накануне. А генералиссимус? Он их слушал, как слушал накануне. Бедный человек!“

Этот „бедный человек“, маршал Брольи, в эти же дни, когда всенародно осмеивали его бессилие в борьбе с духом времени, заявлял в письме к принцу Конде, что „пушечный залп или ружейная стрельба быстро рассеяли бы этих аргументаторов и восстановили бы исчезающую абсолютную власть“. Двор, руководимый королевой, принцами, бароном Бретейлем, очень полагался на этого Брольи: после всех своих колебаний, отчасти происходивших от неуверенности в войсках, отчасти — от нерешительности короля, отчасти — от не сразу пришедшего сознания опасности, после всех этих колебаний, в свою очередь, как уже было сказано, окончательно подкапывавших „надежность“ войск, абсолютизм решил, наконец, сделать попытку вооруженной борьбы. У абсолютизма были еще полки (*gardes-suisses*, *Royal-allemand* и др.), на которые он сильно надеялся, наконец, и

истинных размеров революционизации даже самых „подозрительных“ полков никто не мог знать в точности. В Париж с первых же дней июля стягивались непрерывно новые и новые полки. Аристократия уже наперед, вслух, торжествовала победу над „дерзкими“ и „злодеями“, которые не переставали в последние два месяца, с самого открытия Генеральных штатов, смущать ее покой. В прямолинейном скудоумии своем двор одинаково лютой ненавистью ненавидел и ораторов Пале-Рояля, и Мирабо, и министра Неккера, и всем им грозил ссылкой, Бастилией, виселицей, — хотя буржуазия во главе с Мирабо уже усиленно отреклась от всевозможных „мятежных“ планов и „мятежников“, которые бы вздумали помогать Собранию, — хотя Собрание не жалело самых низкопоклонных фраз и формул, чтобы польстить королю и войти с ним в соглашение. Абсолютистская организация очень хорошо знала, что *с ней* соглашения не будет; аристократия знала то же самое. Они желали теперь, в начале июля, пустить в ход еще оставшееся, по-видимому, в их распоряжении — орудие насилия, не видя, что оно плохо было еще до начала кризиса и совсем надломилось в эти месяцы растерянности и нерешительности.

12 июля в Париже с быстротой молнии разносится слух об отставке Неккера. В этот же день произошли кровавые столкновения. Печать неуверенности в себе лежит на всех распоряжениях военной власти, начиная с этого дня. Из Пале-Рояля идет процессия во главе с молодым человеком, несущим бюст. Войска на Вандомской площади преграждают дорогу. Раздается с их стороны выстрел; молодой человек убит, но бюст Неккера подхвачен, и толпа идет дальше, а войскам приказано отступать, уже не стреляя. Тогда толпа смешивается с войсками, очищающими ей путь, в одну беспорядочную массу. У сада Тюильри отряд королевско-немецкого полка под начальством князя Ламбеска оттеснил толпу, причем многие пострадали от давки, а затем стреляли из пистолетов и пустили в ход сабли, расчищая себе путь. Толпа отвечала камнями, бутылками, стульями, взятыми в саду. Число пострадавших, конечно, было шуточным, сравнительно с кровавыми банями, которыми в таком изобилии

ознаменована, например, русская революция, — но, от непривычки, столкновение с Ламбеском выросло в народном воображении в нечто неслыханное, а самого Ламбеска печатно сравнивали с Нероном¹. Вскоре после этого, к вечеру того же дня, случилось событие весьма серьезное: отряд французских гвардейцев во главе с капралом напал на detachment королевско-немецкого полка, стоявший в Монморанси, — и заставил его уйти. Это был уже открытый переход части гвардии на сторону революции, переход не пассивный, но активный. На другой день войскам, занимавшим площадь близ Тюильри, вдруг было приказано отступить. Колебания военного начальства происходили не только вследствие неуверенности в солдатах, но и по причине полного отсутствия сколько-нибудь ясно выработанного плана действий. Народ уже разобрал все оружейные склады, какие мог, часть войск явно была на стороне инсургентов, а комендант Бастилии де Лонэ писал в Версаль, что он вовсе не берет на себя ответственности за целостность крепости. У него в распоряжении против огромного восставшего и вооружившегося города оказалось всего 32 швейцарских гвардейца и 82 инвалида, хотя он уже несколько дней ожидал осады, а с 12 июля это стало делом решенным.

Люди, умевшие в Версале печатно бранить революцию и сулить ей виселицы, радовавшиеся с первых чисел июля, как дети, своему мнимому близкому торжеству, были совершенно неспособны даже измерить все размеры сопротивления, на которое они наткнутся; у них не хватило ума даже на то, чтобы хоть извлечь возможный максимум пользы из ненадежного и надломанного орудия, каким являлась уже в их руках армия. Безднадежное скудоумие и ослепление — вот что сказывалось во всех их поступках, вплоть до нелепой „стратегии“ 14 июля 1789 г., удивившей даже их врагов.

Нас тут этот день интересует только как завершение процесса разложения королевских военных сил, — того процесса, отдельные моменты которого мы старались проследить в предшествующем изложении. Две черты особенно

¹ Ср., напр., брошюру *Neron Lambesc vit-il toujours?* (Нац. б-ка. Lb. 39—3654).

характерны для этого заключительного момента указанного процесса: во-первых, массовый открытый переход гвардейцев на сторону осаждавшего Бастилию народа и, во-вторых, глубочайшая растерянность и инертность, проявившиеся со стороны всего военного начальства, высшего, среднего и низшего, начиная с Брольи и Безанваля, не попытавшихся снять осаду с Бастилии и ограничившихся в этом смысле только обещанием помочь к вечеру.

Командовавший парижскими войсками барон де Безанваль имел в своем распоряжении немало сил, но, сообразно с царившей при дворе путаницей мнений, он толком не знал, что ему делать. Вот что он рассказывает об этих днях: „Так как беспорядок увеличивался с часу на час, то и мое затруднение также удваивалось. За какое решение мне ухватиться?“ Он боялся „возжечь гражданскую войну“. „Должна была пролиться кровь драгоценная, с которой бы стороны она ни текла, — притом без какого-либо полезного результата для общественного спокойствия. К моим войскам, почти на моих глазах, приступали со всевозможными обыкновенными оболъщениями; я получал известия, которые внушали мне тревогу насчет их верности; в Версале меня забыли в этом жестоком положении и упорно смотрели на триста тысяч взбунтовавшихся людей как на сборище, а на революцию — как на волнение¹. Рассмотревши все это, я решил, что самое благоразумное — это отвести войска и предоставить Париж собственной участи. Я решился на это в час утра“. Страх и растерянность охватывали все военное начальство. Все говорили о ненадежности войск, и все ждали приказаний от Безанваля, который, в свою очередь, ждал их от главного начальника армии и Военного министерства — маршала Брольи. А Брольи ровно ничего на письмо Безанваля не ответил. В пять часов утра (14 июля) к Безанвалю пришел человек, заявивший, что сопротивление будет излишне. Сказавши это, он ушел. „Я должен был его арестовать, — и не сделал ничего подобного“, — с сокрушением вспоминает

¹ Versailles s'obstinait à regarder trois cent mille hommes minutés comme un attroupement et la réevolution comme une émeute. Bord, la prise de la Bastille, с 36.

Безанваль. К полудню уже был разграблен революционерами арсенал Дома инвалидов, причем охрана арсенала помогла нападавшим в поисках оружия и чуть не повесила коменданта на решетке. Собрался военный совет, причем все генералы были того мнения, что волнение подавить нельзя, что войска колеблются; что „незвизрая на нашу бдительность, их распропагандировали“¹. Один полковник уверял Безанваля „со слезами на глазах, что его полк не поидет“. Безанваль в полном смятении опять пишет начальству в Версаль. „Я написал маршалу Брoльи, чтобы он указал мне, какого поведения мне придерживаться; он мне не ответил... Второй курьер, которого я отправил к маршалу, был перехвачен шпионами народной армии. Я находился в самом беспокойном и критическом положении. Пушки, расположенные на другом берегу Сены и обслуживаемые французской гвардией, угрожали лагерю“.

И Безанваль с теми войсками, которые еще у него были, не решался подойти к осажденной Бастилии и попытаться снять осаду; идти с Марсова поля на другой конец города с войсками, явно не желающими сражаться, могло, действительно, показаться затруднительным. Но вместе с тем Безанваль обнадежил губернатора Бастилии, чтобы тот продержался до вечера, а вечером придет помощь... На самом деле Бастилия с первой минуты была предоставлена собственной участи, т.е. энергии де Лонэ, его тридцати двух швейцарцев и восьмидесяти двух инвалидов.

Что касается до инвалидов, то они с начала до конца очень нехотя исполняли приказание и громко выражали желание прекратить оборону и сдаться. Швейцарцы же стояли за сопротивление. Собственно, только они и пытались отражать нападающих. Утром 14 июля толпа пришла к Дому инвалидов за оружием, и солдаты без сопротивления выдали требуемое и указали, где находились спрятанные 28 тыс. ружей в погребах. Когда народ толпился вокруг Бастилии и осажденные, насколько глаз мог охватить пространство, видели сплошное море голов, в этой толпе с самого начала

¹ Qu'on les *pratiquait* en deip de notre vigilance... (Курсив Безанваля).

виднелись там и сям гвардейцы, помогавшие осаде, и среди всей массы осаждавших они одни вносили в дело известный порядок, последовательность и дисциплину. В час дня уже большой отряд гвардейцев под предводительством своих капралов двинулся к Бастилии на помощь революционерам.

„...Они обнаруживали такое мужество и такую радость, — говорит очевидец,¹ — что можно было бы сказать, что они скорее идут на празднество, чем на сражение“. В течение всех часов осады этот отряд проявлял замечательную храбрость и расторопность и принес серьезную пользу делу. Так, первым существенным своим успехом осаждающие обязаны были двум солдатам, которым удалось с безумным риском проникнуть в первый двор и сбросить подъемный мост со стены к толпе, которая сейчас же и ринулась по этому мосту в Бастилию. Всякий раз, как возобновлялась борьба после некоторого роздыха, во главе начинающих видели солдат. Когда борьба приостановилась и среди осаждающих раздавались самые разнородные и часто фантастические предложения насчет того, что бы лучше теперь предпринять, — „положение оставалось бы все тем же неопределенное время, если бы не подкрепление из трехсот гвардейцев-дезертиров, которые прибыли на место действия в сопровождении пушек, забранных ими накануне в цейхгаузе. Это войско, составленное из людей решительных, из которых некоторые были приучены к сражениям, состояло под начальством сержанта Эли из французского гвардейского полка и Юлена, служившего в придворной белильне“². С ними были пушки и канониры, умевшие из пушек стрелять.

С этого-то появления и началась агония Бастилии. Де Лонэ, вокруг которого часть гарнизона уже громко настаивала на сдаче, который (как и Безанваль) не решался произвести максимум убийств, какие еще мог произвести, ибо не мог знать, как на это посмотрит король, — сдался на капитуляцию. Через полчаса его голова уже колыхалась над толпой на острие пики, а король Людовик XVI громко зая-

¹ Révolutions de Paris, dédié au district du petit St Antoine, 1789 P 14 (Нац. 6-ка. Lb. 39—2049).

² La prise de la Bastille, par d. Bord. Paris, 1882. P. 54.

вил на следующий день, что он заслужил свою участь; после взятия Бастилии король опять заговорил о своем доверии к нации и отдал войскам приказ уйти из Парижа и Версаля.

Вечером 14 июля и на другой день, 15-го, войска отступили от Парижа. Они столь быстро и охотно это сделали, что оставили на Марсовом поле амуницию, несколько пушек, что очень пригодились начавшей еще 13 июля образовываться Национальной гвардии. В эту гражданскую милицию массами переходили солдаты всех полков, оставлявшие свои части, чтобы открыто присоединиться к революции. К 21 июля король санкционировал этот переход, признавши законным прием солдат в Национальную гвардию, которые поступают туда из регулярных полков. Этим он окончательно и бесповоротно признал себя побежденным революцией.

Армия, как защитница абсолютизма, после взятия Бастилии окончательно перестала существовать. С новой силой повторились восторги перед поведением войск, целый ряд предложений был сделан относительно того, как бы французскому народу достойно отблагодарить своих друзей и защитников — гвардейцев¹. Двор был вне себя от ярости, правда, вполне бессильной. Не было того бранного эпитета, который не применялся бы к „дезертирам“, „изменникам“ и „предателям“, т.е. к солдатам, окончательно показавшим реакции, что ей надеяться на них нельзя. Но оппозиционная пресса решительно выступила на защиту солдат. „Говорите, чудовища, — обращается автор одной такой брошюры к обвинителям солдат², — перестали ли эти солдаты, служа своей родине, посвящая себя ее спасению, служить своему монарху? Какое преступление лежит на них? Нежность сына к своей матери?.. В том ли их преступление, что они способствовали уничтожению несправедливых претензий нескольких презренных существ“ (привилегированных?)... Согласно общему тону этого времени, о поведении солдат говорится так, что они оказываются действовавшими вовсе не против коро-

¹ См., напр., листки. „Motion en faveur des M. M. les Gardes-Françaises“ (Lb 39—7556, Нац 6-ка), „Paris aux Gardes-Françaises“ (Нац 6-ка. Lb. 39—7557) и т. п.

² La Nation aux Gardes-Françaises (Нац. 6-ка Lb. 39—2009), с. 5—6.

ля: „Всегда оставаясь верными их достойному господину, если они отказались исполнять кровавые приказания, то потому, что были уверены в сердце Людовика, и поэтому не могли, по справедливости, верить в то, что таковы были *его* приказания; они хотели, чтобы Людовик царствовал не над грудой окровавленных трупов...“ Но уже полная победа народа сказывается кое в чем, уже проскальзывают фразы, ставящие точки над *i*: „Если интересы великого народа затронуты, если монарх, соблазненный, введенный в заблуждение, необдуманно упорствует в малоблагоприятных намерениях, то разумно ли, чтобы его народ, его солдаты стали жертвами тех хитростей и той лести, которые вводят монарха в заблуждение? Какие права на войско, извлекаемое из недр того же народа, имеет тогда подобный монарх? Не утрачивает ли он все эти права? Должны ли когда-либо интересы одного человека перевешивать интересы великого народа?“¹ Далее указывается на „адскую интригу“ придворной камарильи, которая „тщетно искала своего спасения в оружии тридцати тысяч человек“, согнанных ею в Париж в начале июля. В конце снова и снова превозносится, как величайший в истории Франции подвиг, поведение солдат, отказавшихся стрелять „в своих отцов и братьев“ и облегчивших дело освобождения народа.

О том, как даже те солдаты, на которых особенно полагался двор, точно так же не спасли монархию от нового жестокого удара 5—6 октября, мы тут говорить не станем, потому что абсолютизм был уже значительно к тому времени сломлен и даже в самом благоприятном для себя случае мог бы оказать разве только мимолетное сопротивление при помощи нескольких сот еще не вполне явно его покинувших солдат. Но даже и этого не случилось: толпа женщин, мужчин и детей, беспрепятственно пошедшая 5 октября в Версаль и на другой день заставившая силой короля с нею вместе отправиться в Париж, увидела вполне ясно, что король не *почти*, а *совершенно* беззащитен перед лицом революции.

Своей армии у абсолютизма не стало. Центр тяжести

¹ La Nation aux Gardes-Françaises (Нац. б-ка. Lb. 39—2009), с. 7.

всех надежд перенесся на иностранное вмешательство; эти надежды и связанный с ними образ действий двора вели долгой, но прямой дорогой к эшафоту.

V

Самозащита абсолютизма в других странах была сильнее. Разнообразные причины этому содействовали. Убогая экономическая культура Королевства обеих Сицилий дала неаполитанским Бурбонам и их клевретам, вроде кардинала Руффо, возможность, систематически организуя „пролетариат в лохмотьях“, лаццарони в городах и разбойничьи шайки вокруг деревень, противопоставлять освободительному движению то угрозу общей анархии, то непосредственную перспективу страшной смерти от рук руффианцев, натравленных полицией. В 1860 г., в решительный момент, все эти „маленькие средства“ абсолютизма оказались негодными, но до того времени клерикально-абсолютистские шайки, несомненно, свою роль в задержке движения сыграли. Абсолютизм в Австрии пользовался не только аналогичными средствами (вроде избияния помещиков крестьянскими руками в Галиции в 1846 г.), но и другим, еще более существенным методом: натравливанием одних подвластных национальностей на другие (в 1848 г. и последующих годах). Это последнее средство тоже не спасло абсолютизма в его целом, но способствовало как тому, что его сдача произошла медленно и по частям, так и тому, что австрийская конституция — одна из худших (в смысле обеспечения прав народа и его представителей), какие только знает Западная Европа. В Пруссии самозащита абсолютизма с внешней стороны больше всего облегчена была армией, не знавшей даже и тех единичных, мимолетных колебаний, которые можно отметить в поведении некоторых представителей австрийской армии в 1848 г., а подобное поведение армии является лишь прямым последствием других, основных причин, задержавших гибель абсолютизма: буржуазия так быстро сложила оружие и почувствовала себя ближе к армии, нежели к пролетариату, крестьянство до такой степени поспешно было удовлетворено в

серьезнейших требованиях и вышло из числа революционных факторов, революция так скоро ослабела и замерла, что армии даже не представилось сколько-нибудь длительного искуса, и абсолютизм очень скоро уже мог отдохнуть от своей тревоги. Фактическое и окончательное воцарение конституционного порядка вещей тесно сплелось в дальнейшей истории Пруссии с войнами, приведшими к объединению Германии, прусская монархия стала гегемоном общегерманской капиталистической буржуазии в борьбе за мировое торгово-промышленное преобладание, т.е. ей удалось примениться к велениям экономической эволюции и благодаря этому сделаться столь крепкой, какой она не была никогда при абсолютизме.

Как уже сказано, самозащиту русского абсолютизма нельзя сравнивать с самозащитой абсолютизма в Австрии и Пруссии 1848 г. уже потому, что длительность революционного кризиса у нас не идет ни в какое сравнение с длительностью его в Австрии и Пруссии: отличие это не только „количественное“, но и „качественное“, ибо и средства самозащиты требуются при затяжной революции совсем иного свойства и калибра, нежели при кризисах скоротечных, и общий характер кризиса сильно меняется.

Почему наша революция не оказалась скоротечной, какие общие причины обуславливали грандиозные размеры и длительность кризиса у нас, обо всем этом было уже сказано во втором очерке. Как же длительность кризиса отражалась на самозащите абсолютизма?

Прежде всего отметим, что самодержавная бюрократия у нас хоть и была застигнута революцией 1905 г., как она жаловалась устами своих газет, „внезапно“, но это неверно. Конечно, такого крутого оборота вещей, как тот, что начался после убийства Плеве, она не предвидела; но с конца царствования Николая I вплоть до 1905 г. она никогда (кроме, может быть, первых шести лет царствования Александра II) не чувствовала себя свободной от необходимости бороться против принципиальных и непримиримых своих врагов. Временами их было больше, временами — ничтожная (количественно) горсточка, но, за исключением немногих мо-

ментов, за последние тридцать-сорок лет внимание правительства даже в самые, казалось бы, „безопасные“ времена было поглощено больше всего именно борьбой против своих „внутренних врагов“, притом даже так, что усилия правительства находились в полнейшей несоразмерности с реальной опасностью, для него являвшейся. Можно сказать, что едва ли хоть одно крупное мероприятие в политической и экономической области было проведено за это время, особенно же с 1881 г., без задней мысли, без страхов или надежд касательно вреда или пользы для самодержавия от этого нового мероприятия. Разложение погибавшей системы в России особенно выпукло именно и сказалось в этом постоянном тревожном озирании по сторонам, в этом полном бессилии хоть временно отрешиться от мыслей о самообороне и понять, что законодательство должно руководиться кое-чем еще, помимо интересов самосохранения. И так как наше самодержавие зажило на свете дольше, нежели всякое иное, то ни в одной стране не накопилось столько законодательных авгиевых стойл, нигде решительно памятники законодательства не являются до такой степени, прежде всего и больше всего, памятниками страха, тревожного предвидения грядущих опасностей для правящего класса. Никогда не поймет наших законов, новелл к этим законам, новелл к этим новеллам и т.д. тот будущий историк, который, положивши на своем письменном столе текст изучаемого закона по левую руку, не положит по правую руку донесения Департамента полиции за те месяцы, которые соответствуют времени зарождения и изготовления данного закона. Ни один абсолютизм, не исключая даже абсолютизма неаполитанских Бурбонов, не переживал в предреволюционном фазисе такой долгой борьбы с предтечами революции, такого полного, безраздельного подчинения всех своих сил полицейской функции, такой непрестанной то глухой, то явно акцентированной, но непрерывной тревоги за собственное существование, как именно абсолютизм в России.

Вот почему нигде и никогда абсолютизм в такой мере не развил всех своих средств к самозащите. Прусский фон Рохов, австрийский Меттерних, неаполитанские Дель-

каретто и Каноза — это, так сказать, были только намеки истории на то, что она дала впоследствии в лице Дмитрия Толстого и Плеве, Судейкина и Зубатова, Дурново и Рачковского и т.д., и т.д., usque ad infinitum (прямо до бесконечности). Не в моральной тут разнице, конечно, дело; мораль у перечисленных иностранцев находилась на вполне подходящем уровне, но, с одной стороны, им всем (даже в Неаполе) не приходилось вести столь долгой и упорной предреволюционной борьбы, а, с другой стороны, им (по этому самому) и не пришлось целыми полицейскими поколениями вырабатывать столь совершенных и разветвленных, столь дорогих и сложных, столь дееспособных и исправных аппаратов для защиты строя, как те, что были выработаны русской действительностью. Такие полицейские *chef d'oeuvre*'ы (шедевры), как так называемые „черносотенные“ выступления и погромы, показали ясно всю ценность для абсолютизма созданных им орудий самозащиты. Конечные результаты этих усилий, разумеется, свелись к нулю, но это уже общая участь всех мероприятий, направленных к достижению социологически нелепой цели: к прекращению кризиса, когда не устранены причины, его вызвавшие. Но *quod potui feci* (сделал, что мог) может сказать самому себе русский абсолютизм, вспоминая все, что он сделал для отсрочки собственной окончательной гибели. В самом деле: ведь если мечтой всякого абсолютизма, застигнутого революцией, является успешная демагогия, возбуждение межнациональной или межклассовой вражды, то у нас это являлось делом, вовсе не таким простым. Хорошо было Меттерниху возбуждать галицийских крестьян против польских помещиков: при положении аграрного вопроса у нас подобная политика грозила бы сейчас же разрастись во всероссийскую аграрную революцию, от которой прежде всего пострадала бы сама же бюрократия и ее класс, крупные землевладельцы. Значит, самый серьезный по размерам опыт пришлось оставить именно вследствие его опасности. Хорошо было кардиналу Руффо в Неаполе возбуждать народ против свободомыслящих, когда народ и без того в массе своей ненавидел их, как пособников и друзей иноземных завоевателей, французов, и когда ни кре-

стьяне, ни городская голытьба ничуть не чувствовали себя в материальном отношении лучше во время французского нашествия. В России это все было в 1905—1906 гг. труднее и сложнее. Погромы инородцев — наиболее легкая часть дела — конечно, не могли всецело удовлетворить поставленной задаче, ибо оставалась коренная Россия, те места, где евреев и армян нет. И вот в Твери, Томске, Вологде, Москве, в целой массе других мест, как по мановению волшебного жезла, в одинаковых формах, по явно заранее установленному шаблону — прокатилась волна выступлений самых ужасающих. И все это — там, где спустя немного времени почти поголовно прошли только кандидаты самой оппозиционной из всех партий, принимавших участие в парламентских выборах; там, где, в подавляющей массе своей, народ был настроен и в деревнях, и в городах резко оппозиционно, там, где одновременно с этими мнимо народными выражениями консервативных чувств, разыгравшимися по дирижерской палочке, — в деревнях происходили волнения, а в городах тюрьмы ломились от рабочих. Словом, контрреволюцию в 1905—1906 гг. пришлось организовывать без контрреволюционеров, — мало того, в явно революционную эпоху. И что можно сделать при столь неблагоприятной конъюнктуре, бесспорно, было сделано. Старый строй в России зато сам же необычайно ускорил свою гибель *внешней* политикой. Но об этом — дальше.

Чтобы оттенить все неблагоприятные условия, среди которых пришлось работать в России деятелям, инсценировавшим контрреволюцию, остановимся на том явлении, о котором только что упомянули и которое до новейших времен справедливо считалось самой крупной в истории попыткой обдуманного, искусственного возбуждения контрреволюционных неистовств.

VI

„В 1799 г. все обстоятельства благоприятствовали либеральной партии (в Неаполе), недоставало только народа“¹, —

¹ Rossi M. *Nouva luce risultante dai fatti avvenuti in Napoli pochi anni prima del 1799* Firenze, 1890. P. 361

вот весьма точная характеристика положения, при котором должны были начать свои действия неаполитанские контр-революционеры. Примитивная земледельческая культура, убогое развитие обрабатывающей промышленности и торговли, отсутствие сколько-нибудь значительной и влиятельной буржуазии, — все это делало тогдашнее Неаполитанское королевство страной, где для действительно серьезного натиска на абсолютизм народ вовсе подготовлен не был. Царствование Карла III, а затем Фердинанда IV (вернее, управлявшей всем жены его Каролины) нанесли ряд тяжких ударов пережиткам феодализма и феодальной знати, сильно способствовали облегчению тягот, лежавших на земледельческом классе, и этим серьезно содействовали популярности династии. Можно сказать, что неаполитанские Бурбоны после не были никогда уже так популярны, как именно в 1790-х гг. и ранее. Реформы, произведенные неаполитанским „просвещенным абсолютизмом“ и связывавшиеся еще с именем министра Тануччи, гремели в Европе XVIII в. Фердинанд IV, кроме того, и лично очень нравился массе своих верноподданных; ленивый, невежественный, болтливый, суеверный, неспособный ни к какому напряжению мысли и воли, проводивший жизнь в самых тривиальных удовольствиях и ничем, кроме них, не интересовавшийся, грубо чувственный, — он получил издавна название „короля лаццарони“, и неаполитанские оборванцы на самом деле чувствовали к нему нежность. Пролетариат в лохмотьях был единственным пролетариатом Неаполя в конце XVIII в., и король был среди этого очень многочисленного слоя населения чрезвычайно популярен вследствие своей обходительности, доступности, разговорчивости и тех качеств, которые делали его умственно и нравственно близким к лаццарони. Интеллигентное общество, в передовой части своей увлекавшееся Французской революцией, не нашло в народе ни малейшей поддержки, и свирепые преследования и неистовства Каролины и ее ставленников, обрушившиеся в 1792—1798 гг. на всех подозреваемых в якобинстве, ничуть не повредили правительству в глазах массы населения. Но вот вспыхнувшая в 1798 г. война с Францией привела к крушению, к внезапной

катастрофе; в конце декабря королевская семья на кораблях эскадры Нельсона бежала из Неаполя, а 23 января 1799 г. Неаполь уже был в руках французского главнокомандующего Шампионне. Республикански настроенная интеллигентная кучка с радостью приветствовала наступательное движение французов, от которых ждала превращения Неаполитанского королевства в республику. Мало того, имущая часть городского населения тоже ждала с нетерпением французов: лаццарони неистовствовали страшно, со времени начала войны, они убивали, сжигали заживо, пытали и калечили всех, на кого им показывали, как на якобинцев и как на друзей французов. В эти же месяцы (декабрь-январь 1798—1799 гг.) происходило разграбление имущества всех подозреваемых в сношениях с французами и успевших куда-нибудь скрыться. Вообще безнаказанный грабеж являлся, по-видимому, одним из серьезнейших стимулов к этим „патриотическим“ буйствам. В конце концов в этих озверевших людей „якобинцы“ стреляли всюду, где только могли, помогая в то же время французам в скорейшем взятии города. Даже уже когда всякое сопротивление французам оказалось бесполезным и забранный в плен предводитель лаццарони (Michel il Pazzo) без особого труда стал кричать: „Viva la repubblica, vivano i francesi, viva San Gennaro“, обнаруживая, таким образом, одинаковое расположение и к республике, и к французам, и к святому Януарию, — даже тогда лаццарони не сразу решились оставить грабеж чужого имущества, и их пришлось еще разгонять выстрелами. Даже дворец короля был разграблен этими монархистами. Когда Шампионне, окруженный блестящим штабом и пышно разодетой французской кавалерией, въехал в город, то эти самые лаццарони с детским любопытством бежали по сторонам, глаза на невиданное зрелище. С первого же дня к французам отношение установилось у толпы лаццарони самое дружественное, как будто ничего раньше между ними и не было, как будто еще недавно по подозрению в дружбе к французам лаццарони не сожгли живьем герцога Торре и других лиц. Все это мы приводим для характеристики того человеческого материала, из которого спустя несколько месяцев сделали орудие контрреволюции.

Была провозглашена республика, а династия Бурбонов объявлена в Неаполе низложенной. Случилось это исключительно вследствие того, что такова была воля французов-завоевателей: без них горсточка либерально настроенных людей, разумеется, и мечтать не могла о чем бы то ни было подобном. Но радость в образованном обществе была великая, и она разделилась даже теми имущими кругами, которые в приходе французов и установлении нового твердого порядка вещей видели избавление от буйств лаццарони, столь измучивших и ужаснувших весь город своими безобразиями. Сами лаццарони, притихшие и „ставшие овечками“, по выражению одного современника, не только морально примирились с французским завоеванием, но сами принимали участие в сажании деревьев свободы. Что грабить теперь уже нельзя, они поняли и тоже окончательно с этим примирились, хотя это и было труднее, нежели примириться с республикой. С этого времени, с 23 января 1799 г., для Неаполя наступило опьянение так легко полученной свободой, — эпоха, о которой пережившие ее с умилением вспоминали в глубокой старости. Но нас не эта эпоха тут занимает, а то, что за ней последовало.

Двор, убежавший в Сицилию, с яростью смотрел на то, что делалось в Неаполе. Королева Каролина, которая, кроме всех недостатков сестры своей, французской королевы Марии-Антуанетты, еще обладала чрезвычайно злобным и мстительным нравом, была в бешенстве, что ненавистной республиканской кучке так легко и быстро удалось ее дело. „Я никогда не пойму и не утешусь, — писала она своей дочери в это время, — что 16—20 тыс. злодеев могут подчинить себе 4 млн людей, которые ничего о них не хотят знать“¹. Это была женщина гордая и решительная, умная и самолюбивая; не муж ее, а она стала душой реакции. „Король, да благословит его господь, — философ; но королева живо чувствует, что случилось“, — писал Нельсон лорду Спенсеру. Положение казалось для королевской семьи отча-

¹ Helfert. *Fabrizio Ruffo*. Wien, 1882. P. 79.

янным, — и вот тогда-то выступил на первый план человек, задумавший создать контрреволюцию.

Кардинал Фабрицио Руффо был человек решительный и предприимчивый, авантюрист и кондотьер по натуре, ловкий организатор, боец по темпераменту, человек, вместе с тем свободный от серьезной привязанности к каким бы то ни было политическим убеждениям, но всеми своими материальными интересами связанный со старым порядком. Когда Бурбоны бежали в Сицилию, он тоже туда укрылся от надвигавшихся на Неаполь французов. Когда в Неаполе была провозглашена республика, Руффо составил план начать против нее систематическую борьбу, фанатизируя население и настраивая его против новой формы правления, для чего решил начать с формирования шаяк среди темного, невежественного населения Калабрии, состоявшего из пастухов, крестьян-землепашцев, рыбаков и профессиональных разбойников. Королева Каролина заставила мужа дать кардиналу Руффо все полномочия, и предприятие началось. Высадившись в Калабрии, Руффо через духовенство широчайшим образом распространил ряд воззваний, которые расклеивались, раздавались, читались с церковного амвона и т.д. В этих воззваниях жители приглашались защищать церковь, кровь св. Януария, честь своих жен и дочерей, собственное имущество от буйных республиканцев и их нечестивых друзей — французов. Роялистские банды быстро собирались. В деревнях проявлялись все чаще случаи самосуда над „якобинцами“; убивать, хотя бы из-за угла, республикански настроенных людей рекомендовалось там, где еще нельзя было делать это открыто, — и подобные действия провозглашались деяниями богоугодными. Мы уже выше отметили, что в социально-экономическом отношении свержение абсолютизма еще не составляло тогда неизбежной необходимости, что масса деревенского населения чувствовала благодарность к династии за освобождение от феодального гнета. Это необычайно облегчило дело кардиналу Руффо в деревнях и селах. Немногие передовые люди должны были, спасаясь от мучительнейшей смерти, бежать в города, где опиравшаяся на французов республика чувствовала себя несколько твер-

же. Под знамена кардинала Руффо сбегалась самая пестрая публика. Тут были и беглые каторжники, и дезертиры, и разбойники, и разоренные помещики, и монахи, и священники, и публичные женщины, и полицейские, уволенные республиканским правительством, и контрабандисты. Это сборище получило от своего вождя название „христианская армия“, *armata christiana*. Назывались они также сантафедистами (*Santa fede* — святая вера). Все эти лица свирепствовали самым страшным образом, убивая якобы за республиканизм тех, кого рассчитывали с большей или меньшей пользой ограбить. Достаточно было им в каком-либо доме найти республиканскую кокарду, чтобы подвергнуть этот дом полнейшему разграблению. Когда уже больше ничего грабить не оставалось, начались поджоги. Нечто трудно вообразимое творилось в городах и местечках, куда вступали „руфффианцы“: насиловались женщины, избивались по соображениям личной мести или выгоды все, кто не успевал убежать в Неаполь и в другие места, занятые французами. Руффо учреждал в занимаемых им местах военно-полевые суды, но не для того, чтобы судить свои шайки, конечно, а для вешания мнимых и действительных „якобинцев“, которых еще не успели истребить его подчиненные. Виселицы, изнасилования, грабежи, пожары, пытки, молебствия, убийства, церковные процессии — вот чем ознаменовывалось поступательное движение руфффианской контрреволюции. Ряд городов подвергся полнейшему разграблению и сожжению. Награбивши вдоволь, отдельные шайки стали уходить по домам, чтобы припрятать добычу, и Руффо приходилось умолять их, чтобы они повременили, и напоминать об их обязанностях к Фердинанду, Каролине и св. Януарию. „Сантафедисты“ и „христианская армия“ оказывались глухи к этим призывам; многих, впрочем, удавалось удерживать или возвращать (уже с пути) перспективами новых благополучий. Бесспорно, впрочем, что часть руфффианцев действовала под влиянием фанатической ненависти к „безбожникам“ и иноземцам и их друзьям, республиканцам. Республика же пока ничего не сделала такого, что могло сколько-нибудь серьезно содействовать ее популярности в народе. От начала до конца она

держалась на французских штыках; убогой реакционно-демагогической проповеди Руффо она ничего не противопоставила, кроме высокопарных восхвалений свободы, плохо понятых городскими лаццарони (в деревнях же ее эмиссары со времени начала успехов Руффо уже почти не появлялись, кроме ближайших Неаполю мест). Агенты Руффо, шнырявшие близ Неаполя и в самой столице, пробуждали в лаццарони уснувшего было зверя. Начались ночные нападения на республиканцев и убийства. Открыто выступать они еще не смели, боясь французов. Руффо, возбуждавший к грабежам и убийствам, все позволявший и прощавший за истребление республиканцев, сделался для них божком, еще когда начались его успехи в провинции. Чем больше становились успехи Руффо, тем наглее и страшнее неистовствовали его шайки. Они уже избивали без разбора всех, кто под руку попадется, при вступлении в новое село, в новый город, они нападали на женские монастыри и насиловали монахинь; пожары освещали всю юго-западную Италию, от южной оконечности Калабрии до Неаполя. Королева Каролина, следившая из Сицилии за действиями своего друга, была в решительном восторге, который и выражала в письмах к нему и к другим лицам. Тогда было больше простодушия и меньше дипломатии: разбой, чинимый Руффо, казался Каролине выгодным для нее, она этому разбою и радовалась, без притворных вздыханий и корректных оговорок. Когда, ввиду общего положения вещей на итальянском театре войны, французское правительство приказало своим войскам идти из Неаполя к северу (в первых числах мая того же 1799 г.), то скоро наступила развязка. Своими силами держаться против Руффо, его шаек и флота Нельсона, помогавшего Бурбонам, республиканцы, конечно, не могли. Когда явились в Италию присланные Павлом I русские подкрепления, — час неаполитанской свободы пробил окончательно. В конце июня Неаполь сдался, и Руффо вошел в него. Началась дикая, свирепая вакханалия казней и расправ, причем широкое участие было предоставлено „самодеятельности“ и почину руффианских шаек и торжествующих лаццарони, хотя справедливость требует заметить, что полное нарушение кое-

каких выговоренных республиканцами условий (при сдаче) было совершено благодаря Каролине и Нельсону, а не Руффо. Неистовствам королевы, ее судей, палачей и руффийских шаек конца не было¹. „Лишившись пары тысяч мошенников, — писала королева, — мы слабее не станем“. Злодеяния лаццарони над совершенно неповинными людьми, наконец, заставили самого Руффо взмолиться, чтобы поскорее приехала королевская семья и как-нибудь образумила бы лаццарони, ибо улицы покрыты трупами невинно убиенных. Но Каролина не торопилась. Вообще сравнительно с ней сам Руффо мог казаться человеком сентиментальным. Давши лаццарони вдоволь натешиться, правительство их остановило.

Таков был грандиозный и вполне удавшийся опыт неаполитанской контрреволюции. Через 6 лет Наполеон Бурбонов низложил, а в 1815 г. они вернулись. Династия неаполитанских Бурбонов продержалась на престоле с 1815 г. еще 45 лет; за эти десятилетия революционное движение то воскресало, то потухало, и чем шире распространялась потребность в устранении абсолютизма, чем более эта потребность переплеталась со столь же осознанной потребностью в объединении Италии, словом, чем серьезнее становилось положение династии, которой угрожала в лучшем случае потеря самодержавной власти, а в худшем — потеря неаполитанской короны, — тем усерднее работали явная и тайная полиция и всевозможные следственные комиссии, суды и застенки. Тупая и беспощадная свирепость, обнаруженная Бурбонами при самозащите, окончательно лишила династию той личной популярности, которой, как сказано, она пользовалась среди низших слоев населения в конце XVIII в.; еще более этому способствовало, конечно, быстро прогрессирувавшее обнищание и общее недовольство народной массы. Поэтому новые поползновения воскресить руффийство с 20-х гг. XIX в. уже делались бегло и случайно и не приводили к каким-либо крупным результатам. Впрочем, некоторые факты поощрения частной контрреволюционной деятельно-

¹ Подробнее о белом терроре см.: Fortunato J. *Napolitani del 1799*. Fireuze, 1884, Conforti L. *Napoli del 1799*. (Неизд. докум.).

сти неаполитанского правительства в XIX в. были настолько ярки, что обратили на себя внимание даже за границей. Так, в своем знаменитом (первом) письме к лорду Эбердину Гладстон говорит об одном либеральном депутате неаполитанской палаты (избранной согласно недолговечной „конституции“ 1848 г.), который был убит общеизвестным священником Пелузо, причем убийцу не только не беспокоили по этому поводу, но даже дали за убийство пенсию. (Заметим мимоходом, что эти два письма Гладстона к Эбердину, произведшие в свое время столь подавляющее впечатление на Италию и всю Европу, наверно, прочлись бы с интересом и у нас, будь они переведены на русский язык).

В 1805 г. правительство Бурбонов, только что потерявшее снова власть в Неаполе, деятельно старалось возобновить все ужасы 1799 г., для чего рассылало эмиссаров и агитаторов, подстрекавших народ к грабежам, поджогам и убийствам. Каноза взял на себя деятельную организацию этих погромов и убийств и поставил провокационное дело на широкую почву; за эти заслуги по водворении Бурбонов в Неаполе (после свержения Мюрата) Каноза был сделан министром полиции. Образовалась особая „секта“ (*dei Caldegarì*), при помощи которой Каноза, ставший в 1816 г. во главе полиции, решил бороться против карбонариев и либералов. Полиция раздавала им оружие и разные удостоверения и бумаги, которые могли бы обеспечить им безопасность и повсеместное покровительство властей. Каноза был почти постоянно пьян и готов к убийству и насилию и, чтобы угодить ханжеству короля, постоянно же прикидывался необычайно набожным. Он ревностно поддерживал в стране анархию; грабежи, убийства и всякого рода уголовные преступления, если от них страдали „подозрительные“, оставались безнаказанными. Жалобы, приносимые двору, не достигали цели. Даже посланники иностранных держав протестовали (ирония судеб захотела, чтобы одним из первых запротестовал посланник русского правительства), и когда, наконец, король с ним расстался, то наградил его богатейшей пенсией. Любопытно, что многие из организованных Канозой реакционных *calderari* (медники) в ближайшие годы перешли к

карбонариям¹: также одно из нередких явлений в истории массовой провокации, которая, вызывая дух организованного политического действия в темной массе, часто не в состоянии уже бывает его заковать. При революционной вспышке 1820—1821 гг. и ее подавлении руффиянство уже к жизни призвано не было; во время реакции 1849 и следующих годов правительство также довольствовалось, кроме единичных и случайных фактов, вроде вышеуказанного убийства либерального депутата, своим войском, полицией, судами, тюрьмами и легальными убийствами по приговорам официальных судилищ. Счастливые для абсолютизма времена Руффо и Канозы миновали. Приходилось довольствоваться усиленной пропагандой через посредство церкви, усиленными посевами ненависти и отвращения к либералам и конституционалистам посредством проповедей, духовных брошюр и т.д., — но организовывать банды для разбоев и убийств уже стало затруднительно и небезопасно. Бурбоны уже начали опираться исключительно на армию. До 1848 г. она была равна 40 тыс. человек, после 1848 г. ее довели до ста тысяч, причем на ее содержание из 30 млн дукатов, получаемых государством ежегодно, тратилось 18 млн. За этой армией Бурбоны сильно ухаживали, всячески стараясь превратить ее в чуждое народу и преданное династии орудие. Для этого они не гнушались самым явным образом фамиллярничать с ней и заискивать в казарме², — черта, свойственная наученному горьким опытом абсолютизму разных стран в XIX в., но, как уже было сказано, несвойственная абсолютизму Франции перед революцией. Характерно, что и неаполитанский абсолютизм во время Руффо, когда его поддержка была не только в армии, но и в народной массе, меньше заискивал в солдатах, нежели в 30-х и 40-х гг. XIX в., когда осталась одна армия, а на активную помощь народа уже рассчитывать стало трудно. Всемогушая полиция и подчиненная ей армия — вот что охраняло династию вплоть до начала объединения Италии и до высадки Гарибальди в Сицилии.

¹ Cp Colletta P. *Storia del Napoli* Capolago, 1837 V IV P. 94

² Cp . *De Cesare H. La fine di un regno*. Castello, 1900 V. I. P. 154—155.

Быстрота и легкость, с какой население королевства перешло на сторону Гарибальди, показали лишний раз, что сами по себе полиция и армия судьбами нации управлять не могут, какой бы твердой надеждой на это ни ласкал себя тот или иной двор.

VII

Возвращаясь к анализу контрреволюционной деятельности абсолютизма в России, мы видим, что задачи полицейских агентов у нас были гораздо труднее задач Руффо в 1799 г. и Канозы в 1806—1815 гг. и в 1816—1817 гг. После сказанного много говорить об этом не приходится. Руффо и Каноза действовали в темной, далекой от революционного состояния массе; нации провокаторы действовали в революционной стране. Неаполитанские — долго прикрывались знаменем борьбы против иноземного завоевателя; у наших — этого мотива в распоряжении не имелось. Неаполитанские — действовали в обстановке совсем некультурного земледельческого государства, где почти не было печати, где борьба с провокацией была страшно затруднена полной безграмотностью населения, где духовенство, всецело стоявшее на стороне Руффо и Канозы, пользовалось огромным влиянием, — наши реакционные деятели устраивали свои дела в цивилизованной державе XX в., где о них писали со всеми деталями в газетах, где население в самых темных низинах своих стоит гораздо выше в умственном отношении, нежели неаполитанские лаццарони и калабрийские пастухи, где, наконец, духовенство далеко не играет той роли и не пользуется тем почти суеверным почетом. В 1848 г., в 1860 г. неаполитанские реакционеры уже не посмели повторить свои опыты, а наши — в 1905—1906 гг. посмели. И мы нарочно остановились на руффьянстве, чтобы показать, что у нас эта сторона дела выдержит с затмевающим успехом сравнение с самыми яркими проявлениями, какие только отметила история абсолютизма в Западной Европе.

В первом издании этой книги, вышедшем в 1906 г., после роспуска 1-й Думы, я в этом месте писал: „Повторяем,

нигде и никогда абсолютизм не имел в своем распоряжении такого дееспособного и сильного орудия, как абсолютизм русский, в лице политической полиции. И он этим орудием пользовался и пользуется истощающим образом.

Нигде и никогда абсолютизм не имел такой огромной военной силы, ибо он один только дожил до эпохи полного развития современного милитаризма, до эпохи колоссальных армий, вооруженных самыми усовершенствованными орудиями. Нигде, никогда, наконец, абсолютизм не имел возможности так оттягивать свое финансовое банкротство, как наш, ибо только он один дожил до современной эпохи, богатой свободными, выбрасываемыми ежегодно на денежную биржу Западной Европы миллиардами, ищущими сбыта даже в рискованных сферах.

Словом, все внешнее, искусственное, все суррогаты жизненных сил — все это в неслыханных никогда размерах оказалось в распоряжении нашего абсолютизма в его смертный час. Полное же сознание угрожающей опасности и долгая подготовка к ее встрече дали абсолютизму пустить почти без колебаний в ход все свои силы, „палить из всех батарей“, как выражался Меттерних.

Но все суррогаты, все „видимости“ не могут заменить жизненной силы, когда она отсутствует. Вандеи у нашего абсолютизма не было и быть не могло, ибо Вандею не сочинить, как черную сотню. И если крупнокапиталистический характер переживаемой миром теперь исторической эпохи сослужил службу абсолютизму, давши ему колоссальнейшую армию, усовершенствованный и сложнейший полицейский аппарат и прежде всего — готовые миллиарды в кредит на их содержание, — если все это в невиданной нигде и никогда степени усилило механическое сопротивление абсолютизма, дало ему чудовищные средства самозащиты, то, с другой стороны, тот же крупнокапиталистический характер эпохи, повторяем, *не позволит ни при каких условиях общественной реакции у нас быть теперь сколько-нибудь продолжительной, даже если бы она у нас могла наступить впрямь до уничтожения абсолютизма.* Повторяем то, что было сказано во втором очерке настоящей работы: роскошь

длительной реакции при абсолютизме у нас уже недоступна даже капиталистической буржуазии, т.е. классу, более всего к ней исторически-склонному...”

...Разложение остающейся еще за абсолютизмом механической силы сопротивления — вот что может составить существеннейшее содержание текущего исторического момента. В каких именно конкретных формах это разложение проявится, мы можем о том только предполагать и догадываться. Всякая попытка конкретизации повела бы тут к гаданиям, произвольным со стороны автора и потому совершенно неинтересным для читателя. Но, с другой стороны, утверждать, что, где бы то ни было и когда бы то ни было, организованная сила может совершенно не подвергнуться процессу разложения при длительной национальной революции, — значит фантазировать на консервативные темы; тут все дело в годах или месяцах, или неделях. А с точки зрения исторической эволюции — годы, месяцы, недели и дни — почти одинаково ничтожные хронологические деления”.

Самодержавный строй, *de jure* прекратившийся в России 17 октября 1905 г., — *de facto* был уничтожен всемирной войной.

ГЛАВА IV

Революционные перевороты 1917—1918 гг.

I

Последние два года (точнее, последние двадцать один месяц) мировой войны принесли с собой крушение трех монархий: русской, австрийской, германской.

Наше изложение было бы неполным, если бы мы прошли мимо этих событий. Во всяком случае, мы должны определить, что именно в событиях 1917—1918 гг. имеет хоть какое-нибудь отношение к строго очерченной теме настоящей работы. Борьба классов и развитие революционной драмы во всех трех странах *после* крушения монархии уже совсем выходит из рамок настоящей работы. Нас тут будет, таким образом, занимать лишь *первый* момент революции.

Nur drei Monarchen sind im früheren Sinne des Wortes geblieben; drei das ist nicht viel! „Только три монарха осталось, в прежнем смысле слова; три — это немного!“ — так увещевал Николая II в июле 1914 г. орган венского Министерства иностранных дел. Но если бы вдохновители этого органа в самом деле понимали, что начинается война, которая уничтожит все три монархии „прежнего“ характера, то, конечно, нота к Сербии осталась бы неотправленной. Действительно, объективным, непосредственным результатом войны было исчезновение всех трех монархий, из которых две были конституционными державами, а третья (Россия) — *фактически* оставалась государством личного режима, самодержавия самого типичного, несмотря на конституционную внешность.

Собственно, об Австрии говорить тут не приходится. Во-первых, в Австрии абсолютизма в 1918 г. уже не сущест-

вовало, во-вторых, — *главное* в катастрофе 1918 г. для Австрийской империи заключалось в распадении государства на составные части. Создание нескольких самостоятельных национальных держав на территории Габсбургской монархии — явление, анализ которого был бы совершенно неуместен в работе, посвященной падению абсолютистских систем.

О революции германской говорить здесь несколько уместнее.

Были в германской и в прусской конституциях черты, действительно, монархии „в прежнем смысле слова“, монархии абсолютной, хотя с формально юридической стороны, конечно, говорить о германском абсолютизме никак было невозможно.

Фактически за лицом, совмещавшим звание прусского короля с prerogативами германского императора, осталась почти вся полнота самодержавной власти в самой важной отрасли государственного управления: в области международной политики. Положение вещей в июле 1914 г., когда решалась судьба Европы, было таково, что, не спрашивая рейхстага и вообще не считаясь с мнением какого бы то ни было конституционного учреждения, Вильгельм II мог объявить войну России и Франции, мог затем нарушить нейтралитет Бельгии и вообще совершить ряд непоправимых поступков, решивших участь страны на долгие годы вперед. И не только в июле 1914 г., но и вплоть до октябрьских конституционных новелл 1918 г. эта бесконтрольная власть императора во всех вопросах внешней политики оставалась неприкосновенной.

Движение в германском народе и войске, начавшееся в октябре и приведшее в ноябре 1918 г. к революции и к полному уничтожению монархии, было вызвано именно раздражением по поводу последствий вильгельмовской внешней политики. В *этом* смысле можно причислить и революцию 9 ноября 1918 г. к числу тех переворотов, которым суждено было покончить с абсолютизмом.

Но есть и еще одна сторона дела в германских ноябрьских событиях. В ноябрьские дни безвозвратно был уничтожен тот строй, который один на всем пространстве Западной

Европы сохранил еще за носителем верховной власти такое громадное преобладание также и во всех внутренних делах. Правда, в области внутренней политики об этой власти (или о *полноте* этой власти) можно толковать в применении не ко всей Германии, а лишь к Пруссии. Но в Пруссии — конституция к началу октября 1918 г. была точь-в-точь, до последних мелочей, такой самой, какой она вышла из рук своих создателей в 1850 г., в момент жестокой контрреволюции, в годину беспрепятственного разгула реакционных страстей. Школа знаменитого германского государствоведа Лабанда, в своем стремлении еще более упрочить и без того прочную монархию в Пруссии, развивала в конце XIX в. и в начале XX в. мысль, что, собственно, прусская конституция является лишь способом издания законов, который прусский король находит целесообразным; прусские учреждения, с ландтагом во главе, являются органами, посредством которых действует воля прусского короля. Вывод отсюда напрашивался сам собой; если завтра прусскому королю угодно будет начать как-нибудь иначе выражать свою волю, то ничто ему не может помешать это сделать. Вильгельм II в таком духе и изъяснялся, когда он говорил, что „оппозиция прусского дворянства прусскому королю есть бессмыслица“ и что за судьбы Германии он несет ответственность перед единым творцом — и больше ни перед кем. Эти настроения у Вильгельма и его приближенного круга продержались неврединно в течение всей войны. Уже погибая, в сентябре 1918 г., говоря с рабочими крупновских заводов в Эссене, Вильгельм наивно уверял их, что ему очень нелегко ежедневно нести перед создателем ответственность за вверенную ему германскую нацию. Самый взрыв революции последовал прежде всего во флоте: 28 октября на броненосце 3-й эскадры „Маркграф“, потом на броненосце „Великий Курфюрст“ (30 октября) и затем во *всех* эскадрах почти одновременно, — когда матросы узнали, что их хотят вести на верную смерть против англичан. Морское начальство впоследствии опровергало этот план, но капитан фон Персиус, первостепенный знаток морских дел, расследовавший специально это дело, торжественно заявил (позднее, 21 декабря

1918 г., в газете „Berliner Tageblatt“ (Берлинер Тагеблатт), что матросы были *совершенно правы* в своих опасениях, и что намерение дать им случай с эффектом погибнуть действительно было налицо, так что только революция предотвратила выход флота в море на безусловную гибель.

Это было *вполне* в духе Вильгельма и олицетворяемой им системы: самому будучи лично в полной, абсолютной, старательно организованной и рачительно гарантируемой безопасности — других посылать на верную гибель für Kaiser und Reich, für König und Vaterland (за императора и империю, за короля и отечество). Именно человек, полагающий, что он абсолютно никому и ни в чем не должен давать и не будет давать отчета, — мог, вместе с единомышленниками, придумать этот финальный эффект. Но эффект не удался, а попытка его произвести вызвала революцию, которая спустя десять дней низвергла династию Гогенцоллернов с престола. Можно сказать поэтому, что первым толчком к революции послужили действия, психологически обусловленные существованием пережитков чисто абсолютистского мышления в носителе верховной власти и в части командующего класса вообще. Спустя месяц после революции в левой (буржуазно-радикальной) печати как-то было замечено, что политические теории и порядки эпохи Вильгельма II будут казаться потомкам таким же чуждым и странным явлением, как, например, преследование ведьм и другие суеверия прошедших веков. „Мы только в 1918 г. совсем покончили с абсолютизмом“, — эта фраза стала ходячей в германской социалистической, да и буржуазно-радикальной, прессе. Тут, может быть, есть преувеличение с чисто формальной стороны, но есть и какая-то жизненная правда. И уж из-за такого убеждения, многими в Германии высказываемого, мы не сочли себя вправе обойти Германию 1918 г. молчанием в настоящей работе.

Переходим к России.

Период 1906—1917 гг., с точки зрения формально-юридической, был в истории России, конечно, временем конституционной монархии. Но фактически в распоряжении представителя верховной власти находились почти неограниченные возможности делать во внутренней и внешней политике все то, против чего протестовали законодательные учреждения. В частности, вся полнота исполнительной власти, все управление находились в полном, бесконтрольном распоряжении монарха и министров, его волей поставленных и ему повинующихся.

Мало того. Очень редко в истории русского самодержавия бывали эпохи, до такой степени отмеченные печатью личного режима, личного вмешательства, как именно эти годы. Легенда о слабом государе, поддававшемся всегда чуждому влиянию, конечно, нуждается в полном пересмотре, после которого едва ли она уцелеет в неприкосновенном виде. Здесь не место ставить вопрос во всей полноте. Достаточно только внести наиболее необходимые оговорки. На Николая II имели „влияние“ *только* те лица, которые отстаивали за монархом всю полноту произвольной власти; и как только они начинали колебаться хоть немного в этом отношении, тотчас же, мгновенно, без всяких переходов, их „влияние“ рассеивалось, как дым. В 1905 г. Д.Ф.Трепов пользуется неограниченным влиянием при дворе, ибо он рекомендует для отстаивания самодержавия не скупиться в расходовании патронов. Но стоит тому же Трепову, спустя несколько месяцев, призадуматься над вопросом о включении „общественных элементов“ в министерство, — и тотчас же его постигает полная и безнадежная опала. Влияние Александры Федоровны заключалось сначала в том, что она поддакивала мужу, когда решался вопрос об активной политике на Дальнем Востоке, и кружок Безобразова-Алексеева вел Россию прямым путем к войне с Японией (причем этот кружок действовал в полнейшем согласии с задушевнейшими мечтами и желаниями самого императора); ее „влияние“

затем выражалось во всегдашних и настойчивых напоминаниях о том, что Николай есть царь, которому надлежит слушать только голос своего сердца, своей совести и т.д.; что нужно отстаивать свою власть от Родзянко, от Гучкова, от Николая Николаевича. Точно таково же было „влияние“ Распутина, „влияние“ Николая Маклакова, „влияние“ А.Д.Протопопова. Император Николай любил слушать тех, которые высказывали его мысли, потворствовали его стремлениям, осуществляли его желания. *Никогда*, за всю свою жизнь, он не подчинился человеку, который бы в своих воззрениях сколько-нибудь отклонялся от догмы безответственной царской власти. Только делая показавшийся ему в тот момент необходимым шахматный ход 17 октября 1905 г., он согласился, что на время целесообразно будет пойти за Витте; да и то почти сейчас же стал браниться по-французски, говоря о Сергее Юльевиче (по поводу манифеста): „Voilà où cette fripouille m'a conduit!“ (Вот до чего меня довел старый пройдоха!).

Он не уничтожил, правда, Манифеста 17 октября за те двенадцать лет, которые ему еще суждено было царствовать. Но все эти двенадцать лет были упорной и непрерывной борьбой против конституционной фикции, установившейся в России. „Переход России к мнимому конституционализму“ (Russlands Uebergang zum Schein-Konstitutionalismus) — так называли некоторые германские государствоведы русскую политическую действительность 1905—1917 гг.

Рассмотрим, каково было отношение различных классов общества к этому „мнимому конституционализму“.

Часть (и заметная часть) землевладельческого дворянства стояла за скорейшее возвращение абсолютизма в его чистом виде и к сведению законодательных учреждений к роли совещательных органов. Этой части общества казалось, что сохранение за дворянством последних остатков политического влияния и экономического фундамента — крупного землевладения — немыслимо при существовании даже такой робкой, межеумочной конституции, как та, которая была налицо. Другая часть дворянства примирилась в большой степени с фактом Манифеста 17 октября и его последствия-

ми, — и даже обнаруживала временами склонность к расширению парламентских прав. Первая часть дворянства примкнула к правым организациям, вторая — к октябристам.

К октябристам же примкнула часть представителей торгово-промышленного капитала. Приблизительно до 1913—1914 гг. они довольствуются легкой и частичной оппозицией кое-кому из реакционных министров, но в общем — поддерживают существующий „конституционный“ (он же „обновленный“) строй. Но с самого начала они не желают, чтобы отныне экономическая политика делалась помимо них, правительству же, носящему слишком явственный дворянский оттенок, они, именно поэтому, в вопросах экономической политики доверяют очень мало. Они ревнивым оком следят за потворством и покровительством аграриям, интересы которых, как всегда и везде, противоречат в очень существенных пунктах интересам промышленников и вообще представителей движимого капитала.

Другая часть того же класса оказалась гораздо резче в своей оппозиции и перешла в лагерь конституционно-демократической партии. К этой же партии примкнула значительная часть интеллигенции, как служилой, так и принадлежащей к свободным профессиям, примкнула и часть мелкобуржуазных городских слоев. Социалистические партии (как народнически окрашенные, так и социал-демократическая) поделили между собой представительство интересов обширных слоев деревенского населения и городского пролетариата. Эти партии были непримиримо враждебны существовавшему политическому строю. Такова была, с внешней стороны, политическая обстановка, в которой протекали последние годы существования русской монархии.

Опасность для монархии усугублялась тем, что буржуазные оппозиционные партии совершенно не учитывали относительной силы как врагов своих справа, так и врагов слева. В стране неразрешенного аграрного вопроса, в стране, где, по всем объективным данным и по давно уже сложившейся прочнейшей революционно-идеологической традиции, была немыслима политическая революция без революции социальной, по крайней мере без *попытки* социального

переворота, — в этой стране буржуазная оппозиция заняла непримиримое положение, способствовавшее резкому повышению революционного настроения в широчайших кругах непролетарских слоев народа. Ей до конца представлялось, что революция есть по преимуществу педагогическое средство воздействия на заупрямившееся правительство. Со своей стороны, правительство, если не считать нескольких одиноких людей в его составе и составе близких к нему кругов, склонно было думать, что главная для него опасность — в Милюкове и других *futures-ministres* (будущих министрах), в конкурентах, которые тоже гонятся за портфелями. Доверенный человек (*ein Gewährsmann*) Теодора Шимана из высших петербургских бюрократических или придворных слоев (с которыми только и водился покойный берлинский историк и друг Вильгельма) писал ему в 1913 г. с беспокойством, что, в случае войны, в России вспыхнет революция и Россией завладеет новое правительство, состоящее из Милюкова, Набокова и Иосифа Гессена. Обе стороны, таким образом, вели борьбу, даже и не подозревая, кто и как их слушает и над какой бездной они разыгрывают свою дуэль. Для обеих сторон революция была или пугалом, которое полезно при случае пустить в ход, чтобы смутить другую сторону, или предлогом, которым удобно воспользоваться, чтобы заполучить в свои руки новые деньги и новые полномочия.

Положение русского полуабсолютизма было опасным еще и по другой причине. Гибельная окраинная политика сделала Финляндию, Польшу, Кавказ постоянными кратерами, откуда можно и должно ждать извержений; да и без этой окраинной политики установить *modus vivendi* (способ существования) с несколькими Ирландиями при общем уровне русской государственной культуры было трудно: подобные задачи даже и Англии плохо удаются и, главное, требуют долгих десятилетий для сколько-нибудь терпимого своего разрешения. А с другой стороны, даже те представители оппозиции, которые вообще считали себя (и были на самом деле, согласно с экономическими интересами представляемых ими групп населения) приверженцами идеи единой и

неделимой России, вообразили, будто достаточно наскоро включить в свою программу несколько благожелательных пунктов о самоуправлении и о правах инородцев, — чтобы справиться с этим вопросом. Поэтому, на свою беду, пугать их призраком распада русской государственной территории правительство не могло: они в этот распад почему-то отказывались верить.

Имея, таким образом, за собой очень вялую и слабую поддержку, а против себя — деятельных и упорных противников, отчасти не понимавших опасности собственного своего положения, но тем более сильно и беспорядочно рубивших сук, правящая кучка во главе с императором и ближайшими к нему лицами тоже обнаруживала полное и безнадежное отсутствие всякого чувства действительности. Коренной, *все* затмевающий своей громадностью, *все* предопределяющий собой факт русской действительности, — крестьянский земельный кризис, обусловивший готовность громадных народных масс к насильственному ниспровержению всего государственного строя, — этот факт был просмотрен, выключен из соображения. Разогнать 1-ую Думу и убить Герценштейна, разогнать 2-ую Думу и выгнать со службы Кутлера, напечатать два-три манифеста или указа с упоминанием о священном праве собственности, — вот почти вся аптека против страшной болезни, подъедавшей корни всего строя. Закон 9 ноября 1906 г., без увеличения общей площади крестьянского землевладения, мог бы все же иметь влияние, в смысле создания некоторых кадров мелких земельных собственников, если бы... он не опоздал на сорок пять лет, если бы он был, например, издан одновременно с „Положениями“ 19 февраля 1861 г. Но изданный в 1906 г. — он уже мало что смог изменить в пользу существующего строя: времени не хватило.

III

Положение русского полуабсолютизма было бы при этих условиях в высшей степени опасным, даже если бы Россия была робинзоновским островом. Но все-таки, если

бы она была таким островом, если бы монархии пришлось считаться только с внутренней политикой, а внешней вовсе не было бы, тогда была бы возможна борьба, — и борьба, может быть, довольно длительная. Средства самозащиты были накоплены, сознание смертельной опасности могло бы делаться все яснее и острее по мере постепенного развития революционного кризиса, могли — при постепенном, растянутом на несколько лет революционном движении — произойти некоторые изменения и сдвиги в оппозиционных слоях буржуазного общества. Словом, хотя невозможно себе представить, чтобы без серьезных революционных потрясений могли быть сколько-нибудь удовлетворительно разрешены вопросы вроде аграрного или окраинного, хотя и в рабочем вопросе, как он был поставлен историей, таились многочисленные и грозные революционные стимулы, хотя для сколько-нибудь удовлетворительного — не то, что разрешения, а даже приступа к этим вопросам, — настоящей предпосылкой являлось исчезновение персонального режима и замена его реально действующей конституцией, — но все эти необходимые события как революционного, так и неревolutionного характера, которые, с полной несомненностью, России предстояло пережить, были в необычайной степени, с одной стороны, ускорены, с другой стороны, видоизменены внешней политикой самодержавия в последние годы его существования. Я говорю о войне 1904—1905 гг. и о войне 1914 г. и следующих годов.

Теперь может считаться уже окончательно выясненным, что не было *никаких* экономических мотивов, которые бы побуждали Россию в первые годы XX в. к сколько-нибудь агрессивной политике в Корее. Речи не могло быть, например, о том, что для русской вывозной торговли, для русской обрабатывающей промышленности необходимо было политическое обладание Кореей, да еще так необходимо, что из-за этого стоило бы рисковать долгой и опасной войной с могущественной державой. И не только не было таких интересов, но ни один класс общества, никакая категория какого бы то ни было класса не толкала Николая II на это опаснейшее предприятие. Кружок аферистов, затеявший лесные

концессии на реке Ялу, в счет не идет. Вся сила этого ничтожного кружка (которого аппетиты можно было, без всяких войн, удовлетворить и привести к молчанию любым из бесчисленных кусков казенного пирога), вся непреодолимая мощь Безобразова и его друзей начиналась и кончалась личным благоволением императора Николая II, которому желательны были территориальные успехи в „Желтороссии“. Витте называл эту безумную политику „la politique du jeune homme“, или, иногда, по-русски — мальчишеством, мальчишеской политикой. Он делал все от себя зависящее, чтобы прекратить эту игру с огнем; другие министры, вроде А.Н.Куропаткина, тоже ее не одобряли (пока непоколебимая воля Николая не выявилась вполне); даже Плеве, желавший этой войны для более успешной борьбы против революционных настроений, — и он вовсе не был ее инициатором, а одобрил ее, уже когда дальневосточные дела обострились (без его участия) до самой опасной степени. Значит, инициативная роль принадлежала носителю верховной власти и теснейшему кругу его приближенных и доверенных лиц. Правда, более чем вероятно, что Николай II в самом деле впал в странную аберрацию мысли, которая, если согласиться с Витте, может быть сформулирована словами: войны не будет, — потому что я ее не хочу. Т.е. другими словами: я присоединяю Корею к России, но японцы не осмелятся выступить, и дело окончится мирно.

Эта политика и была одним из характерных проявлений тех не обусловленных экономически, самопроизвольных движений абсолютизма, о которых шла речь в начале этой книжки. Она затеяна была вскоре после смерти Александра III, когда все *казалось* сравнительно тихо и благополучно, — дальше развивалась весьма последовательно, хотя 1903 г. уже был и не так спокоен, как 1895 г. или 1896—1897 гг., или 1900 г. Не было средств и сил остановить этот бег, да не было и сознания опасности предприятия.

Война началась. Старое замечание Энгельса, что при современном социально-экономическом положении всякая большая война только на первых порах способствует усилению реакционных течений в обществе, а в случае затяжных

неудач может легко стать прологом к социальной революции, — это замечание стало как будто оправдываться уже с конца 1904 г. и с начала 1905 г. Война была проиграна, разразилась революция, но так как она разразилась, когда война уже окончилась, то правительству удалось на этот раз еще восторжествовать. Такого лозунга, могучего по своему действию на солдат, как „долой войну“, у революции 1905 г. в распоряжении уже не было с августа, когда был заключен мир.

Абсолютистский принцип был надломлен, но не побежден. Началось то двенадцатилетие, о котором шла речь выше.

В это двенадцатилетие и совершились те события в международной политике, которые довершили гибель абсолютизма, а вместе с ним и монархии. На этот раз так же, как в 1902—1903 гг., русская внешняя политика приняла агрессивный характер, но, в полную противоположность эпохе перед японской войной, теперь, перед войной 1914 г., эта агрессивная политика подсказывалась правительству influentialными общественными слоями. Овладение Персией и, если возможно, частью турецких причерноморских территорий — вот идея, которая стала с 1907 г., особенно 1910—1912 гг., с эпохи больших урожаев, чрезвычайно популярной в торгово-промышленных кругах и поэтому в тех политических партиях, которые отражали настроение этих кругов, и в соответствующей, очень влиятельной политической печати. Нужно сказать, что обстоятельства, объективно данные, чрезвычайно благоприятствовали культивированию этих восточных и ближневосточных планов и расчетов. Дело в том, что, начиная уже с 1906 г. (если не с осени 1905 г., тотчас после заключения Портсмутского мира), в политике Англии по отношению к России стал происходить тот крутой поворот, который по быстроте и радикальному характеру своему занимает исключительное место даже в издававшей виды истории британской дипломатии. Этот поворот, сделавший в несколько месяцев Англию другом России из смертельного врага, каким она была долгие столетия и каким еще оставалась в эпоху японской войны, поворот, произведе-

денный с молчаливого согласия кабинета королем Эдуардом VII, обуславливался систематической подготовкой союза великих держав против германского экономического и политического преобладания.

Эдуард VII знал, что иногда выгодно очень щедро заплатить, и умел вовремя поражать своей щедростью. В апреле 1904 г. он отдал Франции Мароккскую империю за имевший чисто бумажное значение отказ французов от Египта, где все равно они уже ничего не могли сделать против Англии. Это было сделано, чтобы *начать* построение Антанты. В августе 1907 г. Эдуард VII и его правительство отдали России лучшую, самую богатую часть Персии и согласились на опасное соседство, чтобы *довершить* построение Антанты. Для страны, только что потерпевшей тяжкое поражение на Дальнем Востоке, с еще не оправившейся, дезорганизованной армией, с вечно грозящим новым взрывом внутренней борьбы, этот договор с Англией 27 августа 1907 г. был колоссальным дипломатическим успехом. Такой договор было бы России уместно подписать в результате большой выигранной ею кампании. Получить его *даром*, из рук величайшего вчерашнего врага, — конечно, являлось случаем совершенно исключительным. Немудрено, что этот договор, отдававший около половины (и лучшей половины) Персии под русское „влияние“, подействовал самым возбуждающим образом на те круги русского общества, которые ближайшим образом были заинтересованы в экономической экспансии на Ближнем и Среднем Востоке.

Эти круги (и правительство, на которое они влияли) не учли той громадной цены, которую они, в сущности, уплатили за Северную Персию: вхождение в Антанту автоматически влекло за собой дипломатическую ссору с Германией, со всеми опаснейшими последствиями этой ссоры.

Ошибочно было бы, впрочем, думать, как думал, например, П.Н.Дурново, что для спасения от катастрофы достаточно было бы отойти от Англии и остаться зрителями англо-германской борьбы. России все равно не позволили бы остаться зрительницей, и она была бы втянута в борьбу, если не против Германии, то против Англии и Японии, а при

внутреннем положении России, при неразрешенном и неразрешимом аграрном вопросе, при напряженности окраинных проблем, при обострении рабочего вопроса, при раздражении торгово-промышленных кругов, которые усмотрели бы в германофильской политике измену экономическим интересам России, при поражениях, которые все равно выпали бы на долю России в войне против Японии и Англии, — революция, как прямое последствие войны, была бы, и в этом гипотетическом случае, тоже более чем вероятна.

Но, так или иначе, политика игры с огнем восторжествовала по всей линии. Даже оппозиционная пресса, не говоря уже о другой, весьма снисходительным оком следила за похождениями графа Бобринского в „подъяремной Руси“, т.е. за его агитацией в Австрии и за речами на славянских трапезах в Петербурге. На *этот* раз правительство вовсе не было одиноко в своей внешней политике, 1914 г. вовсе не был в этом отношении похож на 1904 г.

Началась война. Вильгельм II, тоже не имея ни малейшего понятия об истинной природе (и об опасности для него лично) затеянного Австрией и Германией конфликта с Сербией, об истинных размерах предприятия, бодро устремился навстречу гибели. „Eiu frisch-fromm-fröhlicher Krieg!“ — восклицала в веселье правительственная германская печать, учитывая предстоящие после двухмесячных усилий победные лавры. Желанная война, веселая, короткая, победоносная — наконец, наступила. „Marsch! Marsch! wird geblasen!“ (Марш! Марш! Мы им всыплем!). Мечта кронпринца, высказанная в 1913 г., сбылась.

В России трудность дела тоже не была сразу оценена по достоинству. Но те круги общества, которые еще до войны мечтали об экспансии (экономической и политической) на Востоке и о завоевании берегов Черного моря, правильно, со своей точки зрения, предвидели: 1) что Германия, Австрия и Турция погибнут, если Антанта не будет соглашаться на мир несколько лет подряд, т.е. что никакие победы не спасут Германию, Австрию и Турцию (Болгарией не интересовались), если их враги „продержатся“, даже терпя поражения; 2) что Россия, в случае выигрыша, получит больше добычи,

чем все остальные участники войны, ибо именно ей достанется большая часть Турции и большие провинции Германии и Австрии.

Но — нужно было продержаться.

И вот тут-то сказался неизбежный фатум. Абсолютизм, который существовал в России *фактически*, не смог никак продержаться. В Англии и Франции составлялись коалиционные кабинеты, напрягались все усилия, чтобы выработать наиболее авторитетное и дееспособное правительство, наладить аппарат власти, — а в России началась неистовая, фантастическая, непрерывная, как бы умышленная, энергичнейшая провокация революционного взрыва. Безоружные войска, отданные Сухомлиновым и его сподвижниками под ураганный огонь противника, от которого им предоставлялось отбиваться палками; Горемыкин, юмористически отвечающий: „Не слышу“, когда ему говорят посетившие его депутаты Думы, что он немедленно должен подать в отставку вместе с Сухомлиновым; Григорий Распутин, которого необходимо всеми мерами протрезвлять ежедневно к 10 часам утра¹, так как в 10 часов утра у него (в разгар опаснейшей войны!) испрашиваются по телефону политические директивы; явно больной человек, который сохраняет за собой портфель внутренних дел *исключительно* потому, что он снискал всеобщее недоверие, отчасти переходящее в ненависть, отчасти в презрение... С точки зрения темы настоящей работы, чрезвычайно важно отметить, что именно в эти последние годы и месяцы обреченного строя в тактике представителей режима окончательно восторжествовала мысль о губительности каких бы то ни было уступок. „Мы не повторим ошибок Людовика XVI, который довел себя уступками до эшафота“. Такова мысль. Они говорили это даже в 1914—1917 гг., когда именно значительная часть думской оппозиции пошла бы на все, лишь бы продолжать войну, сочла бы за серьезные „уступки“ даже такие ничтожные жертвы, как устранение Распутина, отставка Протопопова, призывание к делам Кривошеина, новое призывание Поливано-

¹ Показание С.П.Белецкого.

ва или Игнатьева! Это не значит, что подобные уступки могли бы непременно предотвратить революцию. Это только значит, что в свои последние месяцы монархия сделала все, что только могла, чтобы сплотить своих врагов, разъединить, обескуражить, обессилить своих друзей; что представители монархии как будто нарочно сделали все, от них зависящее, все самое невероятное, решительно ни на что не похожее, чтобы оттолкнуть от себя, к моменту смертельной опасности, самых, казалось бы, естественных своих защитников

А между тем нетерпение и раздражение охватывали все более и более те слои населения, которые не хотели революции, боялись ее — и вместе с тем, наблюдая всю эту фантазмагорию с диктатурой Распутина и министерством Протопопова, все более привыкали к мысли о неизбежности переворота. Классовое самосохранение этих слоев как-то притупилось и заглохло в эти последние месяцы, и они спокойно обсуждали шансы революции. Под переворотом им стала почему-то представляться чисто персональная перемена, нечто быстрое, однократное, однодневное происшествие в Царском Селе, которое будет с радостью воспринято армией, и все пойдет по-новому, по-хорошему, без ненужного любопытства и расспросов.

Мысль, что вследствие полнейшей несостоятельности и совершенно безумного поведения представителя верховной власти и его ближайшего окружения придется прекратить войну до неизбежного, но еще далекого момента краха Германии, Австрии и Турции, эта мысль, что верная добыча ускользает, что неповторимая, выгоднейшая дипломатическая комбинация расстраивается из-за безумств пережившего себя абсолютистского строя, необычайно раздражала и торгово-промышленные круги, и большую часть дворянства, и близкие к этим классам общественные слои. Теоретически им всем знакомая идея, что в России всякая революция будет революцией социальной, была забыта и поэтому (только поэтому) не пугала. В ноябре и декабре 1916 г., в январе и феврале 1917 г. казалось очень многим, что дело очень легко может быть исправлено быстрой хирургической операцией:

устранением царствующего императора и его жены. Но это было в стиле XVIII в., а не XX в. „Великие князья ждут от нас того, чего мы ждем от них“, — так выразился В.А.Маклаков, член Государственной думы, в эти напряженные недели, в эти последние дни перед взрывом и крушением монархии. Графов Паленов, Алексеев Орловых Екатерины, людей риска и воли, умевших смотреть на свою и чужую голову как на простую ставку в игре, уже не оказалось в этом робком и изнеженном, выросшем в салонах поколении. Они знали, что именно им нужно делать, некоторые даже понимали, что им лично в случае бездействия грозит страшная опасность, — и все же они предпочли возложить все надежды на красноречие В.А.Маклакова и П.Н.Милюкова. Но В.А.Маклаков ограничился, со своей стороны, указанием на „сумасшедшего шофера“ — и ждал, чтобы кто-нибудь другой обезвредил безумца. Они подталкивали друг друга, но никто не трогался с места.

Так дело дошло до февральского переворота 1917 г. и падения монархии. Абсолютизм перестал окончательно существовать одновременно со всей старой государственно-стью, многие институты которой вовсе не были логически связаны с идеей самодержавия и даже с той абсолютистской практикой, которая продолжалась после 17 октября 1905 г. вплоть до конца февраля 1917 г. Чем дольше абсолютизм в России зажил на свете, тем яростнее было стремление разрушить с ним не только то, что его прямо поддерживало, но и все то, что с ним рядом существовало.

Социальная революция поднялась одновременно с политической, новые люди из новых общественных слоев заняли место у руля государства. Но дальнейшая история России уже, по существу дела, выходит из рамок этой работы. Кончая эти краткие строки, относящиеся к гибели абсолютизма в России, нужно отметить еще следующее психологическое явление. Когда погибла монархия во Франции в эпоху Великой революции, то у приверженцев ее хватило силы долгие годы вести упорную, вооруженную и идейную, борьбу не только за восстановление монархии, но за восстановление именно *абсолютизма*, так как именно абсолютная мо-

нархия имелаь в виду вандейцами и большинством эмигрантов в Кобленце, в Гамбурге, в Лондоне. Уже и для Франции эта форма себя изжила в те времена, но не до такой все же степени, чтобы сознание внутренней правоты, убеждение — пусть ложное — в превосходстве абсолютизма окончательно покинуло всех. В России наблюдается иное. Не было после 1917 г. *ни одного* военного или идейного движения в пользу восстановления *абсолютизма*. Говорилось о монархии, даже о диктатуре как о временной мере, но, насколько нам известно, не было ни одной партии, которая дерзнула бы написать на своем знамени лозунги чистого абсолютизма как постоянной, нормальной для России формы правления. Этого и следовало ожидать. Когда почему-либо политический институт, давно утративший некогда питавшие его живые материальные корни, все же долго хиреет, но не умирает окончательно или, вернее, отказывается признать свою ненужность и свое омертвление, то сознание внутренней правоты отлетает от него и от его приверженцев. Некогда могучая, конструктивная, двигавшая массами идея умирает раньше, чем олицетворявший ее организм. И уже тогда ничто не может ни ее воскресить, ни этот организм надолго гальванизировать. Так бывает со всеми временными институтами в истории. А какие же институты в истории были не временными?

Т-щ Сталин и т-щ Тарле

В заглавие этого очерка вынесено обращение И.В.Сталина к Тарле — „т-шу“ — из сохранившегося единственного (?) письма „вождя“. Я полагаю, что это обращение избрано Сталиным не случайно: он таким образом давал понять разжалованному академику, что его жизнь отныне будет продолжаться в новой реальности, где он уже не будет ни „господином“, ни „милостивым государем“, ни даже просто „сударем“ — в мире, где можно быть только „товарищем“ или... „врагом народа“, из этих „товарищей“ состоящего, где слова Иисуса „кто не со Мною, тот против Меня! (Мф 12, 30) обезличены, переведены во множественное число и стали одним из лозунгов, оправдывающих массовые репрессии и преступления государства в его постоянной войне с собственным народом: „Кто не с нами, тот против нас!“ „Товарищеское“ обращение „вождя“ было призвано еще раз напомнить Тарле об этом весьма узком выборе: или, или...

Отношения Сталина и Тарле — наиболее интригующая загадка двух последних десятилетий жизни знаменитого историка.

В конце 70-х гг. прошлого века мне иногда приходилось общаться с питерскими историками, знавшими Тарле лично, и среди них была доктор истории Ида Григорьевна Гуткина, считавшая себя его ученицей и написавшая о нем несколько страниц воспоминаний. При встрече я задавал ей разные вопросы, в том числе на темы, которые она по идеологическим условиям того времени обошла в своих записках. Был и вопрос о Сталине в жизни Тарле. Она рассказала мне, что во время ее последней встречи с Тарле осенью 1954 г. историк уклонился от разговора о „вожде“:

— О Сталине я еще когда-нибудь вам все расскажу.

Но не рассказал, вернее — не успел рассказать.

Мое последнее общение с Тарле также относится к осени 1954 г. Перед моим отъездом мы долго говорили о том о сем, сидя на закрытой веранде мозжинской дачи, коснулись и почившего в бозе „вождя“. Тогда, по молодости лет, я еще не чувствовал тайны их „особых“ личных взаимоотношений и потому не был настойчив в своих расспросах. Тарле же сказал:

— Ты еще услышишь и узнаешь о нем очень много неожиданного. Где труп, там соберутся и орлы, только вот вряд ли это будут орлы. Скорее — холуи, для которых нет большего наслаждения, чем укусьть мертвого Хозяина. И думаю, вернее, знаю, что будет это очень скоро, ибо „орлы“ тоже не вечны.

Итак, тайна ушла вместе с людьми, к ней причастными, и поэтому каждый, кто после их ухода обращался к этой теме, был вынужден пользоваться отрывочными или косвенными сведениями и делать свои выводы, оставаясь в области предположений. При этом предположения могли быть самыми фантастическими.

Так, например, писатель Юрий Давыдов в замечательном (возможно, в самом лучшем) своем романе „Бестселлер“ сконструировал случайную встречу Сталина и Тарле летом 1917 г. в редакции журнала „Былое“, куда будущего „гения всех времен и народов“ привело душевное смятение: стоит ли продолжать участвовать в, казалось бы, обреченном на провал большевистском движении, бандитская сущность которого ему, как никому другому, была очевидна, или лучше, продав Ильича, примкнуть к демократическим силам. Одним из рупоров этих сил был журнал В.Л.Бурцева, в сотрудниках которого значился Тарле.

У Давыдова Сталин добрался до редакции „Былого“, когда у Бурцева шло совещание. Он еще не созрел для известного королевского негодования, вылившегося в чеканную фразу какого-то Луи: „Мне пришлось ждать!“ Ему у Давыдова таки пришлось ждать, и он ждал. И вот совещание закончилось, мимо Сталина проходят его участники — огромный Щеголев, потом будущий самоубийца Водовозов, а „следом г-н Тарле, еще не академик. Костюм из белой чесу-

чи, светлая соломенная шляпа, он направляется на дачу — в Сестрорецк или Мартышкино? Он, как и другие, на Сталина не глянул. Нет, не дано Тарле предугадать, что именно т. Сталин, ненавистник иудеев, его, еврея, не даст в обиду тридцать лет спустя“. Из контекста следует, что Сталин в романе Давыдова узнал и запомнил Тарле. Нарушения художественной правды и логики здесь нет, т.к. и до 1917 г. Тарле был не только известным историком и лектором, но и заметным публицистом, а в 1917 г. после Февральской революции он на некоторое время стал заметным общественным деятелем: он тогда съездил в составе делегации социал-демократов, не входящих в ленинскую шайку, на переговоры о взаимодействии с „отцом“ шведской социал-демократии, министром финансов Швеции Карлом Брантингом, будущим лауреатом Нобелевской премии мира, а затем вошел в Чрезвычайную следственную комиссию, созданную Временным правительством для расследования деятельности царских министров и сановников. Сталин, как известно, не был лишен авторской жилки — об этом свидетельствует и публикация стихов на грузинском языке, и упорная работа в русскоязычной партийной журналистике, и стремление сказать свое слово в теоретической области. (Здесь имеется в виду достаточно зрелая работа „Национальный вопрос и социал-демократия“, опубликованная за подписью К.Сталин в 1913 г. в легальном большевистском журнале „Просвещение“.) Если к этому добавить неутолимую страсть к чтению и феноменальную память Сталина, а также присущее грузинам уважение к печатному и ученому слову, то предположение Давыдова о том, что Тарле в 1917 г. уже был известен своему будущему „куму“ как человек, достойный некоторого внимания, имеет право на существование.

Тем не менее, никаких сведений о личном интересе Сталина к деятельности Тарле до и в первые десять-двенадцать лет после октябрьского переворота не имеется. Хотя Сталин, как внимательнейший читатель большевистской партийной и советской прессы, не мог не заметить постоянных нападок „историков-марксистов“ на все, что выходило из-под пера Тарле, особенно во второй половине двадцатых

годов, после того как он вопреки стараниям „партячейки“ Академии наук был избран ее действительным членом. Просто у Сталина тогда на все не хватало времени: ему, как всегда, приходилось воевать на два фронта — выковыривать из теплых руководящих мест командиров „ленинской гвардии“ и искоренять порожденное „новой экономической политикой“, внедренной т. Лениным, стремление людей к нормальной жизни. При этом во многих случаях „вредные привычки“ хорошо жить искоренялись вместе с людьми. Дел было невпроворот.

К началу тридцатых полегчало: вокруг „вождя“ сплотились „верные сталинцы“, и со дня на день мог наступить момент, когда физическое уничтожение „ленинской гвардии“ можно будет поставить на поток, а пока нужно было готовить „кандидатов“ для будущей мясорубки. Феноменальная память пригодилась Сталину и здесь: никакие списки ему не были нужны: он всех „товарищей“ помнил поименно. Как показало недалекое будущее, большинство третировавших Тарле „марксистов“ оказалось в этом виртуальном списке. Повезло лишь его, Тарле, главному врагу — признанному гуру всех ныне прочно забытых „историков-марксистов“ — Михаилу Николаевичу Покровскому: он умер в 1932 г.

Когда осенью 1931 г. по решению „Особого совещания“ ОГПУ Тарле был отправлен в ссылку в Алма-Ату, историк был потрясен: видимо, вследствие многолетнего общения с А.Ф.Кони в нем сохранялась вера в то, что в России могут существовать какие-то законы, и он надеялся на „справедливый суд“, на котором обнаружится глупость следователей, серьезно воспринимавших его фантазии о складах оружия в Пушкинском Доме и в Михайловском, о встречах с Папой римским и т. п., и все станет на свои места. Однако „суд“ в бандитском государстве вершился (и вершится) „по понятиям“, а истина никого не интересовала. И Тарле ищет тех, кто понимает идиотизм происходящего и может прийти к нему на помощь. Среди тех, чьей возможной помощи он не исключает, и М.Н.Покровский — все-таки вроде бы ученый, а ученый в трудные минуты может пренебречь теоретическими расхождениями и не отвернуться от находящегося в беде

коллеги. Тарле, конечно, не знал или не был полностью уверен в том, что „академик“ М.Н.Покровский — элементарный клеветник и опытный провокатор, еще в 1922 г. предлагавший ЧК арестовать всех „буржуазных спецов“, и главное — что именно этот „академик“ был истинным вдохновителем фабрикации „Академического дела“: по его призыву „переходить в наступление на всех научных фронтах“, поскольку „период мирного сожительства с наукой буржуазной изжит до конца“, в июле 1929 г. Ленинградский обком ВКП(б) не без подсказки Кремля принял постановление „*Не возражать против проведения чистки в Академии наук*“. Ну а о том, чтобы придать этой „чистке“ идиотские формы, позаботились идиоты-следователи.

Ответ „т-ща“ М.Н.Покровского отрезвил Тарле: „Когда Вы писали Ваше письмо, Евгений Викторович, Вы, очевидно, не знали, что я читал Ваши показания в оригинале и что передо мной, просто как перед историком, стоит такая дилемма: или Вы психически расстроены, или Ваше пребывание в Алма-Ате свидетельствует о необыкновенной мягкости советской власти: если бы Вы были французским гражданином и совершили все, о чем Вы рассказываете в Ваших показаниях, по отношению к Франции, Вы были бы теперь на Чертовом острове. Остается, значит, только вопрос об использовании Вас как научного работника независимо от Вашего политического прошлого. Поскольку заключенные в Соловках занимаются научно-исследовательской работой и исследования их печатаются, я не вижу оснований думать, чтобы это было невозможно для человека, интернированного в Алма-Ате, но я очень боюсь, что появление работ с Вашим именем, благодаря той печальной известности, которую это имя получило в СССР, встретит на своем пути очень большие трудности. Кроме того, как Вы догадываетесь, не могу дать никакого категорического ответа, не посоветовавшись с кем следует...“

Как видим, матерый провокатор и стукач Покровский не принял шуток со складом боеприпасов в Пушкинском Доме и был искренне огорчен мягкостью власти в отношении ссыльного Тарле. Покровскому виделись виселицы с каз-

ненными „спецами“ или хотя бы Соловки. Не забыл он и переправить письмо Тарле в ОГПУ, как положено в стране стукачей, сопроводив его следующей запиской:

„Секретно,
в ОГПУ
Секретный отдел.

Время от времени ко мне поступают письма историков, интернированных в различных областях Союза. Так как эти письма могут представлять интерес для ОГПУ, мне же они совершенно не нужны, пересылаю их Вам.

Очень прошу извинить за задержку в пересылке, она объясняется, во-первых, тем, что я был в течение ряда месяцев болен и, во-вторых, мне хотелось подобрать несколько таких писем,— они приходили в разное время“.

В порядке отступления скажу, что мне было бы интересно почитать „в оригинале“ показания самого Покровского, когда, доживи он до 37-го г., перед ним „дверь в ЧК“ была бы непременно „гостеприимно открыта“ (в кавычках — слова Покровского, отразившие его жажду расправы со „спецами“), и куда бы он зашел следом за теми, с кем он в 1932 г. „советовался“. Но Аллах почему-то проявил милость и прибрал его до срока, возможно, чтобы сопроводить в ад, куда, по словам пророка Мухаммеда, одними из первых проследуют завистливые ученые. Впрочем, никаким „ученым“ Покровский никогда не был: всего лишь бездарный компилятор.

Получив ответ „товарища“, Тарле понял, что в этой стране его юмор никто не оценит. Но, вероятно, он ошибался: у его „показаний“, в которых фантастические „признания“ перемежались с оригинальными для того времени мыслями о научном подходе к истории и об историческом образовании, был какой-то весьма серьезный читатель, оставивший на его текстах свои следы красным и синим карандашами. Через пять лет красный и синий карандаши будут гулять по рукописи знаменитого „Наполеона“, но там их принадлежность уже сомнений не вызывает: все цветные подчеркивания и пометки были сделаны рукой Сталина.

Косвенным свидетельством знакомства Сталина с материалами „Академического дела“ является и эпизод, относящийся к концу 30-х, когда „вождь“ имел беседу с Тарле и В.П.Потемкиным, дипломатом и историком (тогда первым заместителем наркома иностранных дел) по поводу подготовки „Истории дипломатии“. Эта идея Сталина так вдохновила Тарле, что он немедленно устно набросал подробный план такого издания. (Впрочем, не исключено, что об этом желании Сталина Тарле узнал заранее во время какой-нибудь неофициальной встречи с „вождем“ и подготовился к развитию событий.) Предложением Тарле Сталин был удовлетворен и, назвав его высококвалифицированной научной консультацией, выразил надежду, что Потемкин эту консультацию непременно оплатит. Эти слова „вождя“ так поразили Потемкина, что он рассказал о них в „узком кругу“, нарушив негласный в таких случаях обет молчания и не догадываясь, что в них, вероятно, отразился имевшийся в „Академическом деле“ донос С.Рожественского, который и стал формальным поводом для ареста Тарле и в котором говорилось о том, что „Тарле всегда был... большим любителем денег, ради них он был готов на все“. Сталин мог запомнить сей пассаж, но едва ли шутил, говоря о плате: к подготовке „Истории дипломатии“ он отнесся серьезно и, как свидетельствуют недавно опубликованные архивные документы, еще дважды — в 40-е годы — обсуждал с Тарле состав очередных томов этого издания. Отметим попутно, что созданная по идее Сталина „История дипломатии“ в той форме, которую предложил Тарле, продолжает переиздаваться и в XXI в.

А тогда, в конце 1931 г., возможно, благодаря тому, что в своем подлом письме Покровский, надо полагать, сам того не желая, напомнил ему о таком же сфальсифицированном „деле“ Дрейфуса, Тарле, единственный из всех осужденных по „Академическому делу“, официально отказался от всех своих показаний, объявив их вынужденно ложными, и стал ожидать „советского Золя“. Однако Золя ему не понадобился: решение о его возвращении из ссылки уже где-то было

принято, и опять-таки по „понятиям“, без всяких шумных процессов.

Отметим, что хлопоты Тарле имели благотворное влияние и на судьбы многих других осужденных по этому „делу“: годом раньше, годом позже они были возвращены из своих ссылок без поражений в правах.

Некоторые приписывают Сталину старинную „мудрость“, гласящую, что „месть — это блюдо, которое нужно есть холодным“. Думаю, что благодетание „вождь“ также относил к блюдам, которым следует дать настояться. И действительно, разве можно было позволить Тарле въехать в Москву и Питер из Алма-Аты на белом коне? Ведь это означало бы, что „органы“, которые, по определению, „никогда не ошибаются“, на этот раз ошиблись! Да и нужно было присмотреться к тому, как поведет себя историк, обретя свободу передвижения и действий в пределах клетки, именуемой СССР, среди „товарищей“. Так началось постепенное приближение Тарле к человеку, которого он сам, как и многие другие, именовал Хозяином.

Возникает вопрос: почему именно Тарле? Ведь по „Академическому делу“, кроме Платонова и Тарле, проходила целая плеяда известных профессионалов — М.М.Богословский, М.К.Любавский, С.В.Бахрушин, Б.А.Романов, чьи имена и до сих пор не забыты в исторической науке.

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, состоит из двух частей: почему вообще Сталину понадобился „свой человек“ за пределами государственного аппарата, и почему этим человеком оказался Тарле.

Поиск ответов на эти вопросы неизбежно приводит искателя в уже упомянутую область предположений.

В качестве ответа на первую часть вопроса может быть предложена элементарная версия: „Сталин скучал“. Обстановка в стране и в правящей „элите“ в начале 30-х гг., может быть, полнее, чем в научных трудах и мемуарах, отражена в известном стихотворении Мандельштама. Вспомним, каким виделось поэту тогдашнее окружение Сталина:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Устами поэтов, как и устами младенцев, глаголет истина. С помощью „тонкошеих вождей“ и „полулюдей“ (не будем здесь называть их поименно) Сталин к началу 30-х уже единолично управлял огромной страной, ведя смертный бой с населявшими эту страну народами. Его оружием были голод, сеть лагерей, не оставлявших надежду на выживание тем, кто туда попадал, толпы палачей. Ежегодный апофеоз его войны был намного масштабнее верещагинского. Число жертв исчислялось миллионами, и это придавало „вес“ и значительность существованию „вождя“ — он ощущал себя исторической личностью (каковой он, естественно, и был).

Как известно, отпуска нет на войне, но как-то расслабиться время от времени все же хотелось, и король стал забавляться. Он посещал Горького, стараясь вести умные беседы с основателем беломорканального „социалистического реализма“, с которым можно было поговорить о „высокой“ литературе, помянув Гете и еще кого-нибудь из великих: начитанности Сталину хватало, а его память сохраняла мельчайшие детали даже при беглом просмотре текста. Но Горький все же как-то сковывал его своей масштабностью и уже не зависящей от воли „вождя“ мировой славой. И Сталин звонит Булгакову. Слушавшая этот разговор по отводной трубке и записавшая его Л.Е.Белозерская говорила мне, что у нее тогда же сложилось впечатление, что разговор не получился: Сталин явно хотел сказать и услышать больше, но почувствовал тот самый, описанный Достоевским, „надрыв“ в настроении Булгакова, ограничился обещаниями „по-сильной помощи“, и сближение не состоялось. Пару лет спустя „вождь“ звонит Пастернаку и задает ему простой вопрос, искренний ответ на который мог бы решить судьбу гениального Мандельштама, но „небожитель“ понес какую-то ахинею, и Сталин повесил трубку. Неудачной стала и более ранняя попытка „вождя“ сблизиться с Бухариным; тот не пожелал образовать вместе со Сталиным недостижимый Гималайский хребет („мы же с тобой Гималаи“), возвышающийся над всей партийной и беспартийной чернью, и, нисколько не смущаясь, вынес эти горно-интимные мечты друга Ко-

бы на обсуждение и осуждение в „партячке“, состоящей из всякого рода швондеров.

Все те, к кому приглядывался „вождь“, не годились ему в единомышленники, а Сталину очень хотелось общаться с интеллектуалом-единомышленником, достойным такого „высокого“ общения, конечно — с гуманитарием, поскольку „технарей“ и без того хватало. „Академическое дело“ вовлекло в свой сатанинский оборот целую плеяду таких интеллектуалов-гуманитариев, но в этой плеяде Тарле был, безусловно, самой яркой звездой. У него уже было завоеванное трудом и талантом высокое положение в мировой науке — за него хлопотали десятки видных ученых, культурных и политических деятелей Запада, его труды выходили за рубежом, даже когда он был в тюрьме и ссылке, и его научная репутация уже не зависела от личной судьбы. Не исключено также, что Сталин был знаком с его историографическим шедевром „Европа в эпоху империализма“ — слишком много шума произвела эта книга в „марксистских“ кругах, возмущенных дерзостью „несоветского автора“ — „классового врага на историческом фронте“ (отметим, что „Европа в эпоху империализма“ стала первым научным исследованием, в котором нашел свое отражение геноцид армян в Турции). Не исключено и то, что Сталин был знаком и с яркой антибольшевистской публицистикой Тарле в газете „День“ (Петроград) в 1917 г., в которой явно ощущались российские имперские симпатии и предпочтения историка, отвечавшие в определенной мере настроениям „вождя“ в 30-х и последующих годах. Все это могло убедить Сталина в том, что из Тарле со временем может получиться интересный и полезный собеседник, лично знавший и общавшийся с Керенским, Михайловским, Плехановым, Милюковым, Пуанкаре, Брианном и многими другими, кого уже не „вытравить“ из Истории.

Во всяком серьезном деле, однако, необходим испытательный срок. В данном случае этот срок измерялся пятью годами! („вождь“ не имел привычки торопиться). Для Тарле 1932—1936 гг. были трудными: он не был реабилитирован и не был восстановлен в Академии наук и, оказавшись без

средств к существованию, был готов браться за любую работу. Но работодателей смущал его неопределенный статус „бывшего академика“, и университетские кафедры были для него закрыты. Один из институтов „второго уровня“ предложил ему прочитать курс лекций по истории колониальной политики западных держав. Он записал текст своих лекций и попытался его опубликовать, но эта книга навсегда застряла в издательстве, и ее беловая рукопись исчезла (в начале 50-х гг. автор этих строк обнаружил машинописную копию этого курса, с тарлевской правкой, и стараниями его ученицы — Маргариты Константиновны Грюнвальд — книга была издана в 1965 г.). Библиография Тарле свидетельствует о том, что в 1932—1935 гг. его единственной крупной печатной работой была биография Талейрана, написанная в виде предисловия к первому советскому изданию мемуаров этого дипломата. (Через несколько лет эта биография в дополненном виде станет одной из широко известных книг историка и будет неоднократно переиздаваться даже в XXI в.) Такого числа „пустых“ лет у Тарле не было даже сразу после большевистского переворота.

И лишь в 1935 г. в непроглядной тьме тоннеля, в котором он оказался, появился слабенький лучик надежды в виде заказа на биографию Наполеона от возобновленной Горьким павленковской серии „Жизнь замечательных людей“. Когда книга уже была сверстана, заведующий редакцией „ЖЗЛ“ А.Н.Тихонов-Серебров поделился своими опасениями с Горьким (в письме 26 апреля 1936 г.): книга хороша, но слишком уж „раскованная“. „Хозяин сказал мне, что он будет ее первым читателем. А вдруг не понравится?! Амба“.

Появление и судьба тарлевского „Наполеона“ окутаны легендами.

Легенда первая: заказ на „Наполеона“ был сделан по подсказке Сталина. Такие слухи, видимо, циркулировали в определенных кругах, иначе чем можно было бы объяснить слова Тарле в письме жене из Москвы 2 августа 1935 г.: „Страшно важный (может быть) разговор был, а может быть, и ерунда. Очень большие bonnets (бонзы, фр.) заинтересова-

лись. В первый раз по такой линии... Думаю, на сей раз еще ничего не выйдет. Но — занято“.

Тарле очень любил повторять известную фразу Порфирия Петровича: „...Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?“ Я слышал от него ее несколько раз и однажды сказал, что к той Руси, в которой мы тогда жили, более подходит другое:

Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

В 35-м же году перед Тарле стояла непростая задача: сделать своего „Наполеона“ таким, чтобы он понравился всем, и в том числе тому, кто тогда примерял к себе наполеоновскую треуголку. И сделал.

Легенда вторая: Сталин читал „Наполеона“ до его выхода в свет и одобрил прочитанное. Об этом будто бы свидетельствуют его красно-синие пометки в белой рукописи или верстке. Возможно, но этой рукописи я не видел. Косвенным подтверждением этой версии может служить тот факт, что Тарле пережил 10 июня 1937 г., когда одновременно в „Правде“ и „Известиях“ были опубликованы статьи „А.Константинова“ и „Дм.Кутузова“, содержащие разгромную критику „Наполеона“, обвинения в фальсификации истории и в связях с „врагами народа“ К.Радеком и Н.Бухариным, а также напоминание о сфабрикованном в конце 20-х „деле“ „вредителя“ Рамзина, в „кабинете“ которого Тарле должен был занять пост министра иностранных дел. (Как известно, к „процессу Промпартии“, он же — „дело Рамзина“, Тарле не привлекался и в мифический „кабинет Рамзина“ был „вписан“ задним числом следователями-сюжетчиками, фабриковавшими „Академическое дело“. Самого Рамзина Тарле не знал, и „встретились“ они лишь однажды — в списке лауреатов Сталинской премии 1943 г.)

Легенда третья посвящена попыткам определить, что же делал Тарле во второй половине дня 10 июня 1937 г. после прочтения „Правды“ и „Известий“. По одной версии,

Тарле в тот же день сумел через кого-то попытаться найти защиту у Сталина. Эта версия, прямо скажем, сомнительна: не так уж широк был круг знакомых Тарле, которые могли бы в „незабываемом 1937 году“ лично похлопотать за него перед „вождем“. Собственно говоря, во всей „советской стране“ с этой задачкой мог бы справиться только Горький, который в 1937 г. хоть и находился поблизости от Сталина, но, увы — в Кремлевской стене. Согласно второй версии, Сталин, устроивший Тарле все это „воспитание чувств“, небезосновательно решил, что „клиент созрел“, и, чтобы этот клиент не окочился от страха, позвонил ему сам, поделился с пострадавшим своим возмущением наглыми выпадами ведущих советских газет и пообещал завтра же исправить дело, защитив обиженного. В этой версии все стоит на своих местах. „Хитрый вождь-кавказец“ разыгрывает элементарную трехходовую комбинацию типа той, с которой средневековые рыцари всех времен и народов завоевывали сердца своих дам: создать видимость смертельной опасности — выступить отважным защитником — обратиться в бегство или уничтожить „врага“. В полном соответствии с этой „формулой“ на следующий день (!) в обеих газетах появились опровержения, реабилитирующие „Наполеона“ и его автора. В пользу этой версии говорит и то, что мифические „А.Константинов“ и „Дм.Кутузов“ так и не обнаружались, и то, что „завтрашние“ газеты „Известия“ и „Правда“ всегда уже были готовы накануне вечером, т. е. тогда, когда, по первой версии, Тарле искал свои несуществующие „пути“ к Сталину (я сам неоднократно покупал завтрашние „центральные“ газеты в Москве).

Происшествие с „Наполеоном“ стало преамбулой дальнейших уже личных взаимоотношений „вождя“ с историком. Продолжилось это, регулируемое Сталиным сближение, письмом „вождя“ от 30 июня 1937 г. Письмо это, неоднократно публиковавшееся после 1991 г., является „переходным“ документом: в нем еще всерьез упоминаются неизвестные „т.т. Константинов и Кутузов“ и в то же время дается своего рода карт-бланш на будущее: Тарле предоставлено право ответить на критику „товарищей“ в любой форме, в

том числе — „в виде предисловия к новому изданию „Наполеона“.

Человек, не подвергшийся подобно Тарле многочисленным проискам и ударам „злодейки судьбы“, стал бы носить с этим письмом по всем „инстанциям“, устраивая свои земные дела. Но Тарле очень любил Герцена, в том числе его гениальный исторический очерк „Император Александр I и В.Н.Каразин“, опубликованный во 2-м выпуске „Полярной звезды“ на 1862 г., в котором описаны взлет и падение незаурядного человека, слишком понадеявшегося на просвещенность, благородство и искренность самодержца. Не ощущая коварства царедворцев, Каразин своими благими порывами и советами, „как нам обустроить Россию“, не замечая перемен в настроениях монарха, ускорял свой конец и изгнание из дворца. Для царской свиты этот конец был закономерным, а для Каразина — неожиданным, как для обманутого мужа известие о супружеской измене:

„Ничего не замечая, он явился к государю. Государь его принял с насупившимися бровями. Каразин стоял как пораженный громом.

— Ты хвастаешься моими письмами?

— Государь...

Но государь не дал ему ответить.

— Посторонние знают, что я тебе писал одному и никому не показывал. Ты можешь идти“.

Вот и все. Поэтому Тарле уложил это письмо в шкатулку и никому не показывал.

В 1953 г., уже после смерти „вождя“, тетушка Леля (Ольга Григорьевна Тарле) раскрыла передо мной эту шкатулку. Я с трепетом взял в руки находившийся в ней автограф Пушкина, потом письма Льва Толстого и Чехова. Леля протянула мне письмо Сталина.

— Тоже ведь историческая личность! — сказала она, заметив отсутствие у меня интереса к этой бумажке.

Я взял его в руки, но прочитать не удосужился, да и если бы прочел, то ничего бы не понял: „приключения“ знаменитого „Наполеона“ в середине 30-х в России во всех под-

робностях мне еще не были известны. Знал лишь, что был какой-то шум и что все кончилось благополучно.

После кончины в 1955 г. Евгения Викторовича и Ольги Григорьевны Тарле передачей государству архива историка занималась тетушка Маня (Мария Викторовна Тарновская). Я тогда не был в Москве и подробностей этого акта не знал. Но обратившемуся ко мне в конце 60-х первому советскому биографу Тарле Е.И. Чапкевичу (за рубежом жизнеописания Тарле вышли задолго до появления книги этого автора) я сообщил, что письмо Сталина Тарле действительно существовало, и так как оно в момент передачи бумаг Тарле в архив Академии наук коммерческой ценности не представляло, то, скорее всего, оно находится в архивном фонде историка. Там он его и нашел, а опубликовал уже в годы „перестройки“ в период дозволенной откровенности — в 1990 г. (позднее собственноручный сталинский черновик этого письма нашелся в архиве Президента Российской Федерации).

Итак, „хвастаться“ письмом „вождя“ Тарле не стал, полагая, что если это письмо не случайно (а т. Сталин уже был известен как враг случайностей), то жизнь его наладится и без предъявления этой „справки“. И расчет его оказался верен. Благоприятные изменения в его жизни не заставили себя ждать: снятие судимости (понятие и юридический термин „реабилитация“ в советском „законодательстве“ в то время еще не существовали), назначение старшим научным сотрудником академического Института истории, восстановление в звании действительного члена Академии наук, бесперебойные приглашения на чтение лекций от престижнейших университетов, включение в состав различных престижных комитетов и комиссий (впрочем, не имевших в условиях тоталитаризма никакого влияния на ход событий в стране), просьбы от газетных и книжных редакций дать хоть что-нибудь для печати и т.п., естественно, с улучшением материального положения и бытовых условий.

Круг научных интересов Тарле начинает расширяться, но наполеоновская эпоха еще остается в сфере его внимания. Одну из глав своего „Наполеона“, а именно — тринадцатую, он существенно расширяет, и через год она превращается в

большую отдельную книгу — „Нашествие Наполеона на Россию“, — увеличившую славу автора. Столь же благожелательно была принята книга о Талейране. Эти книги к давно уже обретенному им международному научному авторитету профессионала-историка (в те годы вышла еще одна классическая его монография — „Жерминаль и прериль“), специалиста в области европейской истории, добавили всемирную славу автора эпохальных исторических бестселлеров. В связи с этим и учитывая, что в этом очерке мне, его автору, часто приходится прибегать к вероятностным оценкам, позволю себе высказать еще одно предположение.

Западная Европа, как уже говорилось выше, внимательно следила за судьбой Тарле в начале 30-х. В основном „волновалась“ Франция, но информация на „тарлевскую“ тему, безусловно, проникала и в англоязычный мир. Вряд ли от западноевропейских наблюдателей ускользнули и кинематографические (по словам Вяч. Вс. Иванова) метаморфозы статуса и самого Тарле, и его книги „Наполеон“. Тоталитарность советского режима ни для кого не была секретом, и все понимали, что подобные метаморфозы происходят только по воле самодержца. На английский язык „Наполеон“ и „Нашествие Наполеона на Россию“ были переведены вскоре после их появления в России — соответственно в 1937 г. и в 1942 г. „Нашествие“ же, по воспоминаниям И. Майского, наряду с эпопеей Льва Толстого, стало одной из популярнейших книг в кругах английской интеллигенции. В те времена в числе английских читателей был человек, особо внимательно следивший за событиями в Советском Союзе. Его звали Эрик Блэр, в мире же он известен под именем Джордж Оруэлл. Он был убежденным социалистом и демократом и одним из самых непримиримых противников тоталитаризма, в том числе советского, за развитием которого он с прискорбием наблюдал. О глубоком понимании процессов, происходивших в советской империи, свидетельствует его публицистика. Не исключено, что в той идеологической чехарде, которая была затеяна в „стране советов“ вокруг Тарле и его „Наполеона“, он разглядел и ощутил скрытую симпатию „вождя“ к великому французскому „узурпатору“ и еще более

укрепился в этом своем выводе, услышав во время войны (а тогда к словам Сталина прислушивался весь мир по обе стороны фронта), как „кремлевский горец“ защищает славу Наполеона от посягательств на нее со стороны Гитлера (имеется в виду знаменитое высказывание Сталина о том, что Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва). И опять-таки вероятно, что, создавая в 1943—1944 гг. свою сказку „Скотный двор“ и находясь под властью этих впечатлений, он назвал возглавлявшего этот коллектив домашних животных хряка не Чингисханом или Тамерланом, как это следовало бы по географическим соображениям (все-таки — Восток, господа), а именем западноевропейского героя Наполеона, придав хряку Наполеону все черты и повадки т. Сталина, а чтобы никто не сомневался в прототипе этого образа, включил в свою „сказку“ несколько видоизмененные славословия советских одописцев из бывших дворян и простолюдинов:

Как Солнце на небосклон,
Взошел ты! Я видеть рад
Спокойный твой твердый взгляд,
Не ведаешь ты преград,
Товарищ Наполеон.

.....

Один ты в полночный час
Не спишь, заботясь о нас,
Товарищ Наполеон!

Покинем, однако, туманный Альбион и вернемся в сталинскую империю второй половины тридцатых годов, где Тарле на седьмом десятке лет приходилось осваивать новые формы существования. Именно к этому периоду относится начало его личных контактов со Сталиным, однако, помня о печальном опыте Каразина, о своих встречах с „вождем“ он никому не рассказывает. В комментарии М.В.Зеленова к недавней публикации архивных материалов, относящихся к внутрипартийной дискуссии по статье Энгельса „Внешняя политика русского царизма“, есть такие слова: „В 1938 г. было принято постановление политбюро о переиздании до-

революционной (с участием П.Н.Милюкова) „Истории XIX века“ под редакцией Э.Лависса и А.Рамбо. *Большую роль в появлении этого многотомника сыграл Тарле, который каким-то образом знал позицию Сталина и отражал ее содержание в своих работах*, в том числе и в „Истории дипломатии“ (1-й том был подписан в печать в 1940 г. и появился накануне войны) и в „Крымской войне“ (1941 г.)“.

Вполне понятно, „каким образом“ можно было так подробно знать „позицию Сталина“ — только в результате неоднократных встреч. Да и вопрос о ценности „Истории XIX века“ Лависса и Рамбо и о необходимости второго издания этого „буржуазного“ труда вряд ли мог входить в компетенцию членов политбюро конца 30-х годов. Скорее всего ранее это было решено на одной из личных встреч Тарле и Сталина, а уж потом „вынесено“ на политбюро, куда беспартийный „буржуазный историк“ Тарле никак не мог быть допущен.

Годы 1937—1941 были для Тарле годами материального благополучия. Он, конечно, не мог состязаться с теми, кого уже упомянутый Оруэлл именовал „литературными содержанками“ (этот эпитет англичанин применил по отношению к А.Толстому и И.Эренбургу), но определенные возможности у него появились: были поездки на курорты, покупка дачи (или части дома) в пригороде Питера (потом безвозмездно отданной тем, кто там поселился в послевоенные годы), начало строительства дачи в Бзугу (теперь территория Сочи), оставшейся недостроенной, регулярная ежемесячная помощь старшей сестре Елизавете Викторовне, моей бабке, жившей в Одессе. Вот только о заграничных путешествиях, о милой Франции пришлось забыть. Как бы в память об этом невозвратном прошлом и в знак прощания с ним он в 1937 г. издает книгу „Жерминаль и прериаль“, рукопись которой сохранилась в годы тюрьмы и ссылки, книгу, живо напоминающую ему о французских архивах, парижских улицах, парижских кафе, где он отдыхал от своих архивных разысканий. Это — блестящее творение историка, и мне обидно за эту книгу, за то, что ее затмили книги наполеоновского цик-

ла. Тарле тоже любил эту свою книгу, и ее второе издание стало ему утешением в очень трудном для него 1951 г.

Тогда же, перед войной, он как „особа, приближенная к императору“, был, естественно, под негласным надзором. Много лет спустя Сергей Берия в своих воспоминаниях поделился с миром мнением батона Лаврентия об историке: „Глубокие знания истории он (отец.— Л.Я.) относил к большим достоинствам замкомиссара (т. е. зам. наркома иностранных дел В.Потемкина.— Л.Я.), которыми нельзя было пренебрегать. По этой же причине он собирался предложить историку Тарле дипломатическую карьеру. Но последний был кутилой и патологически ленивым человеком и отказывался от подобных предложений“. В этих словах отразились и своеобразная симпатия „нашего советского Гиммлера“ (как однажды назвал Берию Сталин) к историческим познаниям Тарле (а к людям, сведущим в истории, уважителен почти что любой кавказец), и непонимание его как человека. Полагаю, что одна только библиография трудов Тарле опровергает представление о нем как о „патологически ленивой“ личности. Удивление Лаврентия вызвало нежелание Тарле, владевшего десятком иностранных языков и знавшего наизусть всю дипломатическую историю Европы, делать личную дипломатическую карьеру. Что касается „дипломатической карьеры“, то одно только его невольное пребывание „министром иностранных дел“ в придуманных чекистами „кабинетах“ Л.Рамзина и С.Платонова и связанные с этим неприятные воспоминания могли навеки отвратить его от подобной деятельности. Но Тарле вообще по своему характеру не был „руководителем“. Единственная административная руководящая должность в его жизни звучит весьма своеобразно и загадочно — „управляющий II отделением V секции Единого государственного архивного фонда“, и занял он ее в голодном Петрограде в 1918 г., чтобы получать ежемесячную порцию овса или ячменя, или другого лошадиного корма, которым тогда большевистская власть потчевала интеллигенцию, ставшую для нее то ли „прослойкой“, то ли подстилкой. Освободившись от этой должности по пришествии нэпа, Тарле до конца жизни — и до, и после по-

лучения „сталинского мандата“ — администрирования избегал, не руководил ни институтами, ни даже кафедрами и так и умер „простым советским профессором“ и „старшим научным сотрудником“ Ленинградского отделения академического Института истории.

Превращение Тарле в глазах Берии в „кутилу“ (что также не вредило в глазах кавказца репутации „настоящего мужчины“) явно основано на донесениях „наружки“. Дело в том, что в те предвоенные годы, к которым относится „характеристика“ Тарле, сформулированная Берией, московской квартиры у Тарле еще не было, а все возрастающий объем московских дел требовал частых приездов и длительного пребывания в столице. Представить Тарле, готовящего себе скромный завтрак и даже просто кипятящим воду для чая, я, откровенно говоря, не могу. Следуя привычкам Серебряного века и своих последующих разъездов по Европе, он пользовался услугами соответствующих заведений, которые у большевиков стали именоваться „общепитом“ или „системой общепита“. Тарле рассказывал мне, что в те годы он предпочитал обедать в ресторане „Прага“. Расположенный неподалеку от тогдашних университетских корпусов, этот ресторан в обеденное время становился своего рода профессорской столовой, где можно было встретить и нужных, и интересных людей и приятно провести время, и где, естественно, было полно соглядатаев и стукачей (в том числе, конечно, и среди профессоров). Тарле, пока его не одолели болезни, был не прочь и выпить рюмку-другую в приятной компании. Так он стал „кутилой“, о чем, вероятно, был извещен и „вождь“. Отголосок этой „секретной информации“ прозвучал и в одном из анекдотов посмертной „сталинианы“, в котором „вождь“, принимая Тарле на ближней даче, пробует по своему обыкновению спить гостя (как „правду“ это рассказывал большой любитель мистификаций, друг Тарле Евгений Ланн). Возможно, и такое было, и, если позволяло здоровье, Тарле мог и поддержать компанию. Все-таки в те годы ему еще было только чуть за шестьдесят, и лишь лет через десять все переменялось: вспоминая о том,

как его в сороковых принимали флотские офицеры в Севастополе, он сказал мне:

— Представляешь, там каждое гостевое место за огромным столом фиксировалось граненым стаканом, заранее наполненным водкой до отказа — с мениском. Я, увы, мог только обмочить губы!

В порядке отступления от основной темы этого очерка — несколько слов о серии анекдотов, образующих „сталиниану“. Такое наследие в истории человечества имеет в том или ином объеме всякая незаурядная или экстравагантная публичная личность, а в Сталине и незаурядности, и экстравагантности было в избытке. История знает и такой случай, когда собрание высказываний и рассказов о поведении исторического лица в разных житейских и духовных ситуациях стало священной Книгой. Я имею в виду Сунну пророка Мухаммеда. Внимательным читателем Сунны был Лев Толстой, поручивший отобрать наиболее яркие всечеловеческие речения Пророка для одного из своих изданий, посвященных нравственному воспитанию людей. Микроровеллы, составляющие Сунну и именуемые „хадисами“, отличаются от анекдотов, входящих в „сталиниану“, „лениниану“, „наполеониану“ и т. п., не только более уважительным и серьезным отношением к тому, кого они описывают, но и степенью своей документальности, так как любой хадис состоит из самого предания, восходящего к Пророку, и из указаний на цепь передатчиков этого предания („иснад“), подтверждающую его достоверность. В анекдотах „сталинианы“ „иснад“, к сожалению, отсутствует, но все-таки, надо полагать, ни один из них не возник на пустом месте и имеет в своей основе какое-нибудь реальное происшествие, высказывание или ситуацию, информация о которых „дополнена“, „исправлена“ и расцветена несколькими поколениями рассказчиков. И поэтому рассказ о совместной выпивке „вождя“ и историка в подмосковном дачном уединении, скорее всего, не есть плод чьей-нибудь фантазии, хотя бы потому, что придумать такое, не зная о существовании личных взаимоотношений Сталина и Тарле, невозможно.

А потом была война. Сталин оставался в Москве, Тарле вместе с большей частью действительных членов Академии наук был эвакуирован в Казань. Но усидеть в Казани он не мог и почти непрерывно разъезжал с лекциями по воюющей стране, успевая при этом публиковать в газетах и журналах десятки патриотических статей, биографических очерков, посвященных выдающимся русским военачальникам. Все это совмещалось с серьезной работой над второй книгой монографии о Крымской войне (опубликованной в 1943 г.) и над отдельными главами очередных томов „Истории дипломатии“. Никакие „хвanchкара“ и „киндзмараули“ были в 1941—1943 гг. невозможны, но в 1944 г. Тарле уже видят в столицах, и опять те, кто с ним общаются, замечают, что ему „каким-то образом“ становятся известны идеи и взгляды Сталина. Правда, в 1944—1945 гг. Тарле иногда позволяет себе говорить о том, как видят те или иные события „те, кто делают историю“, а в Советском Союзе „делал историю“, как известно, лишь один человек. И этот „делающий историю“ человек в эти же годы тоже иногда ссылается на „мнение Тарле“. Эти случаи фиксируются внимательными наблюдателями, и у них возникает впечатление, что Тарле являлся тогда „негласным советником“ „вождя“. (Некоторые из таких „наблюдателей“ — Н.Хрущев, американский историк Г.Солсбери уже упоминались в биографических очерках, посвященных Тарле.)

Это, однако, не спасало Тарле от мелких неприятностей. Его подмеченная Берией „патологическая лень“, оберегавшая его от каких бы то ни было поползновений в части администрирования, позволила „птенцам гнезда Покровского“ перегруппироваться и занять „ключевые административные посты в исторической науке“. Для нормальных людей эта фраза выглядит абракадаброй, поскольку им трудно себе представить создание при Госдепартаменте или каком-нибудь европейском демократическом кабинете министров чисто геббельского учреждения по управлению историческими знаниями, каким был, например, Институт истории Академии наук СССР. В начале сороковых в числе руководителей этого института в роли заместителя директора нахо-

дилась верная ученица Покровского — Анна Панкратова, и началась охота на Тарле. Когда я ознакомился с материалами „Дискуссий“ 1944 г., у меня создалось впечатление, что всю эту околосторическую шушеру — так называемых „советских историков“ — бесил сам факт существования Тарле. Казалось бы, что такого? Ну говорит семидесятилетний старик свою правду о том, что одним из самых главных факторов победы над Германией был фактор пространства, полученного в наследство от Российской империи — кому от этого тепло или холодно? Нет, вся эта свора хочет заставить его признать публично, что залог победы был в „руководящей роли советской власти“. Писали бы об этом в своих учебниках, никто им не мешал, а им хотелось, чтобы осведомленный разумный человек, знавший о том, что именно от этой „советской власти“ бежали более трех миллионов красноармейцев, сдавшихся в плен в первые месяцы войны, а еще более миллиона человек пошли в услужение к оккупантам, надеясь на „благотворный новый порядок“, вдруг стал бы восхвалять этот бесчеловечный режим. Тарле проще было признать „заслуги“ советской власти по умолчанию.

Заодно эта „ученая“ камарилья трепала и „Крымскую войну“, к которой „приложились“ и беспартийный Н.Дружинин, и бойкий партайгеноссе Н.Яковлев. Этот „видный партийный публицист“ в 1945 г. на страницах „ведущего партийного журнала“ „Большевик“ заклеил труд Тарле как имеющий „крупные недостатки“. (Я не раз пытался выяснить, не тот ли это „Н.Яковлев“, который за свои „разоблачения“ американских и сионистских „происков“ заработал оплеуху от Андрея Дмитриевича Сахарова. Если это так, то такой финал закономерен, но бить негодяя следовало все-таки раньше — эффект был бы более существенным.) Все эти комариные укусы раздражали Тарле, и он обратился к руководящим „товарищам“ с просьбой административным путем как-то навести порядок в „советской“ исторической науке. Обращаться напрямую к Сталину с такой мелкой просьбой он не стал, и 22.08.1944 г. написал письмо В.Потемкину, занимавшему в то время пост министра („народного комиссара“) просвещения Российской Федерации:

„Буду откровенен: ведь положение катастрофическое на нашем фронте! Ведь все эти птенцы гнезда Покровского опять взяли засилье, опять ведут кипучую пропаганду (имеющую в своих выводах решительно антипатриотический характер), опять терроризируют ученую молодежь и увы! отпора им не дается...

Вот скоро мир. Ведь нам, историкам, имеющим ученое имя на Западе и голос в мировой науке, нужно выступать, нужно повести обширную идейную борьбу против воцарившейся в тамошней науке гитлеровщины и квислинговщины, нам нужно авторитетно бороться за настоящую марксистскую мысль в историографии, а с чем и где мы появимся? С тов. Сидоровым? С тов. Волиным? Этого маловато, на Европу и Америку не хватит. И где появимся? В „Историческом журнале“, где историей почти и не пахнет? Без вмешательства Вашего, тов. Молотова,— Иосифа Виссарионовича со временем — дело никак не обойдется, потому что о выступлении 1934 г. все эти эпигоны и последыши Покровского постарались уже забыть“. (Тарле имел в виду постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании гражданской истории, в подготовке которого он принимал негласное участие.) Дошел ли до Сталина этот „сигнал“ Тарле — неизвестно. Приближалось время его мирового триумфа, и вершин Гималаев, где „вождь“ тогда находился, не достигал шум, производимый всякой земной мелюзгой, копошащейся где-то там внизу. Сам же Тарле получил некий косвенный ответ, компенсирующий пережитые неприятности: орден Ленина (1944), два ордена Трудового Красного Знамени (1945) и Сталинскую премию I степени (1946), а Панкратова была изгнана из руководящего состава Института истории за бабскую болтливость.

Следует отметить, что к „наказанию“, постигшему Панкратову, Тарле не был причастен. Он боролся „за идею“, а не против конкретных личностей. И если он иронически поминал Сидорова и Волина в письме к Потемкину, то только потому, что и ему, и его адресату был хорошо известен научный уровень этих „историков“. Он уважительно ответил на критику Н.Дружинина по адресу „Крымской войны“.

Правда, его ответ был уважительным лишь по форме. По сути же его можно было квалифицировать как издевательский, поскольку при его внимательном прочтении некомпетентность Дружинина становилась очевидной. Дружинин же, как и следовало ожидать, не понял и снова полез в бой, но для Тарле это было слишком, и второй выпад „историка“ он оставил без ответа, посчитав, что и так все ясно. В личном плане Тарле хорошо относился к Панкратовой, которую он называл Аннушкой. „Аннушка-умница“, — такую ее характеристику я слышал от него не раз. Более сдержан он был в отношении другой ученицы Покровского — Нечкиной. „А, Милица“, — пробормотал он в ответ на мой вопрос об этой даме и заговорил... о „геморроях“, к которым он относил тех, кто „делает науку“ задницей, сиречь — усидчивостью.

Этот разговор на „геморройную“ тему слышала тетушка Леля, и когда Тарле вышел из комнаты, сказала мне, что к этому термину я имею некоторое отношение. Оказалось, что когда она и Тарле собирались в конце XIX в. в первую поездку во Францию, моя бабка Лиза сказала мужу, что они стеснены в средствах и хорошо было бы им помочь деньгами. При этом она всячески расхваливала брата как подающего надежды ученого, едущего не гулять, а для архивных занятий. Выслушав ее, мой дед, энергичный инженер и заводчик, вздохнул и сказал: „Ну что ж, значит, в нашей семье одним геморроем будет больше“. Помощь была оказана, а спустя некоторое время Лиза передала Тарле реплику мужа. Тарле поначалу обиделся, но потом решил, что эти слова к нему не могут относиться: он был живым, легким на подъем, быстрым в работе на всех ее стадиях. Таким он был до последних дней, не обращая внимания на терзавшие его болезни. Чего стоит, например, его поездка в Будапешт за год до своего восьмидесятилетия? Естественно, что ему были приятны люди его склада, с искрой Божией в душе, даже если они не были его единомышленниками, и им, а не „мученикам пера“ он отдавал предпочтение. Что-то такое, по-видимому, было и в бывшей левой эсерке Панкратовой, возбуждавшей его интерес и симпатию.

Год 1947-й, вероятно, внес некоторое беспокойство в душу Тарле. Вроде бы ничего не изменилось в его жизни. Ну, не пустили в 1946-м в Норвегию, зато год спустя была Чехословакия — первая заграничная поездка после тюрьмы и ссылки. Тетушка Леля была в восторге от Праги. „Это просто Париж“, — повторяла она. По-прежнему журналы и газеты просят и безотказно печатают его статьи. И все же он чувствует ветер перемен. Плохих перемен. Речь Черчилля в Фултоне, потом непомерно раздутое идеологическое „дело“ о ленинградских журналах с шумным шельмованием двух имен писателей, присутствия которых Тарле до этого в литературе даже не замечал. Он вчитывался в „Приключения обезьяны“ и не мог понять, чем опасен этот рассказ. Может быть, потому не мог понять, что ему был незнаком быт того мира, в котором странствовала обезьяна, а большинству „советского народа“ этот быт был хорошо знаком. Тем не менее Тарле ощущал, что время начала новой охоты на „ведьм“, среди которых мог оказаться любой, неотвратимо приближается. А к этому новому времени он не был готов, потому что он теперь никоим образом не мог узнать мысли и намерения Сталина. „Вождь“ вроде бы больше в общении с ним не нуждался. Не имея такой информации, нельзя было ни выработать линию поведения, ни оценить последствия назревающих „процессов“. И Тарле решается напомнить о себе.

Люди, знавшие о том, что они, обратив на себя внимания „вождя“, как бы получили от него в долг и благоденствие, и даже жизнь, вероятно, всегда чувствовали себя его должниками. А долг, как известно, платежом красен. Конечно, долг свой такие „должники“ не всегда пытались вернуть „вождю“ без задней мысли. Алексей Толстой, например, с помощью мертворожденной повести „Хлеб“ решал свои материальные проблемы. Впрочем, злые литературные языки утверждали, что этой повестью „красный граф“ заодно и прикрылся от угрожавшего ему ареста. В любом случае его затея удалась. Значительно хуже все сложилось у Михаила Булгакова: когда он с помощью пьесы „Батум“ о молодом Сталине захотел выплыть из литературного небытия,

„вождь“ мягко и даже нежно разрушил его планы, сказав одну из своих знаменитых фраз о том, что „все молодые люди похожи друг на друга“ и писать о „молодом Сталине“ не стоит, подразумевалось: лучше — о зрелом. (Впрочем, Л.Е.Белозерская говорила мне, что Булгаков мог пойти на эту авантюру под нажимом Елены Сергеевны, которой хотелось блистать в советском „литературном обществе“. В общем, „не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!“) Тарле, естественно, тоже ощущал себя „должником“ Сталина. Он, следуя тогдашней публицистической традиции, поминал его имя в предисловиях своих книг, в газетных и журнальных статьях. („Традиция“ эта была настолько все-сильной, что ссылки на Сталина я встречал в предисловиях к математическим и техническим книгам, изданным до 1953 г.) Но своего „Хлеба“ или своего „Батума“, где „вождь“ присутствовал бы не в преамбуле, а в самой сердцевине повествования, у Тарле долгое время не было, и только в 1944 г., во время своих борений с неопокровскианцами он сочинил опус над названием „Об исторических высказываниях товарища Сталина“.

Тарле очень любил исторические анекдоты, моделирующие ситуации, которых в действительности не могло быть. Среди них был такой: король-солнце Людовик XIV как-то написал стихи и решил показать их Буало. Тот прочитал их и будто бы сказал: „Завидую Вам, Ваше Величество! Вам все удастся! Вот захотели написать плохие стихи, и получилось!“

„Сталинская“ статья Тарле свидетельствует о том, что историку тоже все удавалось: плохим оказалось это сочинение, будто не он сам его писал. В этом может убедиться каждый, положив рядом „Исторические высказывания“ и, например, его же краткий, но блистательный исторический очерк „Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 г.“ Первым впечатлением внимательного читателя будет сомнение в том, что эти вещи принадлежат одному автору. Возможно, Тарле мешала тень живого Сталина, где-то рядом попыхивавшего своей непременной трубкой.

К слову, о „незримом присутствии“ Сталина за плечом у Тарле, писавшего эту статью, отметим, что в ее тексте содержится скрытое упоминание об одной из встреч историка с „вождем“: „...когда вышел в русском переводе Плутарх, я подумал, что самому Сталину это издание не нужно: Плутарха он читает в греческом подлиннике, как это *случайно стало мне известно*. (Хорошо учили в Тифлисской семинарии, да и память у „вождя“ была дай Бог каждому!)

Тарле, естественно, и сам ощущал неполноценность этого своего труда и потому печатать его не собирался, а лишь пугал им своих оппонентов, типа: „Вот я опубликую написанное, тогда вы у меня другое запоете!“ Но в безвременье 47-го года он, видимо, решил этой статьей напомнить о себе и, достав ее „из стола“, направил для публикации в „партийной печати“. Он, надо полагать, предвидел, что она не будет напечатана, однако был уверен, что Сталин о ее появлении будет извещен. Статья попала к новоиспеченному „академику-философу“ Г.Ф.Александрову, который в 1947 г., прежде чем уйти на академический покой и сосредоточиться на ставших известными всей стране развлечениях с актрисами, дорабатывал последний год своей государственной службы на ответственном посту начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в народе прозванном „Александровским централом“. Александров, как и ожидал Тарле, не взял на себя ответственность отклонить статью (чем черт не шутит, может, у этого Тарле „каким-то образом“ все заранее согласовано с „вождем“!) и направил ее в Кремль с запиской на имя Поскребышева, содержащей отрицательный отзыв, да еще и указав на совершенно недопустимую крамолу: оказывается, что „академик Тарле сравнивает пропаганду Геббельса с ошибками Энгельса“. Конечно, какое-либо сопоставление романтика нацизма с одним из основоположников марксизма могло рассматриваться как преступная дерзость!

Расчет Тарле оказался правильным: несмотря на то, что речь в статье шла о зрелом, умном и эрудированном „вожде“, Сталин ее публикацию не разрешил, но о Тарле действительно вспомнил. Прежде чем перейти к последствиям

этой „акции“ историка, хочу обратиться к советскому народному творчеству и привести здесь текст и мораль краткой прозаической басни, содержащей житейские рекомендации, призванные регламентировать жизнь и поведение простого советского человека. При этом прошу меня извинить за грубость формулировок (хотя говорят, что язык этих формулировок давно стал обиходным в детских учреждениях нашего времени):

„В районе полюса холода летел воробей и, не выдержав мороза, упал камнем на землю.

Вскоре прошла там корова и уронила на замерзшего воробья свою лепешку.

От сохранившегося в этой лепешке тепла воробей ожил и чирикнул.

А в это время мимо пробежала кошка. Услыхав чириканье воробья, она вытащила его из лепешки и съела.

Мораль:

- 1. Не всякий тебе враг, кто тебя обосрет.*
- 2. Не всякий тебе друг, кто тебя из говна вытащит.*
- 3. Сидишь в говне, так не чирикай“.*

Тарле пренебрег этой народной мудростью и позволил себе „чирикнуть“. Это „чириканье“ стало началом последнего и не очень приятного для историка этапа его взаимоотношений с „вождем“. Впрочем, все относительно, пути Господни неисповедимы, и никому не дано знать, как сложилась бы его судьба, не попади в руки Сталина эта статья.

Итак, Сталин „вспомнил“ о Тарле и, спустя немного времени, уже в следующем, 1948 г., поведал неким „заинтересованным лицам“, какую мзду он хотел бы получить от историка в качестве благодарности за свое многолетнее доброе к нему отношение. Это должна была быть книга о трех нашествиях на Россию (в XVIII, XIX и XX веках), закончившихся разгромом агрессоров, и Сталин, таким образом, оказался бы в приличной компании с Петром Великим и М.Кутозовым.

Отметим, что при остром желании последние, панегирические, страницы неопубликованной „сталинской“ статьи

Тарле можно было истолковать как заявку на книгу о Великой Отечественной войне и об определяющей роли Сталина в победе России, и не исключено, что Тарле этими страницами сам спровоцировал „вождя“ на такой опасный заказ: зачем статья, когда можно получить солидную книгу. Впрочем, батону Лаврентий изначально не верил, что такая книга вообще возможна. Серго Берия вспоминает о разговоре с отцом в 30-х годах: когда он спросил его, почему чисто советские исторические книги так скучны, „он разразился смехом и позвал на помощь мою мать.

— Скажи,— продолжал он, смеясь,— что я должен ему ответить? Каким образом можем мы изобразить Иосифа Виссарионовича пером Тарле, описавшего Наполеона?“

Прав был Берия: это действительно оказалось невозможным, но сие выяснилось позднее.

Из первоначальной заявки Сталина неясно, имел ли „вождь“ в виду одну большую книгу, где все будет собрано и его портрет займет свое законное место среди вышеназванных деятелей, либо это будет своего рода серия книг.

Приняв заказ (а не принять его, естественно, не было никакой возможности), Тарле воспользовался этой неясностью и сразу же истолковал его как поручение написать не одну книгу, а три капитальных тома — по одному на каждого агрессора в исторической последовательности. Не знаю, имелась ли у посредников обратная связь с главным Заказчиком, но взгляд Тарле на трехчастную структуру будущей работы каким-то образом утвердился. Правда, как потом в семейном кругу рассказывал Тарле, с самого начала посредники горячо советовали сразу взяться за третий том — о разгроме гитлеровской Германии, закончить его на радость „вождю“ и спокойно заниматься остальными частями трилогии. В этих рекомендациях не было категорической настойчивости, и Тарле остался на своих позициях, убеждая оппонентов, что работа над „шведским“ и „наполеоновским“ томами поможет ему выявить новые яркие параллели к событиям 1941—1945 гг., хотя в своей „сталинской“ статье он сам писал: „Сталин не очень любил (а вернее — вовсе не любил) исторические параллели: они, по его справедливому

мнению, всегда рискованны“ (скрытая цитата из беседы Сталина с Эмилем Людвигом).

Итак, Тарле стал работать над первым томом трилогии, который он назвал: „Северная война и шведское нашествие на Россию“. Вторая часть этого длинного названия была призвана напоминать о том, что выполняется сталинский заказ. Писалось легко, потому что материалов по Петровской эпохе у него было много — остались от работы над темой „Русский флот и внешняя политика Петра I“, которая легко вписывалась в историю шведского нашествия. Тарле, однако, растягивал удовольствие: за месяц-другой он изучил шведский язык (в 74 года!) и стал работать со скандинавскими источниками. Браться за третий том трилогии ему очень не хотелось, и он всячески оттягивал момент, когда даже формальных причин для задержки в выполнении этой части заказа у него больше не будет. Не могу сказать, на что он надеялся. Возможно, до него доходили слухи об ухудшении здоровья Сталина, который к этому времени перенес микроинсульт, возможно, он чувствовал, что и его собственная жизнь на исходе и нужно было как-то продержаться.

Вряд ли Сталин лично следил за тем, как Тарле выполняет его поручение. Не до того ему было в конце 40-х. Но холуи не дремали и вскоре дали о себе знать. Усиление грязной возни вокруг Тарле связано с возвышением Суслова в партийной иерархии того времени. Отличившись в деле подготовки 70-летия „вождя“, этот деятель получил в свое ведение газету „Правда“ и стал претендовать на место главного идеолога советской империи. О Суслове я всегда говорю и пишу весьма резко, но в этой моей резкости нет ничего личного, лишь констатация фактов, свидетельствующих о том, что этот индивидуум был законченным персонажем оруэлловского „Скотного двора“. Лично же я высоко ценю Михаила Андреича и храню о нем самую добрую память. Думая о нем, я всегда вспоминаю слова „вечно живого“ Ильича, сказанные им над гробом Свердлова: „Мы хороним пролетарского вождя, который более всех нас сделал для нашей победы“. Цитирую по памяти, так как, в отличие от т. Суслова, картотеки ленинских цитат под рукой не имею. Так

вот, т. Суслов с его любимой картотекой и есть для меня — „пролетарский вождь“, который более всех прочих его соратников-геронтократов сделал полезного для краха империи Зла, а его молодые помощники — „философы“ и „политики“, перечислявшие потом в мемуарах свои „заслуги“ в „смягчении идеологического давления“, при жизни этого „гиганта советской мысли“, как шаловливые дети, лишь мешали „папеньке“ сокрушать своими деяниями уродливый режим и продлевали его агонию.

Но возвратимся в печальной памяти 49-й год, когда Тарле начал ощущать *организованное* давление властей, мешавшее ему жить и работать. Эта ситуация довольно подробно описана в различных посвященных Тарле биографических очерках (см., например: Лосиевский И. „Еще одно возвращение Наполеона Бонапарта“, в книге: Тарле Е.В. Наполеон. Талейран.— М.: Изографус—Эксмо, 2003.— С. 648—701). Поэтому здесь лишь конспективно будет изложена последовательность событий:

1949 г. Грязная возня в Академии наук вокруг доклада Тарле на сессии, посвященной 240-летию Полтавской битвы, закончившаяся его письмом вице-президенту этого заведения В.П.Волгину, в котором он в интеллигентной форме посылал и Академию, и ее „сессию“ к чертям собачьим.

Упоминание Тарле в постановлении Секретариата ЦК ВКП(б) „О недостатках в работе Института истории АН СССР“ в числе критикуемых историков (секретарь ЦК — Суслов).

Приостановка выполнения издательского договора по „Северной войне“.

Все это происходит на фоне разворачивающейся чисто националистической акции по борьбе с „безродными космополитами“, которую Тарле в частной переписке отнес к пакостям, несовместимым с элементарной порядочностью.

1950 г. Полный отказ издательства от выполнения договорных обязательств по „Северной войне“.

Тарле посылает Сталину рукопись „Северной войны“. В сопроводительном письме Тарле пишет, что он хотел бы, чтобы Сталин познакомился с этой книгой „в неискаженном виде“, так как издательство ее задерживает и портит „текст своими придирками“. Кроме того, он высказывает опасение, что может не дожить до выполнения заказа „вождя“ в полном объеме. „Но я хочу посвятить оставшееся мне время жизни этой попытке,— а мне уже 75 лет. Я буду торопиться...“

Следов прочтения Сталиным рукописи „Северной войны“ не имеется. Лишь в письме Тарле „вождь“ отчеркнул карандашом слова об „издательских придирках“.

Публикация „Северной войны“ окончательно заморожена (книга вышла в 1958 г., когда Сталина и Тарле уже не было среди живых).

1951 г. Сталин дает разрешение на публикацию в „Большевике“ статьи малограмотного „историка“-самоучки Кожухова (есть области человеческого знания и деятельности, в которых каждый, а особенно — необразованный человек считает себя специалистом. Это — архитектура, строительство, медицина, лингвистика, литературоведение и, конечно, история). Кожухов, работавший директором Бородинского музея, и прежде лез в ЦК с предложениями своих услуг по борьбе за марксистский подход к 1812 г. и с жалобами на то, что Институт истории его игнорирует и не печатает его бредовую книгу. Очередной приступ шизофрении пришелся на весну (время обострений!), и его опус попался на глаза сталинскому зятю Ю.Жданову, заведующему отделом науки и вузов ЦК ВКП(б), сыну партийного

культуртрегера. Тот сварганил из попавшей к нему в руки исторической половы нечто, как ему показалось, удобоваримое и подsunул этот вздор Суслову. Суслов доложил на Секретариате ЦК и организовал решение о публикации после некоторой профессиональной доработки. Биографы Тарле пока не смогли установить, кто из профессиональных историков взял на себя труд по приведению этого позорного текста хоть в какой-нибудь божеский вид. Пребывая в области предположений, я могу предложить свою версию ответа на этот вопрос: не исключаю, что это — верная ученица Покровского *Милица Васильевна Нечкина*, тогда член-корреспондент Академии наук СССР и „признанный специалист“ по истории России в первой четверти XIX в. Мое предположение основано, однако, не на ее „узкой специализации“, а на ее предисловии к VII тому Сочинений Тарле, редактором которого она значилась, вышедшему в 1959 г., когда уже не было видно никакого Ю.Жданова, а Суслик стушевался и притих, ожидая развития событий. В этом предисловии есть фраза „Позднейшая критика его (Тарле.— Л.Я.) работ (1951) указывала на их недостатки“. Только абсолютный глупец мог бы возвести шизофренические изыскания Кожухова в ранг научной критики. Я недостаточно знаком с трудами М.В.Нечкиной и не могу оценить ее профессиональный уровень и уровень ее интеллекта, но ее упомянутое „Предисловие редактора“ содержит также весьма подозрительное для специалиста-историка „предсказание“ читательской судьбы книг Тарле „Наполеон“ и „Нашествие Наполеона на Россию“:

„Выход в свет указанных работ Е.В.Тарле явился в свое время значительным событием советской исторической науки, и правильно оценить их можно *лишь с историографических позиций*“.

Эту „свежую мысль“ М.В.Нечкиной можно воспринимать двояко: либо мы имеем дело с абсо-

лютно некомпетентным в области исторической науки человеком, либо с человеком с гипертрофированным самомнением. (Нечкина за год до своего „Предисловия“ стала действительным членом Академии наук и могла решить, что это звание уравнило ее с покойным историком. Правда, оставалась одна досадная мелочь — необходимость дарования, предоставляемого Всевышним по Своему выбору, а не по „решению партии и правительства“.) Время, однако, решило все по-своему, и теперь легко можно представить себе такую сцену: сегодня, в 2009 году, молодой человек покупает в московском или питерском книжном магазине очередное (бог уж знает какое по счету) издание „Наполеона“ или „Нашествия“, а какой-нибудь лысо-седой старик, вроде меня, скажет ему: „Знаете ли, сударь, что ровно пятьдесят лет назад мадам Нечкина спровадила эту книгу, что вы купили, в небытие?“ Уверен, что ответ будет звучать так: „А кто такая мадам Нечкина?“ (я не претендую на авторство этой последней вопросительной фразы, так как услышал ее, правда, относящейся к другому лицу, в одной из телепередач из уст В.В.Путина).

Тарле пишет Сулову по поводу публикации в „Большевике“. Ответа нет.

В „возмущенных происками безродных космополитов“ университетских собраниях начинают поминать имя Тарле.

Тарле пишет „Письмо в редакцию“ „Большеви́ка“ и посылает его с сопроводительным письмом Сталину 22 сентября 1951 г. Сталин пишет резолюцию на „Письме в редакцию“: „м.<ожно> б.<удет> напечатать“ и далее „рассмотреть в редколлегии. Срок — 2—3 дня“.

В качестве отвечающих за подготовку публикации Сталин указал Ю.Жданова и ответственного секретаря редакции журнала. Письмо Тарле было опубликовано в октябре („Большевик“, № 19, 1951) в сопровождении редакционного комментария, в котором пережевывались азы публикации, вышедшей четырьмя номерами ранее под именем Кожухова.

1952 г. В прессе куражатся, издевательски поминая Тарле, новые „специалисты“ по 1812 г. Особо усердствовал „военный историк“ Жилин, стремившийся своим шумом и яростью прикрыть собственную бездарность. Тарле, по его словам, шел на поводу у „иностранных фальсификаторов“. Одну из „разоблачительных“ сцен вспомнил писатель Ю.Давыдов в уже упоминавшемся своем романе: „Полковник из политического управления армии и флота напал, я помню, на академика Тарле. Тот написал: с присущим мол французам блеском и т.д. Полкаш и твякнул, как Полкан: так значит русским блеск-то не присущ?! На таком вот уровне развивалась „критика“, но Тарле знал, что за всем этим твяканьем стоит Суслов.

Тарле пишет и публикует большую статью „Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат“.

29 июля 1952 г. Тарле пишет Суслову письмо-протест.

В августе Тарле пригласили в ЦК и заверили, что никакой кампании лично против него не ведется, что Жилин предупрежден и раскаялся.

Тарле узнает, что Кожухов отстранен от наполеоно-кутузовских дел и переведен куда-то в более далекую периферию.

Самым тяжелым „наказанием“ для Тарле в описанном выше „процессе“ было написание статьи „Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат“, в которой он был вынужден не выходить за рамки „Ответа полковнику Разину“. В этом „шедевре сталинской военно-исторической мысли“, в частности, говорилось, что „Кутузов как полководец был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли“, но еще „могут найтись в наше время люди“, которые „с пеной у рта будут утверждать обратное“. Такой неразумный человек, как известно, нашелся задолго до сталинского предупреждения и высказал свои мысли по этому поводу изящно и без „пены у рта“:

О вождь несчастливый! суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...

(А.Пушкин)

Тарле не мог относить себя к „черни дикой“, к которой так легко примкнул Сталин. Как и всякий здравомыслящий человек, хотя бы для себя не корректирующий прошлое в соответствии с потребностями текущей политики, тем более такой безнравственной, как искусственное культивирование национализма, Тарле не видел противостояния между инородцем Барклаем и русским Кутузовым. Первый был гениальным стратегом, разработавшим победоносный план разгрома агрессора, второй — гениальным тактиком, почти без нарушений реализовавшим этот план, дорабатывая его в деталях, как говорится, по месту. „Почти“ сказано здесь потому, что нарушением плана была Бородинская битва, но Ку-

тузов гениальным своим тактическим чутьем ощутил ее необходимость для обретения армией уверенности в своей боевой равноценности врагу. Принуждение отойти от того, что он считал истиной (если можно говорить об истине в истории), было для Тарле моральной травмой, и это был единственный итог его противостояния со сталинской системой в 1949—1952 гг. (Впрочем, и Пушкину пришлось пуститься в объяснения по поводу своих крамольных взглядов на героев войны 1812 г., но ему было легче, так как ЦК ВКП(б) в его времена еще не было.)

Биографы Тарле обычно сосредоточиваются на драматичности отдельных событий, объединенных приведенной выше хронологической канвой, забывая о том, что этими событиями не исчерпывается течение и содержание его жизни в указанные годы. Позволю себе очень кратко выйти за пределы описательного круга борений и страданий, чтобы читатель мог себе представить, какой насыщенной была жизнь Тарле: 1949 г. 2 книги — одна в Воениздате, другая в Крымиздате; статьи в журналах „Большевик“ (!), „Вопросы истории“, „Вестник АН СССР“, „Огонек“, „Новое время“, „Новый мир“; за рубежом — вышел „Талейран“ на венгерском; статьи в газетах: „Литературная газета“ (3 статьи), „Известия“ (4 статьи); „Труд“, „Вечерняя Москва“, „Красный флот“, статьи в республиканских газетах Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Латвии, Литвы, Эстонии, Туркмении.

1950 г.

Вручение ордена Ленина (третьего по счету, списки на этот орден просматривал Сталин). Выход книг: „Крымская война“ (2-е издание, двухтомник), „Нахимов“ (2-е издание); статьи в журналах: „Новый мир“ (3 статьи), „Знамя“, „Огонек“ (4 статьи), „Вопросы истории“, „Новое время“, „Молодой большевик“; статьи в газетах „Правда“ (3 статьи); „Известия“ (2 статьи), „Труд“ (7 статей), „Красная звезда“ (2 статьи); „Литературная газета“ (5 статей), „Московская правда“, „Вечерняя Москва“, „Красный флот“. Зарубежные издания: „Нашествие Наполеона на Россию“ (Италия, Чехия, Франция); „Наполеон“ (Польша, Чехия), „Талейран“ (Герма-

ния, Венгрия, Румыния, Чехия), „История дипломатии“ (Чехия), „Экономическая жизнь Италии“ (Италия).

1951 г.

Выход 2-го издания книги „Жерминаль и прериаль“; статьи в журналах (кроме дискуссионной): „Большевик“, № 1, „Новый мир“ (2 статьи), „Новое время“ (3 статьи), „Огонек“, „Молодой большевик“, „Вопросы истории“; статьи в газетах: „Правда“, „Известия“, „Труд“ (4 статьи), „Литературная газета“ (3 статьи), „Московская правда“, „Вечерняя Москва“; статьи в республиканских газетах: Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Карелия, Латвия, Литва. Зарубежные издания: „Крымская война“ (Чехия), „Наполеон“ (Чехия), „Нашествие Наполеона на Россию“ (Германия), „Адмирал Ушаков“ (Чехия).

1952 г.

Статьи в журналах: „Вопросы истории“, „Вопросы философии“, „Новый мир“, „Новое время“ (3 статьи), „Военный вестник“.

Статьи в газетах: „Труд“, „Известия“, „Пионерская правда“, „Радянська Україна“.

Зарубежные издания: „Нахимов“ (Польша); „Крымская война“ (2 тома, Румыния); „Почему Советский Союз борется за мир“ (Австрия).

Шумиха вокруг сталинского заказа была неприятна, но она все же не таила смертельной опасности. Его интенсивная работа в прессе все эти годы и то, что ведущие издания страны всегда предоставляли ему место на своих страницах, свидетельствует о том, что никто его „закрывать“ не собирался, а уменьшение количества публикаций в 1952 г. связано не с преследованиями, а с обострением старых болезней, в особенности диабета. Я общался с Тарле в эти годы и никакого страха, никакой растерянности в нем я не наблюдал: за ним оставались обе квартиры — в Москве и Питере, ему были доступны любые кафедры, все гонорары, кроме гонорара за „Северную войну“, поступали к нему исправно, и все обслуживание, положенное академику, он получал исправно. Он, как всегда, проводил часть времени в Питере, а в Москве через МИД ему была доступна любая мировая пресса. Вот

почему воспоминаниям А.Борщаговского о посещении им Тарле, скорее всего в 1951 г., я не очень верю:

„Я нашел неуверенного в себе, ироничного человека, обладавшего особой духовной силой, что угадывалось в его классических трудах. Точнее сказать, все достойнейшее было при нем, прорываясь наружу: острота ума, сарказм, широка взглядов, но истязали его тревоги, обиды на оскорбительные статьи... И семидесятипятилетний академик (Тарле отметил свое 75-летие в 1950 г. — Л.Я.), по уму и памяти вовсе не старик, то и дело возвращался к чинимой над ним несправедливости“. Далее Борщаговский сообщает, что Тарле при нем сам себя вслух уговаривал, что Сталин ему обязательно поможет. В этом рассказе есть только часть правды: дом Тарле был открыт для гонимых режимом. Тарле никогда не боялся таких „меченых“ принимать у себя и по возможности старался им помочь. В мемуарах Борщаговского все поменялось местами. Получалось, что это он, здоровый, сильный и процветающий, а не выгнанный отовсюду, пришел к несчастному академику, а тот что-то лепечет ему в своем бессилии. Но я недаром привел тарлевский „ВВП“ 1951 г., когда перед ним, как и годами раньше и годом позже, были открыты все печатные издания, откуда выгнали Борщаговского. И „статей“-то обидных была всего одна, а совсем уж неправдоподобное в „свидетельстве“ театрального критика и драматурга — это разговор Тарле о Сталине, который у него ни с кем, тем более — с незнакомым человеком, не мог состояться никогда и ни при каких условиях.

Когда я впервые прочитал воспоминания Борщаговского, я поделился своими впечатлениями с ныне покойной Викторией Тарле (племянницей Е.В.), находившейся вблизи историка все эти годы. Вот строки из ее ответного письма:

„Никогда (подчеркнуто ею) Евгений Викторович не жил в страхе. Все эти люди, которые так пишут, судят по себе, вот и все. Он был далек от всех этих страхов, настолько он был увлечен своей работой. Все остальное скользило мимо него“.

В это же время встречались с Тарле уже упоминавшийся Ю.Давыдов, Э.Радзинский, рассказавший о посещении Тар-

ле в Москве в одной из своих автобиографических миниатюр „Поход к Наполеону“, Л.Белозерская-Булгакова — автор опубликованных воспоминаний о Тарле, и никто из них не заметил, чтобы его „истязали тревоги“!

„По-моему, он вообще был не из трусливых“, — говорится далее в письме Виктории Тарле, и это подтверждает его письмо С.Архангельскому — „черному“ рецензенту диссертационной работы одной еврейки, которую измочалили в ВАКе. Тарле писал: „Я очень обрадовался, когда узнал, что работа на рецензию послана Вам, человеку, во-первых, добросовестному, во-вторых, знающему, в-третьих, не запуганному, как заяц“. Это письмо датировано 5 августа 1952 г. (!), и оно явно написано человеком, „не запуганным, как заяц“ и которого не „истязали тревоги“.

Трагическая для многих осень 1952 г. (тогда погиб Соломон Лозовский, с которым Тарле интенсивно сотрудничал во время войны) для Тарле была спокойной. Прекратил свои козни Суслик, углубившийся в подготовку речи Сталина на будущем XIX съезде партии. С заданием „вождя“ он не справился. Сталин выбросил все подготовленные им заготовки и в декабре 1952 г. „при людях“ заявил Суслику: „Если вы не хотите работать, то можете уйти со своего поста“. Как было принято на Скотном дворе, Суслик немедленно отпарентовал, что будет работать везде, куда партия пошлет. „Посмотрим“, — мрачно сказал хозяин, но долго „смотреть“ ему уже не пришлось: жизни-то оставалось с гулькин нос.

Тарле отдыхал от повышенного к себе внимания, когда грянул гром в виде ареста „убийц в белых халатах“. Теперь-то Тарле был и встревожен, и расстроен, понимая, что ожидает арестованных и всю страну. По его мнению, в один день Сталин окончательно погубил свое реноме. Сохранилась запись свидетельства о датированном тринадцатым января 1953 г. высказывании Тарле о Сталине: **„Зачем ему это понадобилось? Достигнуть такой славы и так испортить ее“.** Этот „хадис“ имеет свой „иснад“: известны, кто сказал, кто слушал и кому было передано услышанное для записи.

Год спустя все относительно успокоилось. Даже Суслик временно сдал свои идеологические позиции и где-то зата-

ился до лучших времен. И я спросил Тарле, кому из тандема „Ленин—Сталин“ он отдает предпочтение как правителю России. Тарле, не задумываясь, ответил, что, конечно, Сталина, потому что на троне Ленин был игрок, а Сталин — работник. В слове „игрок“ я не услышал осуждения. Это была всего лишь констатация факта. Я вспомнил азарт, охватывавший Тарле за шахматной доской, его неприятие „правильных“ партий типа общеизвестной „испанской“, его стремление к неизученным, рискованным ходам, заставлявшим меня — частого его соперника в этих партиях — задумываться, нет ли в них подвоха. И тогда я понял, что передо мной тоже сидит игрок, хотя и умеющий быть работником. Но прежде всего игрок — отважный и находчивый, потому что трус не может быть хорошим игроком. И тогда, в 1954 г., он, как игрок, был удовлетворен: он переиграл всех — и „возджа“, и его сообщников. Он бы сыграл еще, уже с новыми игроками — игроки, достойные игры, всегда найдутся. Но уже не было у него ни сил, ни сроков, и ему, как и всякому смертному, предстояла последняя игра, заведомо проигранная. Оставалось лишь проиграть ее достойно, что он и исполнил.

По-разному оценивали роль и итоги двух „сталинских“ десятилетий в долгой жизни Евгения Викторовича Тарле историки второй половины XX в. Писали, что Сталин его „слома“л“, что все, что он написал после возвращения из ссылки, было „недостойно его ума и таланта“ (помню эту фразу, но не помню ее автора. Впрочем, это не имеет значения, так как ее автор явно не был Маколеем, Мишле, Момзеном или Ключевским). Эта фраза содержит в себе слишком явную попытку смешать божий дар с яичницей. Тарле во все времена был публицистом, и таковым он оставался и после „Академического дела“. Публицист же партиен даже во времена, казалось бы, беспредельной свободы, когда он сам определяет, с кем ему по пути. И при внимательном прочтении статей и исторических очерков Тарле, опубликованных в 1900—1917 гг. (до октябрьского переворота), становится очевидным: в его текстах в той или иной степени отразились его симпатии сначала к кадетам, к которым при-

надлежали его учитель И.В.Лучицкий и друг Н.И.Кареев, а потом и к „умеренным“ социал-демократам плехановского толка (в результате сближения с Г.В.Плехановым и его семьей). В тридцатые и позднейшие годы советская публицистика стала трафаретной. „Буржуазный историк“ Тарле относился в то время к публицистам, которым было разрешено немного выходить за рамки шаблона, но недалеко. Поводок был коротким. Публицистика Тарле, затрагивающая в сталинские годы проблемы текущей политики, и была той самой „дичницей“, неприглядность которой историк пытался хоть чуть-чуть скрасить своим „умом и талантом“. Иногда это ему удавалось, особенно во время Второй мировой войны, когда он был в рядах тех, к кому прислушивались у нас и на Западе.

Иначе обстояло дело с историческими трудами. После возвращения из ссылки были созданы „Наполеон“, „Талейран“, „Нашествие Наполеона на Россию“, „Крымская война“, „Северная война“, „Русский флот и внешняя политика Петра I“, еще три книги, посвященные истории русского флота, блестящий исторический портрет адмирала П. С. Нахимова, ряд крупных очерков по истории дипломатии. Незавершенной осталась монументальная монография о внешней политике Екатерины II. „Профессиональные“ российские историки по-разному относятся к этой части научного наследия Тарле. Иногда можно прочесть, что эти работы „устарели“, что со времени их написания по затрагиваемой ими тематике в „научный оборот“ введено множество новых данных. Существуют в этих кругах и „ниспровергатели“: сочиняя что-нибудь на вышеперечисленные темы, они „забывают“ даже упомянуть труды Тарле, чтобы читатель понял, что не какой-нибудь „древний“ и „ненаучный“ Тарле, а именно они являются первопроходцами и обладателями исторической истины.

Но удивительное дело: к различным юбилеям и годовщинам, а часто и „просто так“, сейчас, более чем через полвека после ухода Тарле из жизни, издатели по собственной инициативе обращаются к перечисленным выше его трудам, и каждый год XXI в. отмечен появлением на книжном рынке

очередного переиздания какой-нибудь из тарлевских книг! Ну а его „ученые“ критики и создатели позднейших исторических „шедевров“ на эти же темы вместе со своими „шедеврами“ прямиком отправляются в область забвения.

И что греха таить: все перечисленные книги могли быть написаны и прийти к людям **только** благодаря тому, что в 1934—1953 гг. Тарле находился под личной опекой И.В.Сталина, создавшего ему, „чужому“ по определению человеку и ученому, все необходимые условия для работы и оградившего его от посягательств своры беснующихся „партийных“ псов на его благополучие и жизнь. Меня не очень радует такое резюме, но отрицать его не могу — истина дороже.

Вообще же, говоря об итогах чьих-либо жизней, не стоит напяливать на себя судейские мантии: мы в этих делах не только не судьи, но даже и не присяжные заседатели, а всего лишь зрители, от которых скрыты и концы, и начала всего происходившего. Вот, например, Никита Хрущев был кровавым палачом в „мирные“ сталинские времена, убившим и исковеркавшим жизни миллионов своих сограждан, потом — бездарным околотовенным деятелем, погубившим вместе с неисправимым глупцом Тимошенко и трусливым Баграмяном миллионы солдат в незабываемом 1942 г. („Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе... которую пережил фронт и еще продолжает переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто“, — из письма Сталина 26 июня 1942 г., содержащего убийственные оценки деятельности Тимошенко, Баграмяна и Хрущева — виновников „харьковского котла“.) Однако, получив в конце своей карьеры всю полноту власти, он воспользовался ею, чтобы вернуть к нормальной жизни и восстановить доброе имя миллионов живых и мертвых жертв сталинских репрессий, одним из самых активных реализаторов которых в свое время был он сам, и чтобы искоренить позорные пережитки рабства в середине XX в., дал свободу миллионам крестьян в „стране победившего социализма“, и чтобы предоставить скромное жилье со скромными удобствами миллионам людей, ютившимся до этого в бараках и в воспетых „совками“ „коммунальных квартирах“, уродующих личность человека.

И вот, когда в Судный день он предстанет перед Высшим Судом, я не исключаю того, что сотворенное им благо в конечном счете перевесит все его самые тяжкие преступления, ибо неоднократно говорилось, что Добро даже размером и весом с горчичное семя дает мощные всходы, обеспечивающие ему победу над Злом.

Возможно, и „т-щу“ Сталину в неотвратимый Судный день предстоит выискивать крохи Добра в, казалось бы, беспросветном мраке своей жизни (не мне его судить!), и тогда его роль в судьбе „т-ща“ Тарле, безусловно, может стать одним из таких горчичных зерен, которые ему зачтутся.

2008—2009 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ю.И.Семенов

Евгений Викторович Тарле и проблема

абсолютизма 3

Вводные замечания..... 43

Глава I. Абсолютизм и революция 60

Глава II. Абсолютизм и классовая борьба..... 98

Глава III. Самозащита абсолютизма 160

**Глава IV. Революционные перевороты
1917—1918 гг..... 209**

Приложение

Яковлев Л. Т-щ Сталин и т-щ Тарле 227

ТАРЛЕ Евгений Викторович

ПАДЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ

Подписано в печать 06.12.2010. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 14,03. Тираж 500 экз. Заказ № 152. Цена договорная.

Издательство: Государственная публичная историческая библиотека России, 2010.

ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.

Типография ГПИБ